

Стриндберг Август Красная комната

Очерки из жизни художников и литераторов

Rien n'est si d'agréable que d'être pendu obscurément.

Voltaire¹

Глава первая Стокгольм с птичьего полета

Был вечер в начале мая. Маленький парк на Моисеевой горе еще не открыли для публики, клумбы пока что оставались невскопанными; сквозь кучи прошлогодней листвы украдкой пробивались подснежники и заканчивали свое короткое существование, уступая место нежным цветам шафрана, притаившимся под сенью дикой груши; сирень терпеливо дожидалась южного ветра, чтобы наконец расцвести, а липы давали пристанище среди нераскрывшихся почек влюбленным зябликам, которые уже начинали вить между ветвями одетые лишайником гнезда; еще ни разу с тех пор, как сошел снег, по этим аллеям не ступала нога человека, и потому животным и цветам здесь жилось легко и привольно. Воробьи целыми днями собирали всякий хлам, который прятали под черепицами кровли мореходного училища; они рылись в обломках ракетных гильз, разбросанных там и сям после осеннего фейерверка, таскали солому, оставшуюся на молодых деревьях, привезенных сюда в прошлом году из школы в Русендале, — ничто не могло укрыться от их глаз! Они отыскивали обрывки тряпок в беседках, а с ножек садовых скамеек склевывали клочья собачьей шерсти, застрявшей здесь после жестоких схваток, которых не было с прошлого года, со дня святой Жозефины. Жизнь была ключом!

А солнце стояло уже над самым Лильехольменом и щедро бросало на восток целые снопы лучей; они насквозь пронизывали клубы дыма над Бергсундом, пролетали над заливом Риддарфьерден, взбирались на крест Риддархольмского храма, перескакивали на крутую крышу Немецкой церкви, играли вымпелами на мачтах стоящих вдоль набережной судов, вспыхивали ярким пламенем в окнах Большой Морской таможни, озаряли леса на острове Лидии и гасли в розоватом облаке далеко-далеко над морем. А оттуда им навстречу задул ветер и помчался по тому же самому пути обратно через Ваксхольм, мимо крепости, мимо Морской таможни, пронесся над островом Сикла, миновал Хестхольм и залетел ненадолго в летние дачи, а потом помчался дальше, ворвался в Данвикен и, ужаснувшись, продолжил свой полет вдоль южного берега, где его подстерегал запах угля, дегтя и ворвани, а он понесся дальше, к городской ратуше, взлетел на Моисееву гору, в маленький парк и ударился о какую-то стену. И в этот самый миг открылось окно, потому что кухарка как раз счищала зимнюю замазку с внутренних рам, и из окна вырвался омерзительный запах подгорелого сала, прокисшего пива, еловых веток и опилок, и пока кухарка глубоко вдыхала свежий воздух, все это зловоние унесло ветром, заодно

¹ Ничего нет более неприятного, чем быть повешенным без лишнего шума. Вольтер (фр.)

подхватившим и оконную вату, сплошь усыпанную блестками, ягодами барбариса и лепестками шиповника, и затеявшим на аллеях хоровод, в котором закружились и воробьи и зяблики, когда увидели, что все их трудности со строительством жилья теперь преодолены.

Между тем кухарка по-прежнему возилась с рамами, и через несколько минут дверь из погребка на веранду отворилась, и в парк вышел молодой человек, одетый просто, но со вкусом. В чертах его лица не было ничего необычного, лишь во взгляде застыло какое-то странное беспокойство, которое, однако, тотчас же исчезло, едва он вырвался на свежий воздух из тесного и душного погребка и ему открылся бескрайний морской простор. Он повернулся лицом к ветру, расстегнул пальто и несколько раз глубоко вдохнул всей грудью, что, очевидно, принесло ему облегчение. И тогда он стал прохаживаться вдоль парапета, который отделял парк от крутого склона, обрывавшегося к морю.

А далеко внизу шумел и грохотал недавно пробудившийся город; в гавани скрипели и визжали паровые лебедки; громыхали на весах железные брусья; пронзительно звучали свистки шлюзовщиков; пыхтели пароходы у причала; по неровной мостовой, гремя и подпрыгивая, двигались omnibusы; и еще разноголосый гомон рыбного рынка, паруса и флаги, трепетавшие на ветру над проливом, крики чаек, сигнальные гудки со стороны Шепсхольмена, команды, доносившиеся с военного плаца Седермальмсторг, стук деревянных башмаков рабочего люда, сплошным потоком идущего по Гласбрюксгатам, — казалось, все вокруг находится в непрерывном движении, и это наполнило молодого человека новым зарядом бодрости, потому что на его лице внезапно появилось выражение упорства, решимости и жажды жизни, и когда он перегнулся через парапет и взглянул на город, раскинувшийся у его ног, можно было подумать, будто он смотрит на своего заклятого врага; ноздри его раздувались, глаза пылали огнем, и он поднял кулак, словно угрожая бедному городу или вызывая его на смертный бой.

Пробил семь часов колокол на церкви святой Екатерины, ему вторила надтреснутым дискантом святая Мария, а следом за ними загудели басом кафедральный собор и Немецкая церковь, и вот уже все вокруг гремит и вибрирует от звона десятков колоколов; потом они умолкают один за другим, но еще долго-долго откуда-то издали доносится голос последнего, допевающего мирную вечернюю песнь, и кажется, будто голос у него выше, звук чище, а темп быстрее, чем у всех остальных колоколов. Молодой человек вслушивался, стараясь определить, откуда доносится звон, который словно будил в нем какие-то неясные воспоминания. Выражение его лица резко изменилось, стало несчастным, как у ребенка, который чувствует себя одиноким и всеми покинутым.

И он действительно был одинок, потому что его отец и мать лежали на кладбище святой Клары, откуда все еще неслись удары колокола, и он все еще оставался ребенком, ибо верил всему на свете, и правде и вымыслу.

Колокол на кладбище святой Клары затих, а его мысли внезапно прервал шум шагов по аллее парка. Со стороны веранды к нему приближался человек небольшого роста с пышными бакенбардами и в очках — очки эти не столько помогали его глазам лучше видеть, сколько скрывали их от посторонних взглядов; рот у него был злой, хотя он неизменно старался придать ему не только дружелюбное, но и добродушное выражение; на нем была помятая шляпа, довольно скверное пальто без нескольких пуговиц, чуть приспущенные брюки, а походка казалась и самоуверенной и робкой.

Его внешность была такого неопределенного свойства, что по ней трудно было судить о его общественном положении или возрасте. Его можно было принять и за ремесленника и за чиновника и дать ему что-то между двадцатью девятью и сорока пятью годами. По-видимому, он был в полном восторге от предстоящей встречи, ибо высоко поднял повидавшую виды шляпу и изобразил на лице самую добродушную из улыбок.

— Надеюсь, господин ассессор, вам не пришлось ждать?

— Ни секунды! Только что пробило семь. Благодарю вас, что вы так любезно согласились встретиться со мной; должен признаться, я придаю очень большое значение этой встрече, короче говоря, господин Струве, речь идет о моем будущем.

— О боже.

Господин Струве выразительно моргнул глазами, так как рассчитывал лишь на пунш и меньше всего был расположен вести серьезную беседу, и не без причины.

— Чтобы нам было удобнее разговаривать, — продолжал тот, кого назвали господином ассессором, — если вы не возражаете, давайте расположимся здесь и выпьем по стакану пунша.

Господин Струве потянул себя за правый бакенбард, осторожно нахлобучил шляпу и поблагодарил за приглашение, но его явно что-то беспокоило.

— Прежде всего вынужден просить вас не величать меня ассессором, — возобновил беседу молодой человек, — потому что ассессором я никогда не был и лишь занимал должность сверхштатного нотариуса, каковым с сегодняшнего дня перестал быть, и теперь я лишь господин Фальк, не более.

— Ничего не понимаю...

У господина Струве был такой вид, будто он неожиданно потерял очень важное для себя знакомство, но по-прежнему старался казаться любезным.

— Как человек либеральных взглядов, вы...

Господин Струве безуспешно пытался подыскать нужное слово, чтобы развить свою мысль, но Фальк продолжал:

— Мне хотелось поговорить с вами как с сотрудником свободомыслящей «Красной шапочки».

— Пожалуйста, но мое сотрудничество мало что значит...

— Я читал ваши пламенные статьи по вопросам рабочего движения, а также по другим вопросам, которые нас тревожат. Мы вступили в год третий по новому летосчислению, третий римскими цифрами, потому что вот уже третий год заседает новый парламент, наши народные представители, и скоро наши надежды воплотятся в жизнь. Я читал в «Друге крестьян» ваши великолепные жизнеописания главных политических деятелей страны, людей из народа, которые смогли наконец во всеуслышанье заявить о том, что так долго оставалось невысказанным; вы человек прогресса, и я отношусь к вам с величайшим уважением.

Струве, глаза которого не только не загорелись ярким огнем от зажигательной речи Фалька, а, наоборот, окончательно погасли, радостно ухватился за предложенный ему громоотвод и в свою очередь взял слово.

— Должен признаться, что мне доставила истинную радость похвала такого молодого и, я бы сказал, незаурядного человека, как господин ассессор, но, с другой стороны, почему мы обязаны говорить о вещах столь серьезных, чтобы не сказать прискорбных, когда мы здесь, на лоне природы, в первый день весны, и все цветет, а солнце заливает своим теплом и небо и землю; так забудем же о тревогах наших и с

миром поднимем стаканы. Простите, но я, кажется, старше вас... и потому... беру на себя смелость... предложить вам выпить по-братски на «ты»...

Фальк, разлетевшийся было как кремень по огниву, вдруг почувствовал, что удар его пришелся по дереву. Он принял предложение Струве без особого восторга. Так и сидели новоявленные братья, не зная, что друг другу сказать, их физиономии не выражали ничего, кроме разочарования.

— Я уже говорил, — снова начал Фальк, — что сегодня порвал со своим прошлым и навсегда оставил карьеру чиновника. Могу лишь добавить, что хотел бы стать литератором.

— Литератором? Господи, зачем это тебе? Нет, это ужасно!

— Ничего ужасного; но хочу тебя спросить, не посоветуешь ли, куда мне обратиться за какой-нибудь литературной работой?

— Гм! Даже не знаю, что тебе сказать. Все теперь хотят писать. Лучше выкинь все это из головы. Право же, мне очень жаль, что ты ломаешь свою карьеру. Литература — отнюдь не легкое поприще.

У Струве, действительно, был такой сокрушенный вид, будто ему страшно жаль Фалька, и все-таки он не мог скрыть радости по поводу того, что приобрел товарища по несчастью.

— Но объясни мне в таком случае, — продолжал Струве, — почему ты отказываешься от карьеры, которая дает тебе и почет и власть?

— Почет тем, кто присвоил власть, а власть захватили люди беспринципные и беззастенчивые.

— А, все одни слова! Не так уж все плохо, как тебе представляется.

— Не так? Что ж, тогда поговорим о чем-нибудь другом. Я только обрисую тебе, что творится лишь в одном из шести учреждений, в которых я работал. Из первых пяти я сразу ушел по той причине, что там вовсе нечего было делать. Каждый раз, когда я приходил на службу и спрашивал, есть ли какая-нибудь работа, мне всегда отвечали: «Нет!» И я действительно никогда не видел, чтобы кто-нибудь занимался каким-то делом. А ведь я служил в таких почтенных ведомствах, как *Коллегия винокурения*, *Канцелярия по налогообложению* или *Генеральная дирекция чиновничьих пенсий*. Увидев это великое множество чиновников, которые буквально сидели друг на друге, я подумал, что должна же быть хоть какая-то работа в учреждении, где занимаются выплатой им всем жалованья. Исходя из этого, я поступил в *Коллегию выплат чиновничьих окладов*.

— Ты служил в этой коллегии? — спросил Струве, вдруг заинтересовавшись.

— Служил. И никогда не забуду, какое глубокое впечатление в первый же день службы произвел на меня этот четко и эффективно действующий аппарат. Я явился ровно в одиннадцать утра, ибо именно в одиннадцать открывалось это замечательное учреждение. В вестибюле два молодых служителя, навалившись грудью на стол, читали «Отечество».

— «Отечество»?

Струве, который перед тем бросал воробьям кусочки сахара, наострил уши.

— Да, «Отечество»! Я пожелал им доброго утра. Легкое змееподобное движение их спин, по-видимому, означало, что мое приветствие было принято без особого отвращения, а один из них даже подвинул правый каблук, что в его представлении, очевидно, заменяло рукопожатие. Я спросил, не располагает ли кто-нибудь из этих господ свободным временем, чтобы показать мне помещение. Но они объяснили, что

это невозможно, поскольку им приказано никуда не отлучаться из вестибюля. Тогда я осведомился, нет ли здесь других служителей. Вообще-то они есть, сказали мне. Но главный служитель в очередном отпуску, первый служитель в краткосрочном отпуску, второй отпросился со службы, третий отправился на почту, четвертый болен, пятый пошел за водой, шестой во дворе «и сидит там целый день»; и вообще «служащие никогда не приходят на службу раньше часа». Тем самым мне дали понять, как мешает работе всего ведомства мое столь раннее и бесцеремонное вторжение, и в то же время напомнили, что служители тоже принадлежат к категории служащих.

Но поскольку я все-таки заявил о своей решимости во что бы то ни стало осмотреть служебные кабинеты, чтобы получить хоть какое-то представление об этом столь авторитетном и многоплановом учреждении, младший из служителей в конце концов согласился сопровождать меня. Когда он распахнул передо мной двери, моему взору открылась величественная картина — анфилада из шестнадцати комнат разной величины. Здесь, должно быть, всем хватает дела, подумал я, вдруг осознав, какая это была счастливая мысль поступить сюда на службу. В шестнадцати кафельных печах, где горели шестнадцать охапок березовых дров, весело гудел огонь, прогоняя атмосферу заброшенности, которая здесь царил.

Между тем Струве, внимательно слушавший Фалька, достал из-под подкладки жилета карандаш и написал на левом манжете цифру 16.

— «В этой комнате сидят сверхштатные служащие», — сообщил мне служитель.

«Понятно! А много здесь сверхштатных?» — спросил я.

«Хватает».

«Чем же они занимаются?»

«Ну, понятное дело, пишут...» При этих словах он напустил на себя совсем уж таинственный вид, и я понял, что настало время прекратить наш разговор. Мы прошли через комнаты, где сидели переписчики, нотариусы, канцеляристы, ревизор и секретарь ревизора, контролер и секретарь контролера, юрисконсульт, администратор, архивариус и библиотекарь, главный бухгалтер, кассир, поверенный, главный нотариус, протоколист, актуарий, регистратор, секретарь экспедиции, заведующий бюро и начальник экспедиции, и остановились, наконец, перед дверью, на которой золотыми буквами было выведено: «*Президент*». Я хотел было отворить дверь и войти в кабинет, но мне помешал служитель, который почтительно схватил меня за руку и с неподдельной тревогой в голосе прошептал: «Тише!» Я не мог удержаться, чтобы не спросить: «Он что, спит?» — «Ради бога, молчите; сюда никто не имеет права входить, пока президент сам не позвонит». — «И часто президент звонит?» — «Нет, не часто... За тот год, что я здесь работаю, я ни разу не слышал, чтобы он звонил». Тут мне показалось, что наша беседа снова зашла в область таинственных недомолвок, и я замолчал.

Когда стрелки часов приблизились к двенадцати, стали прибывать сверхштатные сотрудники, и я был весьма изумлен, узнав среди них немало старых знакомых из Генеральной дирекции чиновничьих пенсий и Коллегии винокурения. Однако мое изумление еще более возросло, когда мимо меня прошествовал администратор из Канцелярии по налогообложению, вошел в кабинет актуария и уселся в кожаное кресло, явно чувствуя себя здесь так же уверенно, как и в Канцелярии по налогообложению.

Я отвел одного из молодых людей в сторону и спросил, не надо ли мне зайти к президенту и засвидетельствовать ему почтение. «Тише!» — последовал загадочный

ответ, когда он вводил меня в восьмую комнату. Опять это загадочное «тише!».

Мы очутились в комнате такой же мрачной, как и все остальные, но еще грязнее. Из дыр в кожаной обивке кресел торчали клочья конского волоса; письменный стол, где стояла чернильница с высохшими чернилами, толстым слоем покрывала пыль; кроме того, на столе лежала ни разу не использованная палочка сургуча, на которой англосаксонскими буквами было выведено имя ее бывшего владельца, ножницы для бумаги со слипшимися от ржавчины лезвиями, календарь, которым перестали пользоваться в один прекрасный летний день пять лет тому назад, и еще один календарь, тоже пятилетней давности, и, наконец, лист серой оберточной бумаги; на нем было написано *Юлий Цезарь, Юлий Цезарь, Юлий Цезарь* — не менее ста раз и столько же раз — *старик Ной, старик Ной, старик Ной*.

«Это кабинет архивариуса, здесь мы можем спокойно посидеть», — сказал мой спутник.

«Разве архивариус сюда не заходит?» — спросил я.

«Его не было на работе вот уже пять лет. И теперь ему, вероятно, стыдно появляться здесь!»

«Но кто в таком случае работает за него?»

«Библиотекарь».

«Чем же они занимаются в таком учреждении, как Коллегия выплат чиновничьих окладов?»

«Служители сортируют квитанции в хронологическом порядке и по алфавиту и отправляют переплетчику, после чего библиотекарь обязан проследить, чтобы их правильно расставили на соответствующих полках».

Струве с явным удовольствием слушал рассказ Фалька, время от времени делал какие-то заметки на манжете и, когда Фальк замолчал, счел необходимым спросить что-нибудь существенное.

— Каким же образом архивариус получал жалованье? — спросил он.

— Жалованье ему присылали прямо домой! Видишь, как просто! Между тем мой спутник посоветовал мне зайти к актуарию, представиться ему и попросить представить меня остальным сотрудникам, которые начали приходить один за другим, чтобы помешать раскаленные уголья в кафельных печах и насладиться последними вспышками пламени. «Актуарий — человек могущественный и к тому же доброжелательный, — сообщил мне мой юный друг, — и любит, чтобы ему оказывали внимание.»

Поскольку я знал актуария еще в бытность его администратором, то составил о нем совершенно иное мнение, однако поверил своему другу на слово и вошел в кабинет.

Великий человек сидел в широком кресле перед кафельной печью, и его вытянутые ноги покоились на оленьей шкуре. Он занимался тем, что старательно обкуривал мундштук из настоящей морской пенки. А чтобы не сидеть без дела и в то же время получать информацию о пожеланиях правительства, он держал перед собой вчерашнюю «Почтовую газету».

При моем появлении, которое, кажется, подействовало на него удручающим образом, он поднял очки на лысую макушку, правый глаз спрятал за газетой, а левым прострелил меня насквозь. Я изложил ему цель своего визита. Он взял мундштук в правую руку и внимательно осмотрел его. Гнетущая тишина, воцарившаяся в кабинете, говорила о том, что мои самые мрачные опасения оправдались. Сначала он

откашлялся, исторгнув из раскаленных угольев громкое шипенье. Потом вспомнил про газету и вновь углубился в нее. Я счел уместным снова повторить все, что уже сказал, правда с незначительными вариациями. И тут терпение его лопнуло. «Какого черта вам здесь нужно? Какого черта вы влезли в мой кабинет? Можно ко мне не приставать хотя бы в моем собственном кабинете? Ну? Вон отсюда, милостивый государь! Вы что, черт побери, не видите, что я занят! Пришли по делу, ну и обращайтесь к главному нотариусу! Не ко мне!» И я пошел к главному нотариусу.

В кабинете главного нотариуса заседала Коллегия по материально-техническому обеспечению; она заседала уже три недели. Председательствовал главный нотариус, а трое канцеляристов вели протокол. Образцы товаров, присланные поставщиками, были разложены на столах, вокруг которых разместились остальные канцеляристы, переписчики и нотариусы. В конце концов было решено, хотя и при значительном расхождении во мнениях, приобрести две кипы лессебовской бумаги, а после многочисленных конкурсных испытаний на остроту — сорок восемь ножниц неоднократно премированной фабрики Гроторпа (двадцатью пятью акциями которой владел актуарий); на конкурсные испытания стальных перьев потребовалась целая неделя, а на соответствующий протокол ушло уже две стопы бумаги по пятьсот листов в каждой; теперь стоял вопрос о покупке перочинных ножей, и члены коллегии как раз испытывали их на черных досках столов.

«Предлагаю шеффилдский перочинный нож с двумя лезвиями № 4, без штопора, — сказал главный нотариус, отковыривая от стола щепку, достаточно большую, чтобы развести в печке огонь. — Что скажет старший нотариус?»

Старший нотариус, испытывая «Эскильстуна № 2» с тремя лезвиями, вонзил его слишком глубоко в стол, наткнулся на гвоздь и повредил нож, поэтому он предложил именно эту марку.

После того как каждый из присутствующих высказал свое основательно мотивированное и тщательно аргументированное мнение с приложением результатов практических испытаний, председатель принял решение закупить двадцать четыре дюжины шеффилдских перочинных ножей.

С этим не согласился старший нотариус, выступив в обоснование своего особого мнения с пространной речью, которая была занесена в протокол, размножена в двух экземплярах, зарегистрирована, рассортирована (по алфавиту и в хронологическом порядке), переплетена и установлена служителем под неусыпным надзором библиотекаря на соответствующей полке. Это особое мнение, всецело проникнутое горячим патриотическим чувством, в основном сводилось к тому, что государство обязано всеми силами содействовать развитию отечественной промышленности. Но поскольку оно содержало обвинение против правительства, ибо метило в правительственного чиновника, главному нотариусу ничего не оставалось, как взять защиту правительства на себя. Свою защитительную речь он начал с небольшого экскурса в историю вопроса об учете векселей при товарных сделках (услышав слово «учет», сверхштатные сотрудники наостригли уши), бросил ретроспективный взгляд на экономическое развитие страны за последние двадцать лет и настолько углубился во всякого рода второстепенные детали, что часы на Риддархольмском храме проббили два еще до того, как он добрался до сути дела. Едва прозвучал этот роковой звон, как все чиновники сорвались со своих мест, будто на пожар. Когда я спросил одного молодого сотрудника, что бы это могло значить, пожилой нотариус, услышав мой вопрос, заметил назидательно: «Первейшая обязанность чиновника, милостивый

государь, — пунктуальность!» Через две минуты в кабинетах не было ни живой души! «Завтра у нас трудный день», — шепнул мне один из моих коллег на лестнице. «Ради бога, скажите, что такое будем мы делать завтра?» — испуганно спросил я. «Карандаши!» — ответил он. И действительно, настали трудные дни! Сургучные палочки, конверты, ножи для бумаги, промокательная бумага, шпагат... Но до поры до времени все шло не так уж плохо, потому что у всех было хоть какое-то занятие. И все же наступил день, когда заниматься стало нечем. Тогда я набрался смелости и попросил дать мне какую-нибудь работу. Мне дали семь стоп бумаги для переписки черновиков, дабы я мог, как полагали мои коллеги, «обрести расположение начальства». Эту работу я сделал очень быстро, однако ни расположения, ни одобрения не добился, зато ко мне стали относиться с явным недоверием, потому что людей трудолюбивых здесь не очень жаловали. Больше мне ничего не поручали. Я избавлю тебя от нудного описания унижительных сцен, бесчисленных уколов, всей той безграничной горечи, которой был заполнен последний год. Ко всему, что я считал нелепым и ничтожным, здесь относились торжественно и крайне серьезно, а все, что я ценил превыше всего на свете, обливали грязью. Народ называли быдлом и считали, что он годится только на то, чтобы при соответствующих обстоятельствах стать пушечным мясом. Во всеуслышанье поносили новые государственные институты, а крестьян называли изменниками². В течение семи месяцев я вынужден был выслушивать всю эту брань, а поскольку сам никаких издевательских высказываний не допускал, ко мне стали относиться с недоверием и всячески старались как-нибудь уязвить. Когда в очередной раз они напали на «собак от оппозиции», я взорвался и произнес речь, в которой высказал все, что о них думал; в результате они поняли, с кем имеют дело, и мое положение стало невыносимо. И вот теперь я поступаю так же, как поступали до меня многие другие, потерпев на служебном поприще крах, — бросаюсь в объятия литературы!

Струве, которого, по-видимому, огорчило столь неожиданное завершение беседы, засунул карандаш за подкладку, допил пунш, и вид у него при этом был рассеянный. Тем не менее он счел себя обязанным что-то сказать Фальку.

— Дорогой брат, ты еще не овладел искусством жить; ты увидишь, как тяжело добывать хлеб насущный, как это постепенно становится главным делом жизни. Ты работаешь ради хлеба и ешь этот хлеб ради того, чтобы работать и зарабатывать на хлеб, чтобы иметь возможность работать... Поверь, у меня жена и дети, и я знаю, что это значит. Понимаешь, нужно приспособливаться к обстоятельствам. Нужно приспособливаться! А ты даже не знаешь, что такое положение литератора. Литератор стоит вне общества!

— Ну, это расплата за то, что он хочет стоять над обществом. Впрочем, я ненавижу общество, потому что оно основано не на свободном соглашении, а на хитросплетениях лжи — и я с радостью бегу от него!

— Становится холодно, — заметил Струве.

— Да! Тогда пошли?

— Пожалуй, пойдем.

И огонь беседы тихо угас.

Тем временем зашло солнце, на горизонте появился полумесяц и застыл над

² После того как была предпринята крупная реорганизация государственных учреждений и ведомств, нарисованная здесь картина, естественно, уже не соответствует существующему положению дел. (Примеч. автора.)

городской окраиной, звезды одна за другой вступали в единоборство с дневным светом, который никак не хотел покидать неба; на улицах загорелись газовые фонари, и город стал медленно затихать.

Фальк и Струве брели по городским улицам, беседуя о торговле, судоходстве, промышленности и обо всем остальном, что также их нисколько не интересовало, и наконец расстались, к обоюдному удовольствию.

Фальк неторопливо спускался по Стремгатан к Шепсхольмену, а в голове у него рождались все новые и новые мысли. Он был как птица, которая лежит, поверженная, ударившись об оконное стекло в тот самый миг, когда одним взмахом крыльев хотела подняться в воздух и улететь на волю. Дойдя до берега, он сел на скамью, вслушиваясь в плеск волн; легкий бриз шелестел в цветущих кленах; над черной водой слабо светился серебряный полумесяц; пришвартованные к причалу, раскачивались двадцать или тридцать лодок, они рвались на цепях, одна за другой поднимали голову, но лишь на одно мгновение, и снова ныряли; ветер и волны, казалось, гнали их все вперед и вперед, и они бросались к набережной, как свора собак, преследующих дичь, но цепь отдергивала их обратно, и они металась и вставали на дыбы, словно хотели вырваться на свободу.

Он просидел там до полуночи; между тем ветер уснул, улеглись волны, прикованные к причалу лодки уже не пытались сорваться с цепей, не шелестели больше клены, и выпала роса.

Наконец он встал и, погруженный в невеселые думы, направился в свою одинокую мансарду на далекой окраине города, в Ладугорде.

Так провел остаток вечера молодой Фальк, а старый Струве, который в этот самый день поступил в «Серый плащ», поскольку распрощался с «Красной шапочкой», вернулся домой и настроил в небезызвестное «Знамя народа» статью «О Коллегии выплат чиновничьих окладов» на четыре столбца по пять риксдалеров за столбец.

Глава вторая

Братья

Торговец льном Карл-Николаус Фальк, сын покойного торговца льном, одного из пятидесяти старейшин города, капитана гражданской гвардии, члена церковного совета и члена дирекции Стокгольмского городского общества страхования от пожара господина Карла-Юхана Фалька, брат бывшего сверхштатного нотариуса, а ныне литератора Арвида Фалька, владел магазином, или, как называли его недруги, лавкой, на Восточной улице наискось от переулка Ферркенс-грэнд, так что приказчик, оторвавшись от книги, которую украдкой читал, спрятав ее под прилавок, мог бы при желании увидеть надстройку парохода, рубку рулевого или мачту и еще верхушку дерева на Шепсхольмене и кусочек неба над ним. Приказчик, который откликался на не слишком редкое имя Андерссон — а он уже научился откликаться, когда его звали, — рано утром отпер лавку, вывесил сноп льна, мережу, связку удочек и другие рыболовные снасти, потом подмел, посыпал пол опилками и уселся за прилавок, где из пустого ящика из-под свечей он соорудил нечто похожее на крысоловку, которую установил с помощью железного крюка и куда мгновенно падала книга, едва на пороге появлялся хозяин или кто-нибудь из его знакомых. Покупателей он, по-видимому, не опасался, потому что было еще рано, а кроме того, он вообще не привык к обилию

посетителей.

Предприятие это было основано еще при блаженной памяти короле Фридрихе (так же как и все остальное, Карл-Николаус унаследовал его от своего отца, который в свою очередь унаследовал его по прямой нисходящей линии от деда); в те благословенные времена оно приносило приличный доход, пока несколько лет назад не приняли злосчастную «парламентскую реформу», которая подсекла под корень торговлю, не оставила никаких надежд на будущее, положила конец всякой деловой активности и угрожала неминуемой гибелью всему сословию предпринимателей. Так, во всяком случае, утверждал сам Фальк, однако многие поговаривали о том, что дело запущено, а кроме того, на Шлюзовой площади у Фалька появился сильный конкурент. Однако без крайней на то необходимости Фальк не распространялся о трудностях, переживаемых фирмой; он был достаточно умен, чтобы правильно выбрать и обстоятельства и слушателей, когда ему хотелось поговорить на эту тему. И если кто-либо из его старых знакомых-коммерсантов, дружелюбно улыбаясь, выражал изумление в связи с падением товарооборота, Фальк говорил, что прежде всего делает ставку на оптовую торговлю с древесиной, а лавка — это просто вывеска, и ему верили, потому что в лавке у него еще была маленькая контора, где он проводил большую часть времени, если не отлучался в город или на биржу. Но когда его приятели — правда, уже не коммерсанты, а нотариус или магистр — не менее дружелюбно выражали беспокойство по поводу упадка в делах, то виной всему были тяжелые времена, наступившие из-за парламентской реформы, вызвавшей экономический застой.

Между тем Андерссон, которого отвлекли от чтения ребятишки, спросившие, сколько стоят удочки, случайно выглянул на улицу и увидел молодого Арвида Фалька. Поскольку Андерссон получил книгу именно у него, то она осталась лежать где лежала, и когда Фальк вошел в лавку, Андерссон сердечно приветствовал своего друга детства, и на лице его было написано, что он хоть и не показывает виду, но все прекрасно понимает.

— Он у себя? — спросил Фальк с некоторым беспокойством.

— Пьет кофе, — ответил Андерссон, показывая на потолок. В этот самый миг они услышали, как кто-то передвинул стул у них над головой.

— Теперь он встал из-за стола, — заметил Андерссон.

Судя по всему, они оба хорошо знали, что означает этот звук. Потом наверху послышались тяжелые, скрипучие шаги, которые мерили комнату во всех направлениях, и чье-то приглушенное бормотание, доносившееся до них сквозь потолочное перекрытие.

— Он был дома вчера вечером? — спросил Фальк.

— Нет, уходил.

— С друзьями или просто знакомыми?

— Со знакомыми.

— И домой вернулся поздно?

— Довольно поздно.

— Как ты думаешь, Андерссон, он скоро спустится? Мне не хочется подыматься к нему, потому что там невестка.

— Он скоро будет здесь. Я знаю это по его шагам.

Внезапно наверху хлопнула дверь, и молодые люди обменялись многозначительными взглядами. Арвид сделал движение, словно хотел уйти, но потом

овладел собой.

Через несколько секунд в конторе послышался шум. Раздраженный кашель сотряс тесную комнатку, и снова послышались знакомые шаги: рапп-рапп, рапп-рапп!

Арвид зашел за прилавок и постучался в дверь конторы.

— Войдите!

Арвид стоял перед своим братом. Тот выглядел лет на сорок, и ему действительно исполнилось что-то около того, так как он был на пятнадцать лет старше Арвида и поэтому, а также по ряду других причин, привык смотреть на него как на ребенка, которому стал отцом. У него были светлые волосы, светлые усы, светлые брови и ресницы. Он отличался некоторой полнотой, и потому сапоги так громко скрипели под тяжестью его коренастой фигуры.

— А, это всего-навсего ты? — спросил Карл с легким оттенком благожелательности, смешанной с презрением; эти два чувства были у него неразрывно связаны друг с другом, ибо он нисколько не сердился на тех, кто в каком-то отношении стоял ниже его: он просто презирал их. Но сейчас он казался еще и немного разочарованным в своих ожиданиях, потому что надеялся увидеть более благодарный объект, чтобы обрушиться на него, тогда как брат его был натурой робкой и деликатной и без крайней на то необходимости ни с кем старался не спорить.

— Я тебе не помешал, брат Карл? — спросил Арвид, останавливаясь в дверях. В этом вопросе прозвучало столько покорности, что брат Карл на этот раз решил быть благожелательным. Себе он достал сигару из большого кожаного футляра с вышивкой, а брату — из коробки, что стояла возле камина, потому что эти сигары, «сигары для друзей», как весьма откровенно называл их сам Карл, — а он по своей натуре был человек откровенный, — сначала попали в кораблекрушение, что возбуждало к ним интерес, но не делало их лучше, а потом на аукцион, где их распродавали по дешевке.

— Итак, что ты хочешь мне сказать? — спросил Карл-Николаус, раскуривая сигару и запихивая спичку по рассеянности к себе в карман, ибо он не мог сосредоточить свои мысли более чем на одном предмете, в одной какой-то области, не слишком обширной; его портной мог бы легко определить ее величину, если бы измерил его талию вместе с животом.

— Я хотел бы поговорить о наших делах, — сказал Фальк, разминая между пальцами незажженную сигару.

— Садись! — приказал брат.

Он всегда предлагал человеку сесть, когда намеревался изничтожить его, ибо тот становился как бы ниже ростом и его легче было раздавить — при необходимости.

— О наших делах! Разве у нас с тобой есть какие-нибудь дела? — начал он. — Мне об этом ничего не известно. Может быть, у *тебя* есть какие-нибудь дела? У тебя, а не у меня!

— Я только хотел узнать, не могу ли я получить что-нибудь из наследства?

— Что же именно, позволь спросить? Может быть, деньги? Ну? — иронизировал Карл-Николаус, давая брату возможность насладиться ароматом своей сигары. Не услышав ответа, которого и не ждал, он продолжал говорить сам.

— Получить? Разве ты не получил все, что тебе причиталось? Разве ты не подписал счет, переданный в опекунский совет? Разве я не кормил и не одевал тебя по твоей просьбе, то есть тратил на тебя деньги, которые ты вернешь, когда сможешь? У

меня все записано, чтобы получить с тебя, когда ты сам начнешь зарабатывать себе на хлеб, а ты даже еще не начал.

— Как раз это я собираюсь сделать; вот я и пришел сюда выяснить, могу ли я что-нибудь получить или сам тебе должен какую-то сумму.

Карл-Николаус бросил пронизывающий взгляд на свою жертву, будто хотел узнать, что у нее на уме. Затем он стал вышагивать в своих скрипучих сапогах по диагонали между плевательницей и стойкой для зонтов; цепочка для часов звенела брелоками, предупреждая людей не попадаться ему на пути, табачный дым поднимался к потолку и вился длинными зловещими клубами между кафельной печью и дверью, как бы предвещая грозу. Он стремительно ходил взад и вперед, опустив голову и приподняв плечи, словно заучивал роль. Когда Карл-Николаус решил, что знает ее назубок, он остановился перед братом и посмотрел ему прямо в глаза долгим, холодным, как море, скорбным взглядом, который должен был выразить участие и боль, и голосом, звучавшим будто из семейного склепа на кладбище святой Клары, сказал:

— Ты нечестный человек, Арвид! Не-чест-ный!

Любой свидетель этой сцены, кроме одного, пожалуй, Андерссона, подслушивавшего под дверью, был бы глубоко тронут этими словами, которые высказал с глубокой братской болью брату брат.

Между тем Арвид, с детства привыкший к мысли, что все люди прекрасны и один он плохой, действительно задумался на миг о том, честный он человек или нечестный, и поскольку его воспитатель всеми доступными ему средствами сделал Арвида в высшей степени чувствительным и совестливым, то он заключил, что был не совсем честным или, во всяком случае, не совсем искренним, постеснявшись спросить напрямик, не мошенник ли его брат.

— Я пришел к выводу, — сказал он, — что ты обманул меня, лишив части моего наследства; я подсчитал, что ты взял слишком дорого за скудную еду и старую поношенную одежду; я знаю, что причитающаяся мне доля наследства не могла вся уйти на мое жалкое образование, и я полагаю, что ты должен мне довольно крупную сумму, которая мне сейчас очень нужна и которую я намерен получить!

Светлый лик брата озарила улыбка, и он с таким спокойствием на лице и таким уверенным движением, словно в течение многих лет отработывал его, чтобы сделать в тот самый миг, когда будет подана реплика, сунул руку в карман брюк и, прежде чем вынуть ее, потряс связкой ключей, потом подбросил ее в воздух и благоговейно подошел к сейфу. Карл-Николаус открыл его несколько быстрее, чем намеревался и чего, вероятно, требовала святость этого места, достал бумагу, которая лежала наготове, словно дожидаясь соответствующей реплики. Он протянул ее брату.

— Это ты писал? Отвечай! Это ты писал?

— Я!

Арвид встал, намереваясь уйти.

— Нет, сиди! Сиди! Сиди!

Если бы здесь оказалась собака, даже она бы, наверное, села.

— Ну, что здесь написано? Читай!.. «Я, Арвид Фальк, признаю и удостоверяю, что... от... брата моего... Карла-Николауса Фалька... назначенного моим опекуном... получил сполна причитающуюся мне долю наследства... в сумме и т. д.».

Он постеснялся назвать сумму.

— Значит, ты признал и засвидетельствовал то, во что сам не верил! Разве это

честно, позволь тебя спросить? Нет, отвечай на мой вопрос! Разве это честно? Нет! Ergo³, ты дал ложное свидетельство. Следовательно, ты мошенник! Да, да, ты мошенник! Разве я не прав?

Сцена эта была столь эффектна, а триумф столь велик, что он не мог наслаждаться им без публики. Ему, безвинно обвиненному, нужны были свидетели его торжества; он распахнул дверь в лавку.

— Андерссон! — крикнул он. — Слушай внимательно и ответь мне на один вопрос! Если я дал ложное свидетельство, мошенник я после этого или не мошенник?

— Ну конечно, хозяин, вы мошенник! — не задумываясь и с чувством выпалил Андерссон.

— Слышал? Он сказал, что я мошенник... если подпишу фальшивый документ. Так о чем я только что говорил? Ах да, ты нечестный человек, Арвид, нечестный! Я всегда это утверждал! Скромники на поверку чаще всего оказываются мошенниками; ты всегда казался скромным и уступчивым, но я прекрасно видел, что про себя ты таил совершенно другие мысли; ты мошенник! То же самое говорил твой отец, а он всегда говорил то, что думал, он был честный человек, а ты... нет... не честный! И не сомневайся, будь он жив, он с болью и досадой сказал бы: «Арвид, ты нечестный человек! Не-чест-ный!»

Он прочертил еще несколько диагоналей, вышагивая по комнате, словно аплодировал ногами только что сыгранной сцене, и позвенел ключами, как бы давая сигнал опустить занавес. Заключительная реплика была такой завершенной, что каждая последующая фраза могла лишь испортить весь спектакль. Несмотря на тяжесть обвинения, которого, по правде сказать, Карл-Николаус ждал уже многие годы, ибо всегда полагал, что у брата фальшивое сердце, он был бесконечно рад, что все закончилось, закончилось так хорошо, так удачно и так ярко, и чувствовал себя почти счастливым, и в какой-то мере был даже благодарен брату за доставленное удовольствие. Кроме того, он получил блестящую возможность сорвать на ком-нибудь свою злость, потому что рассердился еще наверху, так сказать, в кругу семьи, однако набрасываться на Андерссона ему с годами приелось, а набрасываться на жену расхотелось.

Арвид онемел; из-за своего воспитания он стал таким запуганным, что ему всегда казалось, будто он неправ; с самого детства, ежедневно и ежечасно, в его ушах звучали одни и те же выпренные слова: справедливость, честность, искренность, правдивость; они словно судьи выносили ему только один приговор: ВИНОВЕН! Какую-то секунду ему казалось, что, возможно, он ошибся в расчетах, и брат не виноват, а сам он, действительно, мошенник, но уже в следующий момент Арвид ясно увидел, что брат обыкновенный обманщик, который просто сбил его с толку своей наглой и нелепой софистикой, и ему захотелось поскорее убежать, только бы не спорить понапрасну и не сообщать брату о том, что он оставил службу.

Пауза затянулась несколько дольше, чем предполагалось. Зато у Карла-Николауса было время мысленно проиграть всю сцену с самого начала и вновь насладиться своим триумфом. Слово «мошенник» было так приятно произносить, почти так же приятно, как короткое и выразительное «вон!». А как эффектно он распахнул дверь, как убедительно прозвучал ответ Андерссона, как удачно, словно из-под земли, появился нужный документ! Связку ключей удалось не забыть на ночном столике,

³ Следовательно (лат.).

замок сейфа открылся легко и свободно, улика была как сеть, из которой уже не выпутаешься, а вывод сверкнул как блесна, на которую попала шука. Настроение у Карла-Николауса было прекрасное, он все простил, нет, забыл, все начисто забыл, и когда он захлопнул сейф, ему показалось, что он навсегда покончил с этим крайне неприятным делом. Но расставаться с братом не хотелось; у него вдруг возникла потребность поговорить с ним о чем-нибудь другом, засыпать неприятную тему несколькими лопатами пустой болтовни, побыть с братом просто так, не вороша прошлое, например посидеть с ним за столом, чтобы он ел и пил; люди всегда бывают веселы и довольны, когда едят и пьют, и Карлу-Николаусу захотелось увидеть брата веселым и довольным, чтобы лицо его стало спокойным, а голос перестал дрожать — и он решил пригласить его позавтракать. Трудность заключалась лишь в том, как отыскать переход, подходящий мостик, по которому можно было бы перебраться через пропасть. Он попытался найти что-нибудь у себя в голове, но там было пусто, тогда он порылся в кармане и нашел там... коробку спичек.

— Черт побери, малыш, ты же не зажег сигару! — сказал он с искренней, не притворной теплотой.

Но малыш в ходе беседы так смял сигару, что ее больше невозможно было зажечь.

— На, возьми другую!

Карл-Николаус вытащил большой кожаный футляр:

— На, бери! Отличные сигары!

Арвид, который, к несчастью, никого не мог обидеть, с благодарностью взял сигару, словно протянутую для примирения руку.

— Итак, старина, — продолжал Карл-Николаус с дружеской интонацией в голосе, которой так хорошо владел, — пошли в «Ригу» и позавтракаем! Пошли!

Арвид, не привыкший к такой любезности брата, был настолько тронут, что поспешно пожал ему руку и опрометью выбежал через лавку на улицу, даже не попрощавшись с Андерссоном.

Карл-Николаус остолбенел; этого он никак не мог понять; что это значит: удрать, когда его пригласили позавтракать, удрать, когда он больше на него не сердится! Удрал! Даже собака не удерет, когда ей бросают кусок мяса!

— Вот чудак! — пробормотал Карл-Николаус и снова зашагал по комнате. Потом подошел к конторке, подкрутил сиденье стула как можно выше и взгромоздился на него. Сидя на этом возвышении, он видел людей и обстоятельства как бы с высоты, и они казались совсем маленькими, но не настолько маленькими, чтобы их нельзя было использовать в своих целях.

Глава третья

Обитатели Лилль-Янса

В девятом часу этого прекрасного майского утра после семейной сцены у брата по улицам города медленно шел Арвид Фальк, недовольный самим собой, братом и вообще всем на свете. Ему хотелось, чтобы была плохая погода и его окружали плохие люди. Ему не очень верилось, что он мошенник, но и в восторге от собственной персоны он тоже не был; он слишком привык предъявлять себе самые высокие требования, привык считать брата почти что приемным отцом и относиться к нему с должным уважением, чуть ли не с благоговением. Но ему в голову приходили и мысли

совсем иного рода, и они особенно удручали его. Он остался без денег и без работы. Это последнее обстоятельство было, пожалуй, хуже всего, ибо для него, одаренного буйной фантазией, праздность всегда была злейшим врагом.

Погруженный в эти крайне неприятные размышления, Арвид шел по узенькой Садовой улице; пройдя по левой стороне мимо Драматического театра, он вскоре очутился на Норрландской улице; он шел без всякой цели, вперед и вперед; мостовая становилась все более неровной, а вместо каменных домов появлялось все больше деревянных; бедно одетые люди бросали подозрительные взгляды на господина в опрятном платье, который так рано появился в их квартал, а изголодавшиеся собаки злобно рычали на чужака. Арвид миновал группы артиллеристов, рабочих, подручных с пивоварен, прачек и подмастерьев и, добравшись до конца Норрландской улицы, очутился на широкой Хмельной улице. Он вошел в Хмельник. Там паслись коровы генерал-интенданта, голые яблони еще только начинали зеленеть, а липы уже покрылись листвой, и в их зеленых кронах резвились белки. Арвид прошел карусель и оказался на аллее, ведущей к театру; прогульщики-школьники играли в «пуговики»; немного поодаль в траве лежал на спине подмастерье маляра и смотрел на облака сквозь высокий зеленый свод из листьев. Он что-то насвистывал так весело и беззаботно, будто ни мастер, ни остальные подмастерья не ждали его, а тем временем к нему со всех сторон слетались мухи и другие насекомые и тонули в ведрах с краской.

Фальк поднялся на пригорок возле Утиногo пруда. Здесь он остановился и стал наблюдать за метаморфозами, которые претерпевали у него на глазах лягушки, потом поймал жука-плавунца. А потом принялся бросать камни. От этого кровь быстрее побежала по жилам, и он словно помолодел, почувствовал себя мальчишкой, школьником, сбежавшим с уроков и совсем свободным, вызывающе свободным, потому что это была свобода, которую он завоевал ценой слишком большой жертвы. При мысли о том, что теперь он свободно и легко может общаться с природой, которую понимал гораздо лучше, чем людей, только мучивших его и причинявших зло, он повеселел, и вся накопившаяся в нем горечь вдруг отхлынула от сердца, и он двинулся дальше. Миновав перекресток, Арвид вышел на Северную Хмельную улицу. Тут он увидел, что прямо перед ним в заборе недостает нескольких досок, а с другой стороны забора протоптана тропинка. Он пролез в дыру, напугав старуху, которая собирала крапиву, пересек большое поле, заросшее табаком, и очутился перед Лилль-Янсом.

Здесь весна уже полностью вступила в свои права, и прелестное маленькое селение из трех крошечных домиков утопало в зелени цветущей сирени и яблонь, защищенных от северного ветра ельником по другую сторону дороги. Настоящая идиллия. На дышле водовозной бочки сидел петух и кукарекал, на солнцепеке лежала цепная собака, отгоняя мух, вокруг ульев тучей роились пчелы, возле парника садовник прореживал редиску, в кустах крыжовника распевали пеночки и горихвостки, а полуголые детишки воевали с курами, которые были не прочь проверить всхожесть недавно посеянных цветочных семян. И над всем этим привольем простиралось светло-голубое небо, а позади темнел лес.

Неподалеку от парника у забора сидели двое. Один из них был в черном цилиндре и лоснящемся от многократной чистки черном платье, лицо его казалось длинным, узким, бледным, и всем своим обликом он походил на священника. Другой представлял собой тип цивилизованного крестьянина с изломанной работой, но

ожиревшим телом, припухшими веками и монгольскими усами; он был очень плохо одет, и его можно было принять за кого угодно: портового бродягу, ремесленника или художника; весь он как-то странно обветшал.

Худой, который, очевидно, мерз, хотя сидел на самом солнцепеке, читал вслух толстому, у которого был такой вид, будто ему нипочем любой климат. Миновав ворота, Фальк явственно услышал голос чтеца из-за забора и решил, что не будет нескромным, если остановится и немного послушает.

Худой читал сухим монотонным голосом, лишенным всякой интонации, а толстый выражал свое удовольствие фырканьем, которое время от времени переходило в хрюканье, а когда слова мудрости становились уж вовсе недоступны восприятию обычного человеческого разума, превращалось в невнятное клокотание.

Худой читал:

— «Главных, основополагающих тезисов, как было сказано, три: один абсолютно безусловный и два относительно безусловных. Pro primo⁴: первый, абсолютно и совершенно безусловный тезис выражает действие, заложенное в основе всякого сознания и утверждающее его возможность. Этот тезис есть тождество: $A = A$. Оно незыблемо и никоим образом не может быть предано забвению при попытках провести четкие грани между эмпирическими определениями сознания. Это исходный, основополагающий фактор сознания и потому неизбежно и необходимо должен быть признан как таковой; кроме того, в отличие от других эмпирических факторов это тождество не является чем-то условным, а, напротив, как следствие и содержание свободного действия, представляет собой категорию абсолютно безусловную». Понимаешь, Олле? — спросил худой.

— О да, это прелестно! «В отличие от других эмпирических факторов это тождество не является чем-то условным...» Вот это мужик! Читай дальше, дальше!

— «Если допустить, — продолжал читать худой, — что этот тезис верен без всякого дальнейшего обоснования...»

— Ах он плут... «без всякого дальнейшего обоснования», — повторил благодарный слушатель, который тем самым хотел отвести от себя всякое подозрение в том, что ничего не понимает, — «без всякого дальнейшего обоснования...», как изящно, как изящно, вместо того чтобы просто сказать «без всякого обоснования».

— Читать дальше? Или ты намерен прерывать меня на каждом слове? — спросил разобиженный чтец.

— Я больше не буду тебя прерывать, читай, читай, дальше!

— «...В этом случае...» — теперь следует вывод (действительно великолепно) — «в этом случае мы обретаем возможность постулировать какие-то положения».

Олле зафыркал от восторга.

— «Отсюда следует, что мы постулируем не существование A (A большого), а лишь утверждаем тезис, что $A = A$, если и поскольку A вообще существует. Таким образом, речь идет не о содержании тезиса, а лишь о его форме. Следовательно, по своему содержанию тезис $A = A$ представляет собой категорию условную (гипотетическую) и лишь по форме — безусловную».

— Ты заметил, что это A — большое?

Фальк наслушался предостаточно; это была та самая ужасно замысловатая философия с Польской горы, которая достигла здешних мест, сбивая с толку и

⁴ Во-первых (лат.).

покоря неотесанного столичного обывателя; он осмотрелся, стараясь убедиться в том, что куры не свалились с насеста и петрушка не засохла, услышав самые глубокомысленные изречения, какие когда-либо изрекались на диалекте Лилль-Янса. Его весьма изумило, что небо не обрушилось, хотя оказалось невольным свидетелем такого жестокого испытания мощи человеческого духа; в то же время его более низменная человеческая природа выдвигала свои собственные требования, и, ощутив, что в горле у него пересохло, он решил зайти в один из домиков и попросить стакан воды.

Он повернулся и вошел в домик, что стоял справа от дороги, если идти из города. Дверь в большую комнату оказалась открытой, а прихожая была не больше чемодана. Всю обстановку комнаты составляли скамья для спанья, сломанный стул и мольберт, а еще здесь находилось двое людей; один, в рубашке и брюках, державшихся на ремне, стоял перед мольбертом. Его можно было принять за подмастерье, но он был художником, поскольку писал красками эскиз для запрестольного образа. На другом молодом человеке приятной наружности было весьма элегантно для этой невзрачной обстановки платье. Сняв пиджак и приспустив рубашку, он позировал художнику, демонстрируя свою широкую грудь. Его красивое благородное лицо носило следы бурно проведенной ночи, а голова то и дело клонилась на грудь, чем он постоянно навлекал на себя нарекания художника, взявшего его, очевидно, под свою опеку. Заключительные фразы обвинительной речи, с которой в очередной раз выступил художник, и услышал Фальк, входя в прихожую.

— Какая же ты свинья: всю ночь пропьянствовал с этим прощельгой Селленом! И вот теперь тратишь утро черт знает на что, вместо того чтобы сидеть в коммерческом училище... Чуть подними правое плечо... так! Неужели ты пропил всю квартирную плату? А теперь боишься идти домой? И ничего не осталось? Ни эре?

— Нет, немного осталось, но этого хватит ненадолго.

Молодой человек достал из кармана брюк смятую бумажку, развернул и показал два риксдалера.

— Давай сюда, я спрячу их для тебя, — сказал художник и наложил на них свою отеческую руку.

Фальк, который в течение некоторого времени безуспешно пытался привлечь к себе внимание, решил уйти так же незаметно, как и явился. Он снова прошел мимо кучи компоста, мимо двух философов и свернул налево, на дорогу королевы Кристины. Пройдя еще немного, он увидел молодого человека, поставившего свой мольберт на берегу небольшого озера, обведенного у кромки леса ольшаником. У него была тонкая, стройная, почти элегантная фигура и несколько заостренное смуглое лицо; глядя, как он пишет красками, нетрудно было догадаться, что весь он кипит жизнью. Сняв шляпу и пиджак, он явно чувствовал себя великолепно и пребывал в наилучшем расположении духа. Он что-то насвистывал, напевал и болтал сам с собой.

Когда Фальк уже отошел довольно далеко и увидел художника в профиль, тот обернулся.

— Селлен! Здорово, старый дружище!

— Фальк! Старые приятели встречаются в лесу! Ради бога, что это значит? Разве тебе не полагается в это время быть на службе?

— Нет. А ты что, здесь живешь?

— Да, первого апреля я переселился сюда с несколькими приятелями; жить в

городе стало слишком дорого... да и от хозяев нет покоя.

Лукавая улыбка заиграла в уголке рта, а в карих глазах вспыхнул огонь.

— Понятно, — снова заговорил Фальк. — Так, может быть, ты знаешь тех двоих, что сидят возле парников и что-то читают?

— Философы? Еще бы не знать! Длинный работает сверхштатным сотрудником в ведомстве аукционов за восемьдесят риксдалеров в год, а коротышке, Олле Монтанусу, следовало бы, собственно говоря, сидеть дома и заниматься скульптурой, но он вместе с Игбергом увлекся философией, совсем перестал работать и теперь быстро деградирует. Он вдруг обнаружил, что искусство есть нечто чувственное!

— На что же он живет?

— А ни на что! Иногда позирует практичному Лунделлю за кусок хлеба с кровяной колбасой и так может протянуть день или два, а тот разрешает ему зимой спать у него в комнате на полу, так как «он немного согревает комнату», — говорит Лунделль; дрова нынче дорогие, а здесь в апреле было чертовски холодно.

— Как он может позировать, он ведь страшен, как Квазимодо?

— Для картины «Снятие с креста» он изображает того разбойника, которому уже перебили кости; у бедняги радикулит, и когда он перевешивается через подлокотник кресла, получается очень естественно и живо. Иногда он поворачивается к художнику спиной и тогда становится вторым разбойником.

— Почему же он сам ничего не делает? Бездарен?

— Дорогой мой, Олле Монтанус — гений, но он не хочет работать; он философ и стал бы великим, если бы учился. Ты знаешь, послушать их споры с Игбергом бывает очень интересно; разумеется, Игберг больше читал, но у Монтануса такая светлая голова, что порой он кладет Игерга на обе лопатки, и тот бежит домой, чтобы прочитать соответствующий кусок, но никогда не дает Монтанусу своей книги.

— Значит, тебе нравится философия Игберга? — спросил Фальк.

— О, это прекрасно, это прекрасно! Ты ведь любишь Фихте? Ой, ой, ой! Вот это человек!

— Ну, ладно, — прервал его Фальк, который не любил Фихте, — а кто же тогда те двое в комнате?

— Вот как? Ты их тоже видел? Один из них — практичный Лунделль, художник-жанрист, а вернее, церковный живописец, другой — мой друг Реньельм.

Последние слова он произнес подчеркнуто безразличным тоном, чтобы они произвели тем большее впечатление.

— Реньельм?

— Да, очень славный малый.

— Это который позировал?

— Он позировал? Ах, этот Лунделль! Умеет заставить людей делать то, что ему нужно; удивительно практичный парень. А теперь пошли, подразним его немного; здесь это мое единственное развлечение; тогда тебе, может быть, удастся послушать и Монтануса, а это действительно интересно.

Фальк, которого перспектива послушать Монтануса прельщала гораздо меньше, чем получить стакан воды, тем не менее последовал за Селленом, помогая ему нести мольберт и ящик с красками.

За это время обстановка в домике несколько переменилась; натурщик теперь сидел на сломанном стуле, а Монтанус с Игбергом расположились на скамье. Лунделль стоял перед мольбертом и раскуривал надрывно хрипевшую деревянную

носогрейку, а его неимущие приятели наслаждались одним лишь тем, что присутствуют при курении трубки.

Когда ассессора Фалька представили честной компании, за него тотчас же взялся Лунделль, потребовав высказать свое мнение о его картине. Предполагалось, что это почти Рубенс, во всяком случае, по сюжету, если не по совершенству колорита и рисунка. Затем Лунделль принялся разглагольствовать о тяжелых для художника временах, обругал Академию и раскритиковал правительство, которое палец о палец не ударит, чтобы помочь отечественному искусству. Он пишет эскиз к запрестольному образу для церкви в Тресколе, но убежден, что его не примут, потому что без интриг и связей в наше время ничего не добьешься. При этом он окинул испытующим взглядом костюм Фалька, определяя, нельзя ли будет воспользоваться его протекцией.

Совершенно по-иному отнеслись к приходу Фалька оба философа. Они сразу же почували в нем «ученого» и люто возненавидели, ибо он мог лишить их того престижа, каким они пользовались в этой компании. Они обменялись многозначительными взглядами, тотчас же замеченными Селленом, который не мог устоять перед соблазном показать своих друзей в полном блеске, а если удастся, то и столкнуть их лбами. Вскоре он нашел подходящее яблоко раздора, прицелился, метнул и попал в точку.

— Игберг, что ты скажешь о картине Лунделля?

Игберг, не ожидавший, что ему так скоро дадут слово, задумался. Потом заговорил, слегка возвысив голос:

— По-моему, всякое произведение искусства можно разложить на две категории: содержание и форму. Если говорить о содержании данного произведения, то оно, несомненно, глубоко и общечеловечно, а сюжет уже сам по себе весьма и весьма плодотворен как таковой и содержит все те эстетические понятия и возможности, которые находят свое выражение в художественном творчестве. Что же касается формы, которая выражает *de facto*⁵ эстетическое понятие, так сказать, абсолютную идентичность, бытие, свое личное «я», то я считаю ее не менее адекватной.

Лунделль был чрезвычайно польщен этим отзывом, Олле улыбался своей самой блаженной улыбкой, словно вдруг узрел небесное воинство, натурщик спал, а Селлен нашел, что Игберг выступил блистательно. Теперь все взоры были обращены на Фалька, которому ничего другого не оставалось, как поднять брошенную ему перчатку, а в том, что это перчатка, ни у кого не было никаких сомнений.

Фальк забавлялся и злился одновременно; он порылся в кладовых своей памяти, стараясь отыскать какое-нибудь философское ружье, и взгляд его упал на Олле Монтануса, у которого вдруг перекошилось лицо, а это означало, что Олле хочет говорить. Фальк зарядил свое ружье Аристотелем и, не целясь, выстрелил:

— Что вы понимаете под словом «адекватный»? Я что-то не припомню, чтобы Аристотель употреблял это слово в своей метафизике.

В комнате стало совсем тихо; каждый понимал, что происходит сражение между Лилль-Янсом и Густавианумом. Пауза затягивалась дольше, чем было желательно, так как Игберг не читал Аристотеля, но скорее бы умер, чем признал этот прискорбный факт. А поскольку он не умел быстро делать необходимые выводы, то не заметил бреши, которую оставил Фальк, ссылаясь на Аристотеля; однако Олле ее заметил и, подхватив обеими руками летящего в него Аристотеля, метнул его обратно в своего

⁵ Фактически, на самом деле (лат.).

противника:

— Хотя я и не учился в университете, меня все же несколько удивляет довод, с помощью которого господин ассессор пытается опровергнуть аргументацию своего противника. Полагаю, что слово «адекватный» можно употреблять в качестве определения при логических умозаключениях независимо от того, использовал Аристотель это слово в своей метафизике или не использовал. Вы согласны со мной, господа? Не знаю, я не учился в университете, а господин ассессор все это изучал!

Он говорил, чуть прикрыв веками глаза; теперь же он совсем закрыл их, изо всех сил стараясь показаться застенчивым и робким.

— Олле прав, — слышалось со всех сторон.

Фальк понял, что, если он хочет спасти честь Упсалы, то за дело надо браться засучив рукава и немедленно; он передернул свою философскую колоду карт и открыл туза.

— Господин Монтанус отрицает исходный тезис или, проще говоря, *negō majorem!*⁶ Хорошо! Тем не менее я еще раз объясняю, что он допустил *posterius prius*; желая построить силлогизм, он запутался в посылках и вместо *barbara* поставил *ferioque*; он предал забвению золотое правило: *Caesare camestes festino barocco secundo*, и потому его вывод оказался лимитативным! Ну разве я не прав, господа?

— Ну конечно прав, конечно прав! — ответили все в один голос, за исключением обоих философов, которые никогда не изучали логики.

У Игберга был такой вид, будто он напоролся на гвоздь, а Олле так скривился, словно в глаза ему попал нюхательный табак; однако поскольку он был малый не промах, то быстро раскрыл тактический замысел противника. Поэтому он решил не отвечать на заданный ему вопрос, а поговорить о чем-нибудь другом. Он извлек из своей памяти все, что когда-либо узнал или где-нибудь услышал, и начал с того самого реферата о философской концепции Фихте, чтение которого Фальк недавно слышал из-за забора; его речь затянулась почти до полудня.

Между тем Лунделль продолжал писать, надсадно хрипя трубкой. Натурщик все еще спал на своем ветхом стуле, голова его клонилась все ниже и ниже, пока часам к двенадцати не свесилась между колен, так что математик мог бы без труда рассчитать, когда она достигнет центра Земли. Селлен с довольным видом сидел возле открытого окна, а бедняга Фальк, которому давно осточертел этот дурацкий философский диспут, с ожесточением бросал целые пригоршни философского табаку в глаза своим противникам. Его мукам не было бы конца, если бы центр тяжести нашего натурщика понемногу не переместился на одно из самых слабых мест в конструкции стула, который с треском развалился, и Реньельм рухнул на пол, что дало Лунделлю повод гневно осудить пьянство и его печальные последствия как для самого пьяницы, так и для окружающих; под окружающими Лунделль имел в виду себя.

Стараясь хоть как-то помочь смущенному юноше, попавшему в такое затруднительное положение, Фальк поспешил поставить на обсуждение вопрос, который должен был вызвать всеобщий интерес:

— Господа, где вы сегодня собираетесь обедать?

Стало так тихо, что можно было услышать, как жужжат мухи; Фальк не догадывался, что наступил сразу на пять мозолей. Лунделль первый нарушил молчание. Они с Реньельмом пообедают, как всегда, в «Чугунке», поскольку им там

⁶ Здесь и далее оратор пересыпает свою речь отдельными терминами формальной логики.

открыли кредит; Селлен туда не пойдет, так как ему там не нравится кухня, и вообще он еще не решил, где ему обедать; сочинив эту ложь, Селлен вопросительно и несколько встревоженно посмотрел на натурщика. Игберг и Монтанус были «очень заняты» и не хотели «разбивать день», потому что в этом случае им пришлось бы «одеваться и ехать в город», вместо того чтобы приготовить что-нибудь дома; что именно, они не уточнили. Потом молодые люди приступили к туалету, который весь свелся к тому, что они умылись возле старого колодца в саду. Тем не менее у Селлена, прослывшего франтом, под скамьей был припрятан пакет из газеты, откуда он извлек воротничок, манжеты и манишку — все бумажное; потом он довольно долго провозился, стоя на коленях перед колодцем, куда заглядывал, чтобы увидеть свое отражение, пока повязывал вместо галстука коричневато-зеленую ленту, подаренную ему одной девицей, и укладывал особым образом волосы; затем он потер башмаки листом репейника, почистил шляпу рукавом пиджака, воткнул в петлицу гиацинт, взял свою коричневую камышовую трость и был готов. На его вопрос, скоро ли освободится Реньельм, Лунделль ответил, что не раньше, чем через несколько часов, так как должен помочь ему писать, а Лунделль всегда имел обыкновение писать между двенадцатью и двумя. Реньельму ничего не оставалось, как покорно уступить, хотя ему очень не хотелось расставаться со своим другом Селленом, которого он любил, тогда как к Лунделлю испытывал сильную неприязнь.

— Во всяком случае, вечером мы встречаемся в Красной комнате, не так ли? — предложил Селлен в утешение Реньельму, и все с ним согласилось, даже оба философа и высокоморальный Лунделль.

По дороге в город Селлен посвятил своего друга Фалька в различные аспекты жизни обитателей Лилль-Янса, и Фальк узнал, что сам Селлен порвал с Академией из-за несходства взглядов на искусство, однако он знает, что у него есть талант, и в конце концов он обязательно добьется успеха, хотя, возможно, на это потребуется время, потому что без королевской медали сейчас завоевать признание бесконечно трудно. Даже естественные обстоятельства его жизни складывались не в его пользу: он родился на безлесном побережье Халланда и с детства любил его простую и величественную природу; между тем публике и критике подавай детали, всякого рода мелочи, и потому его картины не покупают; ему ничего не стоит писать как и все остальные художники, но он не хочет.

Зато Лунделль — человек практичный; слово «практичный» Селлен всегда произносил с оттенком презрения. Он всегда писал, сообразуясь с вкусами и требованиями толпы, и никогда не страдал от нерасположения к нему публики; конечно, он расстался с Академией, но из деловых, одному лишь ему известных соображений, а не порвал с ней, хотя кричит об этом на каждом перекрестке. Он неплохо зарабатывает, рисуя для иллюстрированных журналов, и когда-нибудь, несмотря на отсутствие таланта, непременно добьется успеха благодаря своим связям и особенно интригам, которым научился у Монтануса, уже предложившего несколько хитроумных планов, успешно реализованных Лунделлем; что же касается самого Монтануса, то он, несомненно, гений, но гений страшно непрактичный.

Реньельм — сын некогда очень богатого человека из Норрланда. У отца было имение, которое он промотал, и оно в конце концов перешло в руки его управляющего. Теперь старый барон был довольно беден, и больше всего на свете ему хотелось, чтобы сын извлек урок из его прошлого и, став управляющим, вернул семейству имение; поэтому Реньельм посещал Коммерческое училище, изучая

экономику сельскохозяйственного производства, которое люто ненавидел. Он был добрым малым, но не отличался сильным характером и позволял хитрому Лунделлю верховодить собой, а тот, оказывая Реньельму моральную поддержку и защиту, не отказывался брать гонорар натурой.

Тем временем Лунделль и молодой барон принялись за работу, которая заключалась в том, что барон рисовал, а маэстро возлежал на скамье и надзирал за учеником — иными словами, курил.

— Если проявишь усердие, возьму тебя пообедать в «Оловянную пуговицу», — великодушно пообещал Лунделль, который чувствовал себя богачом с теми двумя риксдалерами, что спас от неминуемой гибели.

Игберг с Олле поднялись на лесной холм, намереваясь проспять до обеда. Олле весь сиял, упиваясь своей победой, однако Игберг был мрачнее тучи: его превзошел его собственный ученик. Кроме того, у него замерзли ноги и он был страшно голоден; разговоры о еде пробудили дремлющие в нем чувства, которые целый год не давали о себе знать. Они улеглись под елью; Игберг спрятал под голову завернутую в бумагу драгоценную книгу, которую никак не хотел давать Олле, и вытянулся во весь рост. Он был бледен, как труп, и холоден и спокоен, как труп, утративший всякую надежду на воскресение из мертвых. Он наблюдал, как маленькие птички у него над головой выклеивают зернышки из еловых шишек, роняя на него шелуху, как тучная корова пасется в зарослях ольхи, как поднимается дым из трубы над кухней садовника.

— Олле, тебе хочется есть? — спросил Игберг слабым голосом.

— Нет, не хочется, — ответил Олле, поглядывая голодными глазами на замечательную книгу.

— Хорошо быть коровой, — вздохнул Игберг, сложил руки на груди и отдал душу все милостивейшему сну.

Когда слабое дыхание Игерга стало более или менее ровным, его бодрствующий друг осторожно, стараясь не потревожить его сон, вытащил у него из-под головы заветную книгу и, перевернувшись на живот, стал поглощать ее драгоценное содержание, совершенно забыв о существовании «Оловянной пуговицы» и «Чугунка».

Глава четвертая Господа и собаки

Прошло несколько дней. Двадцатидвухлетняя жена Карла-Николауса Фалька только что напилась кофе, лежа на громадной кровати красного дерева в огромной спальне. Было еще только десять. Ее муж ушел в семь часов утра принимать на причале партию льна; однако молодая женщина позволила себе вольность все утро проваляться в постели, хотя это и противоречило нравам и обычаям дома, вовсе не потому, что была уверена, будто муж не может скоро вернуться. Скорее, ей доставляло удовольствие действовать именно вопреки царящим здесь нравам и обычаям. Она была замужем лишь два года, но уже успела осуществить глубокие реформы в этом старом консервативном мещанском доме, где все было старым, даже прислуга, а власть она обрела еще в те дни, когда ее будущий супруг только объяснился ей в любви и она милостиво дала свое согласие, вырвавшись таким образом из-под ненавистного ей родительского крова, где ей приходилось вставать в шесть часов утра и работать целый день не покладая рук. Она весьма разумно использовала время между обручением и свадьбой; именно тогда она вырвала у мужа

все необходимые гарантии, обеспечившие ей право на свободную и независимую жизнь без какого-либо вмешательства с его стороны; правда, эти гарантии заключались в одних лишь клятвах, которые щедро давал страстно влюбленный мужчина, однако она отнюдь не теряла головы и, выслушивая их, все записывала в своей памяти. Напротив, ее муж после двух лет бездетного брака был, пожалуй, склонен забыть свои обязательства не мешать жене спать сколько угодно, пить кофе в постели и так далее; он был настолько бестактен, что не раз напоминал ей, будто вытащил ее из грязи, из ада, принеся себя в жертву, ибо допустил мезальянс: ведь ее отец был всего-навсего шкипером. Лежа сейчас в постели, она занималась тем, что обдумывала, как лучше ответить на эти и тому подобные обвинения, а поскольку за все время их знакомства ее здравый смысл никогда не затуманивало упоение чувств, он неизменно оставался в полном ее распоряжении — и она умела распорядиться им наилучшим образом. Поэтому с неподдельной радостью она услышала звуки, свидетельствующие о том, что ее муж вернулся домой позавтракать. Громко хлопнула дверь в столовую и одновременно раздалось злобное рычание; она спрятала голову под одеяло, чтобы не было слышно, как она смеется. Потом шум шагов донесся из гостиной, и в дверях спальни, не снимая шляпы, появился разъяренный супруг. Его супруга повернулась к нему спиной и ласково позвала:

— Это ты, мой маленький медвежонок? Иди же, иди же ко мне!

Маленький медвежонок (одно из его ласкательных имен, и все они звучали весьма оригинально) не только не захотел подойти, но, оставшись стоять в дверях, закричал:

— Почему не подан завтрак? А?

— Спроси прислугу; не мне же возиться с завтраком! И пожалуйста, дорогой мой муж, снимай шляпу, когдаходишь ко мне.

— Куда ты девала мою ермолку?

— Сожгла! Она такая засаленная, что просто стыдно!

— Сожгла! Впрочем, об этом мы еще поговорим! А почему ты чуть не до полудня валяешься в постели, вместо того чтобы присматривать за прислугой?

— Потому что мне это приятно!

— Неужели я женился на женщине, которой совершенно все равно, что творится у нее в доме?

— Да, именно на такой ты и женился! А почему, по-твоему, я вышла за тебя замуж? Я объясняла тебе тысячу раз: чтобы не работать, и ты мне это клятвенно обещал. Разве не обещал? Отвечай честно: обещал ты мне или не обещал? Теперь видишь, что ты за человек! Такой же, как и все!

— Ну, обещал! Но это было тогда!

— Тогда? Когда тогда? Разве обещания даются не навсегда? Или, может быть, их дают на какой-нибудь определенный сезон?

Супруг слишком хорошо знал цену этой несокрушимой логики; в подобных случаях хорошее настроение любимой супруги оказывало на него такое же сильное действие, как и слезы: он сдался.

— Сегодня вечером я жду гостей, — объявил он.

— Вот как? Мужчин?

— Конечно! Женщин я не выношу!

— Ты уже все купил для стола?

— Нет, это сделаешь ты!

— Я? У меня нет денег на гостей! А тратить деньги, которые мне нужны для расходов по хозяйству, я не стану.

— Не для расходов по хозяйству они тебе нужны, а чтобы тратить их на туалеты и прочую ненужную дрянь.

— Значит, ты называешь ненужной дрянью все, что я для тебя делаю? Значит, и колпачок для твоей трубки тебе не нужен? А может быть, и туфли тебе не нужны? Ну? Так отвечай же?

Она всегда умела формулировать свои вопросы таким образом, чтобы ответы на них оборачивались погубелью для ее собеседника. В этой области семейной жизни ее муж прошел хорошую школу. И поскольку он не хотел себе погубели, то постарался поскорее изменить тему беседы.

— У меня действительно есть повод, — сказал он с некоторым волнением в голосе, — пригласить вечером гостей; мой старый друг Фриц Левин из почтового ведомства после девятнадцати лет усердной службы из сверхштатных служащих переведен в штатные... сообщение об этом во вчерашнем вечернем выпуске «Почтовой газеты». Но если тебя это не устраивает — а ведь ты знаешь, что я все делаю, как ты захочешь, — то не буду настаивать и приму Левина и магистра Нистрема внизу, в конторе.

— Так, значит, этот растяпа Левин стал штатным? Вот хорошо! Может быть, теперь он вернет тебе все те деньги, которые задолжал.

— Ну конечно вернет.

— Только скажи на милость, зачем тебе нужен этот растяпа Левин? И этот магистр? Ну как есть оба настоящие оборванцы.

— Послушай, старушка, я ведь не лезу в твои дела, а уж ты не вмешивайся, пожалуйста, в мои.

— Если ты собираешься принимать своих гостей внизу, то почему бы мне не принять моих наверху?

— Ради бога, принимай кого хочешь!

— Правда? Тогда походи сюда, мой маленький медвежонок, и дай мне немного денег.

Медвежонок, весьма довольный достигнутым соглашением, охотно выполнил приказание жены.

— Сколько тебе нужно? У меня сегодня туго с деньгами.

— Пятидесяти хватит.

— Ты что, спятила?

— Спятила или нет, но дай мне столько, сколько я прошу; ты ходишь по кабакам, ешь и пьешь сколько влезет, а мне — голодать?

Тем не менее мир был заключен, и, к обоюдному удовольствию, супруги расстались. Теперь он может не есть невкусный завтрак, приготовленный дома, он позавтракает в каком-нибудь кафе; он избавлен от необходимости есть противный суп в компании баб, которых стеснялся, потому что слишком долго был холостяком; и ему не в чем упрекнуть себя, уж во всяком случае не в том, что его жена остается одна — у нее самой будут гости, и она почти хотела, чтобы он не докучал ей — и все это ему обошлось всего в пятьдесят риксдалеров!

Когда муж ушел, жена позвонила горничной, из-за которой сегодня так долго провалялась в постели, поскольку та заявила, что в этом доме принято вставать в семь часов утра. Потом она приказала принести бумагу и перо и написала ревизорше

Хуман, жившей напротив, записку следующего содержания:

«Дорогая Эвелина! Приходи вечером на чашку чая, и мы поговорим об уставе нашего общества „За права женщины“. Быть может, имеет смысл устроить благотворительный базар или любительский спектакль. Мне бы действительно очень хотелось учредить такое общество; ты права, в нем назрела глубокая необходимость, и я чувствую это всем сердцем. Как ты полагаешь, не окажет ли мне ее милость честь своим посещением или я первая должна нанести ей визит? Заходи за мной часов в двенадцать, пойдем в „Берген“ пить шоколад. Мой муж ушел.

Твоя Эжени.

P. S. Мой муж ушел».

Затем она встала и оделась, чтобы к двенадцати часам быть готовой.

* * *

Наступил вечер. Когда часы на Немецкой церкви пробили семь, Восточную улицу уже окутали сумерки. Лишь бледная полоска света из переулка Феркенс-грэнд пробивалась в торговое заведение Фалька, которое запирали Андерссон. В конторе было уже подметено и прибрано, закрыты ставни и зажжен газ. Возле дверей гордо стояли две корзины, из которых торчали горлышки бутылок, украшенные красным и желтым лаком, оловянной фольгой и даже розовой шелковой бумагой. Посреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью; на нем — чаша для пунша старинной работы, привезенная из Ост-Индии, и тяжелый многолапый серебряный канделябр. По комнате взад и вперед прохаживался Карл-Николаус Фальк. Он надел черный сюртук, и вид у него был не только весьма внушительный, но и вполне довольный. Он имел право на приятный вечер; он сам оплатил и сам подготовил его; он был у себя дома, и его не стесняли никакие бабы, а его гости принадлежали к той породе людей, от которых он чувствовал себя вправе требовать не только внимания и почтительности, но и кое-чего побольше. Гостей, правда, будет всего двое, но Карл-Николаус не любил больших скоплений народа; это его друзья, надежные и преданные, как собаки, смиренные и покорные, очень удобные, всегда готовые польстить ему и никогда не противоречащие. Конечно, за свои деньги он мог бы собирать и более изысканное общество, что он и делал дважды в год, приглашая старых друзей своего отца, но, откровенно говоря, он был слишком большой деспот, чтобы ему это доставляло удовольствие.

Однако часы показывали уже три минуты восьмого, а гости все не появлялись. Фальк начал проявлять признаки раздражения. Он привык, чтобы, когда он созывает своих людей, они являлись точно в назначенное время. Еще какую-то минуту его терпенье питала мысль о потрясающем великолепии предстоящего приема, и тут в комнату вошел нотариус Фриц Левин из почтового ведомства.

— Добрый вечер, мой дорогой брат... Нет, не может быть! — И он даже перестал расстегивать пальто, сняв очки и изобразив крайнее изумление, якобы вызванное необыкновенной роскошью стола, словно он вот-вот упадет от восторга в обморок. — Канделябр на семь свечей и дарохранильница! Господи, господи! — воскликнул он, увидев корзины с бутылками.

Тот, кто, извергая поток хорошо заученных восторженных похвал, снимал сейчас

пальто, был человеком средних лет и принадлежал к тому типу чиновников королевской администрации, что был в моде лет двадцать назад; он носил усы, образующие единое целое с бакенбардами, волосы на косой пробор и *coup-de-vent*⁷. Он был бледен как полотно, худ как соломина, одет довольно элегантно, но казалось, будто его все время знобит и тайком он водит знакомство с нищетой.

Фальк приветствовал его грубовато и с видом превосходства, словно хотел сказать, что, во-первых, презирает лесть, особенно со стороны гостя, а во-вторых, гость этот имеет право на его доверие и дружбу. Он считал, что в данном случае самым лучшим поздравлением будет установление связи между повышением Левина по службе и королевскими полномочиями на должность капитана гражданской гвардии, которые в свое время обрел отец.

— Да, как приятно, наверное, получить королевские полномочия! Верно? У моего отца тоже ведь были королевские полномочия...

— Прости, братец, но у меня вовсе не королевские.

— Королевские или не королевские — какая разница! Ты что, вздумал меня учить? У моего отца тоже были королевские полномочия...

— Уверю тебя, братец!

— Уверю! В чем же ты меня уверяешь? Ты хочешь сказать, что я лгу. Да? Ты на самом деле думаешь, что я лгу?

— Ни в коем случае! Ради бога, перестань горячиться!

— Значит, ты признаешь, что я не лгу, и, следовательно, у тебя есть королевские полномочия. Чего же ты тогда мелешь вздор! Мой отец...

Бледнолицый чиновник, у которого уже в дверях был такой вид, будто за ним гонятся все фурии ада, теперь бросился к своему благодетелю с твердой решимостью закончить деловую часть визита как можно скорее, до начала пиршества, чтобы потом есть и пить со спокойной душой.

— Помоги мне, — простонал он, как утопающий, вытаскивая долговое обязательство из нагрудного кармана.

Фальк сел на диван, позвал Андерссона, приказал ему вытащить из корзины бутылки и начал готовить пунш. Затем он ответил своему бледнолицему другу:

— Помочь? Разве я не помогал тебе? Разве не занимал ты у меня денег несчетное число раз, нисколько не заботясь о том, чтобы вернуть долг? А? Разве я тебе не помогал? Так или не так?

— Мой дорогой брат, я прекрасно знаю, что ты всегда был добр ко мне.

— Так разве тебя не повысили в чине? Ведь ты теперь штатный. И все пойдет как по маслу. Ты заплатишь все долги и начнешь новую жизнь. Я слышу это уже восемнадцать лет. Сколько ты теперь получаешь?

— Тысячу двести риксдалеров вместо восьмисот, которые мне платили до сих пор; но все не так-то просто. Назначение на должность стоит сто двадцать пять, отчисления в пенсионную кассу составляют пятьдесят, итого — сто семьдесят пять риксдалеров, а где их взять? Но что хуже всего, мои кредиторы забирают у меня половину оклада, так что теперь мне остается на жизнь всего шестьсот риксдалеров, вместо восьмисот, которые у меня были раньше; вот чего я дожидался девятнадцать лет — и дождался. Как приятно быть штатным!

— Ну, а зачем ты влезал в долги? Не надо влезать в долги. Никогда... не надо...

⁷ Дословно: порыв ветра (фр.).

влезать...

— А что делать, если многие годы получаешь какую-то сотню риксдалеров.

— Смени место работы. Впрочем, меня это не касается! Не... касается!

— Ты не подпишешь мне долговое обязательство в последний раз?

— Ты знаешь мои принципы, я никогда не подписываю долговых обязательств. И кончим с этим раз и навсегда!

Для Левина, по-видимому, отказ, сделанный в такой форме, не был чем-то непривычным, и он сразу успокоился. Внезапно появился Нистрем и весьма кстати прервал этот разговор. Он был сухощав, внешность его казалась такой же загадочной, как и возраст; род занятий тоже представлялся загадкой; говорили, что он учителствует в школе в одном из южных районов города, но в какой именно школе, никто его не спрашивал, а сам он не был склонен распространяться на этот счет. В круг обязанностей, которые он выполнял в доме Фалька, входило: во-первых, в присутствии посторонних именоваться магистром, во-вторых, вести себя смиренно и учтиво, в-третьих, время от времени занимать у Фалька деньги, но максимум пятерку, ибо одной из духовных потребностей Карла-Николауса было принимать людей, которые просят у него в долг, естественно, совсем немного, и, в-четвертых, по торжественным случаям писать стихи, что было отнюдь не наименее ответственной из его обязанностей.

И вот Карл-Николаус Фальк сидел посередине кожаного дивана, ибо никто не должен был забывать, что это все-таки его диван, в окружении своего генерального штаба, или, если можно так выразиться, в окружении своих собак. Левину все представлялось великолепным: чаша для пунша, бокалы, разливательная ложка, сигары (из коробки, которую принесли с камина), спички, пепельницы, бутылки, пробки — все. У магистра был вполне довольный вид: ему не обязательно было разговаривать, потому что этим занимались другие, а лишь присутствовать при сем, чтобы в случае необходимости выступить свидетелем.

Фальк поднял первый бокал и выпил... за кого, этого так никто и не узнал, но магистр решил, что за героя дня, и, вытащив из кармана стихи, без промедления начал читать «Фрицу Левину, ставшему штатным».

Но на Фалька почему-то вдруг напал сильный кашель, который самым пагубным образом отразился на чтении стихов, и наиболее остроумные строки не имели того эффекта, на какой мог рассчитывать автор; однако Нистрем, как человек неглупый, предусмотрел подобную возможность и вплел в художественную ткань произведения изящно задуманную и не менее изящно изреченную мысль о том, что «ничего бы Фриц Левин добиться не смог, если б Карл Фальк ему не помог!». Этот тонкий намек на многочисленные маленькие займы, которые Фальк предоставлял своему штатному другу, оказался настолько целительным, что кашель прекратился, и уже можно было разобрать последнюю строфу, которую автор совершенно бестактно посвятил Левину, каковой просчет снова грозил разрушить гармонию, обретенную обществом. Фальк снова вылил в себя бокал, словно выпил чашу, до краев наполненную неблагодарностью.

— Нистрем, сегодня у тебя получилось хуже, чем обычно! — сказал он.

— Да, да, в твой день рождения, когда тебе исполнилось тридцать восемь, у него вышло гораздо интересней, — поддержал своего господина Левин, быстро сообразивший, в чем дело.

Фальк тщательно обшарил взглядом сокровеннейшие уголки его души, словно

стараясь обнаружить, не затаились ли там коварство и измена, но поскольку он был слишком горделив, чтобы уметь видеть, то ничего и не увидел. И тогда он сказал:

— Совершенно с тобой согласен. Ничего забавнее тех стихов мне никогда не доводилось слышать; это было так здорово, что их вполне можно было и напечатать; тебе следовало бы издавать свои произведения. Послушай-ка, Нистрем, ты ведь наверняка помнишь эти стихи наизусть, а?

У Нистрема была очень скверная память, а сказать по правде, он считал, что они выпили еще слишком мало, чтобы так грубо насиловать хотя бы самую элементарную скромность и хороший вкус; во всяком случае, он попросил дать ему отсрочку; однако Фальк, взбешенный этим молчаливым сопротивлением, ибо он уже слишком далеко зашел в своих притязаниях, чтобы так сразу отступить, упорно настаивал на своем. Он даже высказал предположение, что переписал эти стихи, порывшись в бумажнике — да, так оно и есть, — они там и оказались. Скромность вовсе не мешала ему прочесть вслух эти вирши самому, потому что он уже делал это великое множество раз, но они звучали гораздо лучше в чужом исполнении. Бедный пес отчаянно грыз свою цепь, но она крепко держала его. Он был тонко чувствующей натурой, этот несчастный магистр, но, чтобы иметь возможность распорядиться драгоценным даром жизни, он должен был стать грубым, и он стал грубым, беззастенчиво грубым. Он обнажал все самые интимные человеческие отношения, высмеивал все, что так или иначе было связано с рождением, воспитанием и жизненным поприщем этого тридцативосьмилетнего новорожденного, высмеивал так грубо, что это могло бы вызвать отвращение у Фалька, но только при том условии, если бы речь шла о ком-нибудь другом; в данном случае все было великолепно, поскольку объектом внимания служила его собственная персона. Когда чтение стихов закончилось, гости стали пить за здоровье Фалька, восторженно поднимая тост за тостом, ибо прекрасно сознавали, что оставались еще слишком трезвыми, чтобы свободно управлять своими чувствами. Потом пунш убрали и принесли роскошный ужин, состоявший из устриц, дичи и всякой прочей снеди. Фальк ходил вокруг стола, обнюхивая закуски, что-то отсылал обратно на кухню, следил, чтобы английский портер был хорошо охлажден и все вина тоже охлаждены или подогреты до надлежащей температуры. Теперь настал черед для его собак послужить и сыграть для него приятный спектакль. Когда все было готово, он вынул из кармана золотые часы и, держа их в руках, обратился к гостям с шутливым вопросом, к которому они уже так привыкли, так привыкли:

— Господа, сколько сейчас на ваших серебряных?

Угодливо улыбаясь, как того требовала процедура, они дали раз и навсегда заученный ответ: их часы у часовщика. Это привело Фалька в отличное расположение духа, и он отнюдь не неожиданно изрек:

— Зверей кормят в восемь часов!

После этого он сам наполнил водкой три рюмки, одну взял себе и предложил остальным сделать то же.

— Я начинаю, раз вы сами никак не хотите начать! Без церемоний, ребята! Лопай кто во что горазд!

И кормление началось. Карл-Николаус, который не особенно проголодался, с большим удовольствием созерцал голодные физиономии своих гостей и, осыпая их шлепками и оскорблениями, понуждал как можно энергичнее браться за еду. Когда он увидел, с каким усердием они работают ножами и вилками, бесконечно благодатная улыбка озарила его светлый солнечный лик, и трудно было понять, чему он радуется

больше: тому ли, что они так хорошо едят, или тому, что они такие голодные. Словно кучер на козлах, он щелкал кнутом, подгоняя их:

— Ешь, Нистрем! Кто знает, когда тебе еще придется поесть! Наворачивай, нотариус, тебе совсем не лишне нарастить немного мяса на костях. Ты что пялишься на устриц, или они тебе не по вкусу? А? Скушай еще одну! Да ты ешь, не смущайся! Не можешь больше? Что за чепуха! Ну! Давайте-ка по второй! И пиво пейте, ребята! А ты возьми-ка еще лососины! Черт побери, ты обязательно должен съесть еще кусочек лососины! Ешь, черт побери! Сколько ни съешь, все равно не тебе платить.

Когда разрезали и разложили по тарелкам дичь, Карл-Николаус торжественно наполнил бокалы красным вином, и гости тотчас же примолкли в тревожном ожидании застольной речи. Между тем хозяин поднял бокал, понюхал его и с глубокой серьезностью в голосе приветствовал своих друзей следующим образом:

— Ваше здоровье, свиньи!

Нистрем с благодарностью принял тост и, подняв в ответ бокал, выпил его, однако Левин к своему бокалу не притронулся, сидя с таким видом, будто точит в заднем кармане нож.

Когда трапеза уже близилась к концу и Левин чувствовал, что вдоволь наелся и напился, а голову ему туманили винные пары, он вдруг ощутил некое опасное стремление к независимости, и в нем нежданно-негаданно проснулась жажда свободы. Голос у него сразу же стал более звучным, слова он произносил более уверенно, а двигался легко и свободно.

— Давай сюда сигару, — приказал он хозяину, — только хорошую сигару! Не какую-нибудь там дрянь!

Карл-Николаус, который принял это высказывание за удачную шутку, послушно выполнил приказание.

— Что-то я не вижу здесь твоего брата! — небрежно заметил Левин.

В его голосе было что-то зловещее и угрожающее; Фальк это почувствовал, и настроение у него сразу же испортилось.

— Его нет, — ответил он коротко, но как-то неопределенно. Левин немного помедлил, прежде чем нанести следующий удар.

Одним из самых прибыльных его занятий было, как говорится, совать свой нос в чужие дела, переносить сплетни, сеять там и сям семена раздора, чтобы потом выступать в благодарной роли посредника и миротворца. В результате, манипулируя людьми, как куклами, он стал влиятельной и опасной личностью. Фальк тоже ощущал на себе это тягостное влияние и хотел бы освободиться от него, но не мог, потому что Левин посредством всевозможных уловок умел раздражить его любопытство, а поскольку Левин всегда делал вид, будто ему известно гораздо больше, чем он знал на самом деле, то таким образом выманивал у людей их тайны.

И вот теперь кнут попал в руки Левина, и тот поклялся, что вволю поедит на своем угнетателе. Пока что он только щелкал кнутом в воздухе, но Фальк каждую минуту ждал удара. Он попытался переменить тему беседы. Предложил еще выпить, и они выпили. Левин становился все бледнее и спокойнее, но все больше пьянел. Он играл со своей жертвой.

— У твоей жены сегодня гости, — заметил он безразличным тоном.

— Откуда ты знаешь? — обеспокоенно спросил Фальк.

— Я все знаю, — ответил Левин, оскалив зубы.

И он действительно знал все или почти все. Его деловые связи были столь

обширны, что он целыми днями бегал по городу, умудряясь многое услышать: то, что говорилось и в его присутствии, и в присутствии других людей.

Между тем Фальк по-настоящему испугался, без видимой на то причины, и решил отвратить нависшую над ним опасность. Он стал любезным, почти покорным, но Левин держался все смелей и смелей. В конце концов, хозяину ничего не оставалось, как произнести речь и напомнить о причине, послужившей истинным поводом для потребления такого несметного количества еды и вина, короче говоря, отдать должное виновнику торжества. У него, не было другого выхода; правда, он не умел произносить речи, но чему быть, того не миновать! Он постучал по чаше с пуншем, наполнил бокал и постарался припомнить речь, которую когда-то произнес его отец, когда Карл-Николаус начал самостоятельную жизнь; потом он поднялся с места и стал медленно, очень медленно говорить:

— Господа! Вот уже восемь лет, как я живу совершенно самостоятельно; тогда мне было всего тридцать.

Поднимаясь, он резко изменил положение тела, и это вызвало сильный прилив крови к голове; он смутился, а презрительные взгляды Левина окончательно сбили его с толку. Он совсем растерялся, и число тридцать вдруг показалось таким невероятно большим, что он пришел в изумление...

— Я сказал тридцать? Я имел в виду... не это. Я ведь тогда стажировался у отца... много лет, я сейчас... не могу точно припомнить... сколько. М-да. Вспоминать все, что я пережил и испытал за эти годы, — дело чересчур долгое, но уж такова человеческая судьба. Вы, может быть, думаете, что я эгоист...

— Послушайте! — простонал Нистрем, уронив на стол усталую голову.

Левин пустил в оратора струю дыма, словно плюнул в него.

Фальк, окончательно опьяневший, продолжал говорить, а взгляд его блуждал в поисках далекой цели, которую ему никак не удавалось достичь.

— Человек эгоистичен, это мы знаем все. М-да. Мой отец, который сказал речь в тот день, когда я начал самостоятельную жизнь, как я уже говорил...

Тут оратор вытащил свои золотые часы и снял их с цепочки. Оба его слушателя широко раскрыли глаза. Неужели он решил сделать Левину такой щедрый подарок?

— Так вот, мой отец передал мне тогда эти часы, которые получил от своего отца в тысяча...

Опять эти проклятые цифры, надо немного вернуться назад...

— Эти золотые часы, господа, я получил от отца, и никогда... не могу... без волнения думать о той минуте... Может быть, вы полагаете, господа, что я эгоист? Я не эгоист. Конечно, нехорошо говорить о себе самом, но раз мы собрались по такому важному поводу, непременно хочется оглянуться назад... бросить взгляд в прошлое. Я только расскажу вам об одном маленьком обстоятельстве.

Он совсем забыл о Левине, забыл, почему они здесь собрались, и вдруг решил, что это мальчишник. Но тут перед его глазами вдруг возникла утренняя встреча с братом, и он тотчас вспомнил о своем триумфе. Ему захотелось поведать своим гостям об этом триумфе, но он не мог вспомнить никаких подробностей, кроме одной: он неопровержимо доказал брату, что тот мошенник; вся цепь доказательств полностью выпала из его памяти, осталось лишь два факта: брат и мошенник; он старался как-то увязать их воедино, но они упрямо разбегались в разные стороны. Его мозг лихорадочно работал, и перед его мысленным взором появлялись все новые картины. Он испытывал неодолимую потребность рассказать о каком-нибудь своем

великодушном поступке и вспомнил, что утром дал жене денег, разрешил ей спать сколько вздумается и пить кофе в постели, но едва ли сейчас стоило об этом говорить; он оказался в очень трудном положении и опомнился, лишь почувствовав страх от внезапно наступившей тишины и неотрывно устремленных на него глаз. До него дошло, что он все еще стоит с часами в руках. Часы? Откуда они взялись? Почему эти люди сидят, а он стоит? Ах, вот оно что, он рассказывал им о часах, и теперь они ждут продолжения его рассказа.

— Эти часы, господа, не представляют никакой ценности. Это ведь всего-навсего французское золото.

Оба бывших обладателя серебряных часов вытаращили глаза. Вот так новость!

— И полагаю, что они только на семи камнях... Нет, их никак не назовешь хорошими... скорее даже это дрянные часы!

Он вдруг обозлился по какой-то скрытой причине, которую вряд ли осознавал его мозг, и ему непременно нужно было сорвать на чем-нибудь свою злость. Он ударил часами по столу и закричал:

— Это чертовски дрянные часы, понятно? А вы слушайте, когда я говорю! Ты что, не веришь мне, Фриц? Отвечай! Уж очень у тебя фальшивый вид. Ты мне не веришь! Я по твоим глазам вижу, Фриц, что ты мне не веришь! Кто-кто, а я разбираюсь в людях. Ведь мне ничего не стоит еще раз поручиться за тебя. Либо лжешь ты, либо — я. Послушай, хочешь, я докажу, что ты мошенник? М-да! Слышишь, Нистрем? Если... я... напишу ложное свидетельство, значит, я мошенник?

— Ну конечно, черт побери, ты мошенник, — моментально ответил Нистрем.

— Да!.. М-да!

Он тщетно пытался припомнить, не подписывал ли Левин какого-нибудь ложного свидетельства или вообще какого-нибудь свидетельства, но ничего подобного тот не совершил. Между тем Левин уже устал и боялся, что жертва его окончательно утратит здравый смысл, а у него самого совсем не останется сил, чтобы насладиться решающим ударом, который он намеревался нанести. Поэтому он прервал Фалька шуткой в духе самого Фалька:

— За твоё здоровье, старый мошенник!

И тотчас пустил в ход свой кнут. Вытащив из кармана газету, он спросил Фалька с напускным равнодушием:

— Ты читал «Знамя народа»?

Фальк пристально посмотрел на бульварную газетенку, но промолчал. Неизбежное должно было вот-вот совершиться.

— Здесь напечатана небезынтересная статейка о «Коллегии выплат чиновничьих окладов».

Фальк побледнел.

— Говорят, ее написал твой брат!

— Это ложь! Мой брат не газетный писака! Во всяком случае, это не мой брат!

— К сожалению, ему это даром не прошло. Его прогнали со службы.

— Ты лжешь!

— Не лгу! Между прочим, я видел его сегодня около полудня с одним проходивцем в «Оловянной пуговице». Ужасно жалко парня!

Да, ничего более страшного не могло случиться с Карлом-Николаусом Фальком. Его опозорили. Его честное имя и имя его отца... Все, чего его почтенные предки добились, теперь пошло прахом. Если бы ему вдруг сказали, что умерла его жена, он

как-нибудь пережил бы утрату, потеря денег — тоже дело поправимое. Узнай он, что его друзья Левин или Нистрем попали в тюрьму за подлог, он просто бы отрекся от них, заявив, что никогда не был с ними знаком, потому что никогда ни с одним из них не появлялся вне стен своего дома. Но родство со своим братом он не мог отрицать. Брат опозорил его; от этого никуда не уйти!

Левин не без удовольствия поведал Фальку эту грустную историю; дело в том, что Карл-Николаус, который ни разу доброго слова не сказал своему брату, любил похвастаться им и его достоинствами перед своими друзьями. «Мой брат — ассессор! Гм! Это голова! Вот увидите, он далеко пойдет». Левина раздражали эти постоянные косвенные уколы, на которые не скупился Карл-Николаус, тем более что он делал четкое различие между нотариусами и ассессорами, хотя и не мог сформулировать, в чем оно заключается.

Не пошевелив пальцем и без всяких лишних затрат Левин так здорово отомстил своему обидчику, что теперь решил проявить великодушие и взять на себя роль утешителя.

— Ну, не принимай все это так близко к сердцу. Ведь можно оставаться человеком, даже если ты газетчик; что же касается скандала, то дело обстоит вовсе не так уж плохо. Если не затронуты отдельные личности, это еще не скандал; к тому же статья написана очень живо и остроумно — ее читает весь город.

Эта последняя утешительная пилюля привела Фалька в ярость.

— Он украл мое доброе имя, мое имя! Как я завтра покажусь на бирже? Что скажут люди!

Под людьми Карл-Николаус, в сущности, подразумевал свою жену, которая, вне всякого сомнения, очень обрадуется случившемуся, ибо отныне их брак уже не будет мезальянсом. Жена окажется ничем не хуже его, станет равной ему по положению! — эта мысль приводила Фалька в бешенство. Его охватила неугасимая ненависть ко всему человечеству. Был бы он хотя бы отцом этого прощельяги, тогда бы он мог по крайней мере воспользоваться высоким правом отца и, предав его проклятью, благополучно умыть руки, освободившись от тяжкого бремени, — но он никогда не слышал, чтобы брат проклинал брата!

Может быть, он сам, Карл-Николаус, виноват в своем бесчестье? Может быть, он допустил насилие, подавив природные склонности брата, когда тот выбирал свой жизненный путь? Или виной всему скандал, который он устроил брату утром? Или безденежье, в которое брат попал по его милости? Его, Карла-Николауса Фалька? Это он всему виной? Нет! Он никогда в жизни не совершал подлых поступков; он чист перед богом и людьми, пользуется почетом и уважением, не пишет скандальных статей, его не выгоняли с работы; разве у него не лежит в кармане свидетельство о том, что он хороший друг и у него доброе сердце, разве магистр не прочитал этого вслух? Ну, конечно, прочитал! И Карл-Николаус взялся за выпивку — всерьез, — но вовсе не для того, чтобы заглушить упреки совести, в этом не было необходимости, ибо он не совершил ничего дурного; он просто хотел подавить свой гнев. Но ничто не помогало, гнев кипел и клокотал, выплескиваясь через край, и обжигал тех, кто сидел рядом.

— Пейте, негодяи! А этот болван сидит себе и спит! И это называется друзьями! Разбуди-ка его, Левин! Ну, давай!

— Ты на кого кричишь? — злобно спросил оскорбленный Левин.

— На тебя, конечно!

Они обменялись взглядами, не предвещавшими обоим ничего хорошего. Фальк, который пришел в несколько лучшее расположение духа, увидев, что гость рассвирепел, зачерпнул полную ложку пунша и вылил на голову магистру, так что пунш потек ему за воротник рубашки.

— Не смей этого делать! — сказал Левин решительно и грозно.

— А кто мне помешает, хотел бы я знать?

— Я! Да, именно я! Я не позволю тебе безобразничать и портить его одежду!

— *Его* одежду! — захохотал Фальк. — *Его* одежду! Да разве это не мой пиджак, разве он получил его не от меня?

— Ну, это уж слишком... — сказал Левин, поднимаясь, чтобы уйти.

— А теперь ты уходишь! Наелся, пить не можешь, и вообще сегодня я тебе больше не нужен: так не соизволишь ли взять займы пятерку? А? Не окажешь ли мне честь занять у меня немного денег? Или, может быть, подписать тебе долговое обязательство? Ну как, подписать?

При слове «подписать» Левин насторожил уши. Вот если бы удалось застать его врасплох, когда он весь пребывает в расстроенных чувствах! При этой мысли Левин смягчился.

— Будь справедлив, брат мой, — вернулся он к прерванному разговору.

— Я вовсе не неблагодарное существо, как ты, наверное, подумал, и высоко ценю твою доброту; я беден, так беден, как ты даже представить себе не можешь, и перенес такие унижения, какие тебе и во сне не снились, но я всегда считал тебя своим другом. Я говорю «друг» и именно это имею в виду. Ты немного выпил сегодня и расстроен и потому несправедлив ко мне, и тем не менее я заверяю вас, господа, что нет сердца добрее, чем у тебя, Карл-Николаус! И я говорю об этом не впервые. Спасибо тебе за те знаки внимания, которые ты нам оказал, и, конечно, за роскошные яства, которыми ты нас угощал, и за великолепные вина, лившиеся рекой. Я благодарю тебя, мой брат, и пью за твое здоровье. Твое здоровье, брат Карл-Николаус! Спасибо, сердечное спасибо! Твои благодеяния не пропадут даром! Когда-нибудь ты вспомнишь мои слова!

Эта речь, произнесенная дрожащим от волнения (душевного волнения) голосом, произвела на Фалька, как это ни странно, сильное впечатление. Настроение его сразу изменилось к лучшему; разве ему не сказали в который уже раз, что у него доброе сердце? Он верил этому. Их опьянение перешло теперь в ту стадию, когда человек становится сентиментальным, Они стали как-то ближе друг другу, роднее, наперебой говорили о том добром и хорошем, что было заложено в них от природы, о мировом зле, о теплоте чувств и чистоте намерений; они держали друг друга за руки. Фальк говорил о своей жене, о том, как хорошо он к ней относится; жаловался на духовную бедность своей профессии, на то, как глубоко чувствует недостаток образования, как бесцельно прожита его жизнь; после десятой рюмки ликера он признался Левину, что когда-то собирался посвятить себя религиозной деятельности, да-да, хотел стать миссионером. Их охватило воодушевление. Левин рассказал о своей покойной матери, о ее кончине и погребении, о своей отвергнутой любви и, наконец, о своих религиозных убеждениях, «о которых никогда не говорил с кем попало», и они перешли к вопросам религии. Было уже между часом и двумя ночи, Нистрем преспокойно спал, положив голову и руки на стол, а они все говорили и никак не могли наговориться. Контору заволакивал табачный дым, от которого едва были видны язычки газового пламени; семь свечей канделябра давно догорели, и теперь

стол имел весьма неприглядный вид. Несколько бокалов остались без ножек, вся в пятнах, скатерть была усыпана сигарным пеплом, по полу были разбросаны спички. Сквозь отверстия в ставнях в комнату пробивался свет и, протыкая своими длинными лучами облака табачного дыма, рисовал какие-то диковинные кабалистические знаки на скатерти между двумя ревностными поборниками веры, которые усердно редактировали текст Аугсбургского исповедания. Они уже не говорили, а шипели, их мозг отупел, слова звучали отрывисто и сухо, оживление ушло, и, несмотря на все их попытки снова разжечь огонек беседы и довести себя до экстаза, он все угасал и угасал, воодушевление улетучилось, и, хотя какие-то лишённые смысла слова еще срывались с их губ, скоро потухла и последняя искра; их парализованный мозг, который теперь работал как юла, крутящаяся, лишь пока ее подхлестывают, замедлил свое движение и, наконец, беспомощно застыл на месте. Ясной оставалась одна-единственная мысль: если они не хотят вызвать друг у друга отвращение, нужно уходить и ложиться спать; сейчас каждый из них нуждался в уединении.

Разбудили Нистрема. Левин обнял Карла-Николауса, ухитрившись засунуть при этом себе в карман три сигары. Они только что беседовали о слишком высоких материях, чтобы вот так сразу спуститься с облаков и заговорить о долговых обязательствах. Они распрощались, хозяин проводил гостей — и остался один! Он открыл ставни, в комнате стало светло; отворил окно, и со стороны моря, через узкий переулок, одна сторона которого была озарена лучами восходящего солнца, в комнату ворвался поток свежего воздуха. Часы пробили четыре, этот тихий, странный бой слышит лишь тот страдалец, что на бессонном ложе печали или болезни нетерпеливо ожидает наступления утра. Даже Восточная улица, улица грязи, порока и драк, сейчас казалась тихой, уединенной, чистой. Фальк почувствовал себя глубоко несчастным. Он опозорен и он одинок! Закрыв окно и ставни, он обернулся, увидел царящий в комнате разгром и принялся за уборку: подобрал сигарные окурки и бросил их в камин, убрал со стола, подмел пол, вытер пыль и поставил каждую вещь на свое место. Потом вымыл лицо и руки и причесался; полицейский принял бы его сейчас за убийцу, который старается замести следы преступления. Но, совершая эти действия, он все время неотступно думал — целеустремленно, ясно и отчетливо. И когда он привел в порядок и комнату, и самого себя, то принял решение, которое уже хорошо обдумал, а теперь должен был претворить в жизнь. Он смоем позор со своего имени, возвысится над людьми, добьется известности и власти; он начнет новую жизнь; он во что бы то ни стало восстановит свое доброе имя и придаст ему еще больший блеск. Он знал, что только ценой невероятных усилий сможет оправиться от нанесенного ему сегодня удара; честолюбие долго дремало в его душе; его разбудили — и он, Карл-Николаус Фальк, к бою готов.

Он уже совсем протрезвел, зажег сигару, выпил рюмку коньяку и поднялся наверх, осторожно и тихо, чтобы не разбудить жену.

Глава пятая

У издателя

Первую попытку Арвид Фальк решил предпринять, обратившись к всемогущему Смигу, который взял это имя, придя в бешеный восторг от всего американского, когда в дни своей юности совершил небольшую поездку по этой великой стране, к грозному тысячерукому Смигу, способному всего за двенадцать месяцев сделать писателя даже

из очень скверного материала. Этот метод был всем известен, но никто не решался им воспользоваться, потому что он требовал беспримерного бесстыдства. Писатель, который попадал под эгиду Смита, мог быть совершенно уверен в том, что тот сделает ему имя, и поэтому вокруг Смита всегда кружил рой писателей без имени. В качестве примера того, каким он был пробивным и неодолимым и как умел продвигать людей, не обращая ни малейшего внимания на читателей и критику, приводили следующий эпизод. Один молодой человек, впервые взявшийся за перо, написал плохой роман и отнес его Смигу. Как это ни странно, Смигу понравилась первая глава — дальше первой главы он никогда не читал, — и он решил осчастливить мир новым литературным дарованием. Роман напечатали. На оборотной стороне обложки было написано «„Кровь и меч“». Роман Густава Шехольма. Это работа молодого многообещающего автора, имя которого уже хорошо известно и пользуется всеобщим признанием в самых широких читательских кругах и т. д. Глубокое проникновение в характеры... ясность изложения... сила... Горячо рекомендуем этот роман нашим читателям». Книга вышла в свет третьего апреля. А уже четвертого апреля на нее появилась рецензия в довольно популярной столичной газете «Серый плащ», в которой Смигу принадлежало пятьдесят акций. Рецензия заканчивалась следующими словами: «Густав Шехольм — это уже имя; нам нет нужды завоевывать ему известность, она у него есть, и мы весьма рекомендуем этот роман не только читательской, но и писательской общественности». Пятого апреля о книге писали все столичные газеты, цитируя вчерашнюю рецензию: «Густав Шехольм — это уже имя; нам нет нужды завоевывать ему известность, она у него есть» («Серый плащ»).

В тот же самый вечер рецензия на роман появилась в «Неподкупном», который вообще никто не читал. Рецензент отмечал, что книга — образчик самой низкопробной литературы, и клялся всеми святыми, что Густав Шеблум (намеренная опечатка) вообще никакое не имя. Но поскольку «Неподкупного» никто не читал, то никто и не узнал, что существует диаметрально противоположное мнение об этой книге. Другие столичные газеты, которые не желали вступать в литературную перепалку с достопочтенным «Серым плащом» и не решались открыто выступить против Смита, высказывались не столь восторженно, но не более того. Они выразили мнение, что если Густав Шехольм будет работать основательно и усердно, то в будущем, несомненно, составит себе имя.

Несколько дней газеты молчали, но потом во всех, даже в «Неподкупном», жирным шрифтом было напечатано объявление, кричавшее на весь мир: «Густав Шехольм — это уже имя». А затем в «Н-ском калейдоскопе» появилось письмо одного читателя, который осуждал столичную прессу за суровость в отношении молодых писателей. Возмущенный автор заканчивал свое письмо следующими словами: «Густав Шехольм — несомненно, гений, что бы там ни доказывали твердолобые доктринеры».

На другой день во всех газетах снова появилось кричащее объявление: «Густав Шехольм — это уже имя» и т. д. («Серый плащ»), «Густав Шехольм — гений!» («Н-ский калейдоскоп»). На обложке следующего номера журнала «Наша страна», издаваемого Смитом, было напечатано: «Нам приятно сообщить нашим многочисленным читателям, что *знаменитый* писатель Густав Шехольм *обещал* для следующего номера журнала свою новую новеллу» и т. д. И такое же объявление появилось в газетах! К рождеству вышел, наконец, календарь «Наш народ». На его титульном листе стояли имена таких писателей, как Орвар Одд, Талис Квалис, Густав

Шехольм и другие. Факт оставался фактом: уже на восьмой месяц у Густава Шехольма было имя. И публике ничего другого не оставалось, как признать это имя. Войдя в книжный магазин, вы в поисках нужной книги обязательно натыкались на имя Густава Шехольма, а взяв в руки старую газету, непременно находили в ней набранное жирным шрифтом имя Густава Шехольма, и вообще трудно было представить себе жизненную ситуацию, в которой вам не бросалось бы в глаза это имя, отпечатанное на каком-нибудь листе бумаги; хозяйки клали его по субботам в корзинки для провизии, служанки приносили из продовольственных лавок, дворники выметали с тротуаров и мостовых, а господа находили у себя в карманах халата. Зная об огромной власти, которой обладал Смит, наш молодой автор не без трепета взбирался по темной лестнице дома на Соборной горе. Он довольно долго просидел в передней, предаваясь самым горестным размышлениям, но вот, наконец, дверь распахнулась, и из комнаты пулей вылетел молодой человек с выражением отчаяния на лице и бумажным свертком под мышкой. Оробев, Фальк вошел в комнату, где принимал грозный Смит. Сидя на низком диване, седобородый, спокойный и величественный, как бог, он любезно кивнул головой в синей шапочке, так безмятежно посасывая трубку, словно не убил только что человеческую надежду и не оттолкнул от себя несчастного.

— Добрый день, добрый день!

Окинув взглядом небожителя одежду посетителя, он нашел ее вполне приличной, но сесть ему не предложил.

— Меня зовут... Фальк.

— Этого имени я еще не слышал. Кто ваш отец?

— Мой отец умер.

— Умер! Превосходно! Чем могу быть полезен?

Фальк вытащил из нагрудного кармана рукопись и передал ее Смицу; тот даже не взглянул на нее.

— Вы хотите, чтобы я ее напечатал? Это стихи? Да, конечно! А вы знаете, сударь, сколько стоит печать одного листа? Нет, вы этого не знаете!

И он ткнул несведущего чубуком в грудь.

— У вас есть имя? Нет! Может быть, вы проявили себя каким-нибудь образом? Тоже нет!

— Об этих стихах с похвалой отозвались в Академии.

— В какой Академии? В Литературной? В той самой, что издает все эти штучки?

Так!

— Какие штучки?

— Ну конечно. Вы же знаете, Литературная академия! В музее у пролива! Верно?

— Нет, господин Смит. Шведская академия, возле биржи.

— Вот оно что! Это где стеариновые свечи? Впрочем, неважно! Кому она нужна! Нет, поймите, милостивый государь, надо иметь имя, как Тегнель, как Эреншлегель, как... Да! В нашей стране было много великих скальдов, имена которых я сейчас просто не могу припомнить; но все равно надо иметь имя. Господин Фальк! Гм! Кто знает господина Фалька? Я, во всяком случае, не знаю, хотя знаком со многими замечательными поэтами. На днях я сказал своему другу Ибсену: «Послушай, Ибсен, — мы с ним на „ты“, — послушай, Ибсен, напиши-ка что-нибудь для моего журнала; заплачу, сколько пожелаешь!» Он написал, я заплатил, но и мне заплатили. Так-то вот!

Сраженный наповал юноша готов был заползти в любую щель и спрятаться там,

узнав, что стоит перед человеком, который говорит Ибсену «ты»... Теперь он хотел одного: как можно скорее забрать свою рукопись и убежать куда глаза глядят, как только что убежал другой юноша, убежать далеко-далеко, на берег какой-нибудь большой реки. Смит понял, что посетитель сейчас уйдет.

— Подождите! Вы ведь умеете писать по-шведски, думаю, что умеете! И нашу литературу тоже знаете лучше, чем я! Так, хорошо! У меня идея! Я слышал, что когда-то, давным-давно, были прекрасные писатели, которые творили на религиозные темы: не то при Густаве Эрикссоне, не то при дочери его, Кристине, впрочем, это неважно. У одного из них, я помню, было очень, очень громкое имя; он, кажется, написал большую поэму о делах господних. Если не ошибаюсь, его звали Хокан.

— Вы имеете в виду Хаквина Спегеля, господин Смит. «Дела и отдохновение всевышнего».

— Правда? Ладно! Я подумываю о том, чтобы издать ее. В наше время народ тянется к религии; я это заметил; и мы обязаны дать ему что-нибудь в таком духе. Правда, я уже издавал таких писателей, как, скажем, Герман Франке и Арндт, но Большое благотворительное общество имеет возможность продавать книги дешевле, чем я, вот я и решил выпустить в свет что-нибудь очень хорошее и продать за хорошую цену. Не угодно ли вам, сударь, заняться этим делом?

— Но я не совсем понимаю, в чем заключаются мои обязанности, потому что речь, по-видимому, идет только о переиздании, — ответил Фальк, не решаясь ответить отказом.

— Вот что значит пребывать в блаженном неведении. А кто, по-вашему, будет редактировать текст и вести корректуру? Итак, договорились? Все это делаете вы! Так! Напишем маленькую бумажку? Книга выходит несколькими выпусками. Маленькую бумажку! Дайте мне перо и чернила. Так!

Фальк подчинился; у него не было сил сопротивляться. Смит написал «бумажку», Фальк ее подписал.

— Так! С этим делом мы покончили! Теперь возьмемся за другое! Дайте-ка мне вон ту маленькую книжку, что лежит на полке. На третьей полке! Так! Ну-ка, взгляните. Брошюра! Название: «Der Schutzengel»⁸. А вот виньетка! Видите? Ангел с якорем и корабль — полагаю, что это потерпевшая бедствие шхуна! Известно, какую большую роль в жизни общества играет морское страхование. Ведь каждый, хотя бы несколько раз в жизни, посылал какие-то вещи — неважно, много вещей или мало — морем. Верно? Так! А все ли об этом знают? Нет, далеко не все! Отсюда разве не следует, что те, кто знает, должны просветить тех, кто не знает? Так! Мы знаем, вы и я, следовательно, наш долг — просвещать! В этой книге речь как раз идет о том, что, отправляя свои вещи морем, каждый обязан их застраховать! Но книга эта написана плохо! Значит, мы с вами должны написать лучше! Верно? Итак, вы пишете для моего журнала «Наша страна» новеллу на десять страниц, и я требую, чтобы вы каким-то образом употребили в новелле название «Тритон» — это новое акционерное общество, основанное моим племянником, которому я хочу помочь — мы ведь всегда должны помогать своему ближнему, верно? Название «Тритон» нужно повторить дважды, не больше и не меньше, но так, чтобы это не бросалось в глаза! Понятно, милостивый государь?

Фальк чувствовал, что в этом деле есть что-то нечистое, хотя, с другой стороны,

⁸ «Ангел-хранитель» (нем.).

предложение Смита не требовало от него никаких сделок с совестью, а кроме того, он получал работу у влиятельного человека, и все это словно по мановению руки, без всяких усилий со своей стороны. Он поблагодарил и согласился.

— Вы знаете объем? Четыре столбца на странице, итого — сорок столбцов по тридцать две строчки в каждом. Так! И напишем, пожалуй, маленькую бумажку.

Смит написал бумажку, и Фальк подписал ее.

— Значит, так! Послушайте, сударь, вы разбираетесь в шведской истории? Загляните еще раз на полку! Там лежит клише, доска! Правее! Так! Вы не знаете, кто эта дама? Говорят, какая-то королева.

Фальк, который сначала не увидел ничего, кроме сплошной черноты, в конце концов разглядел черты человеческого лица и объявил, что, как он полагает, это Ульрика-Элеонора.

— А я что говорил? Хи-хи-хи! Эту колоду принимали за королеву Елизавету Английскую и поместили в одной из книг американской «Народной библиотеки», а я купил ее по дешевке вместе с кучей всякого другого хлама. Теперь она сойдет у меня за Ульрику-Элеонору в моей «Народной библиотеке». Какой хороший у нас народ! Как охотно он раскупает мои книги! Значит, так! Хотите написать текст?

Несмотря на свою крайне обостренную совесть, Фальк не мог усмотреть ничего предосудительного в предложении Смита, и все же, слушая его, он испытывал какое-то неприятное чувство.

— Так! Теперь напишем маленькую бумажку! Шестнадцать страниц малого формата в одну восьмую долю листа по три столбца, двадцать четыре строки на странице. Хорошо!

И снова написали маленькую бумажку! Поскольку Фальк решил, что аудиенция закончена, он изобразил на лице желание получить обратно свою рукопись, на которой Смит все это время сидел. Но тот не захотел выпускать ее из рук, он прочтет ее, но с этим придется немного подождать.

— Вы человек разумный и знаете цену времени. Здесь только что побывал один молодой человек, он тоже приносил стихи — большую поэму, которая, по-моему, никому не нужна. Я предложил ему ту же работу, что и вам, и знаете, что он мне ответил? Он посоветовал мне сделать нечто такое, о чем и не скажешь. Да! И был таков. Этот молодой человек долго не протянет! Прощайте! Прощайте! И беритесь за Хокана Спегеля! Так. Прощайте. Прощайте.

Смит указал чубуком на дверь, и Фальк удалился. Каждый шаг давался с трудом. Деревянное клише в кармане казалось ужасно тяжелым и тянуло к земле, мешая идти. Он вспомнил о бледном молодом человеке с рукописью под мышкой, который осмелился сказать такое самому Смигу, и мысли его приняли несколько тщеславный оборот. Но тут в памяти возникли старые предостережения и советы отцов, а на ум пришла старая басня о том, что всякая работа одинаково достойна уважения, и он устыдился своего тщеславия и, снова став благоразумным, отправился домой, чтобы написать сорок восемь столбцов об Ульрике-Элеоноре.

Времени даром он не терял и в девять часов уже сидел за письменным столом. Набив табаком большую трубку, он взял два листа бумаги, вытер несколько перьев и попытался вспомнить, что ему известно об Ульрике-Элеоноре. Он открыл энциклопедию Эжелунда и Фрикселя. Статья под рубрикой Ульрика-Элеонора оказалась довольно длинной, но о ней самой не было почти ничего. К половине десятого он исчерпал весь материал, какой содержала эта статья; он написал, когда

она родилась, когда умерла, когда вступила на престол и когда от него отреклась, как звали ее родителей и за кем она была замужем. Получилась самая заурядная выписка из церковных книг, и занимала она не более трех страниц: оставалось написать еще тринадцать. Он выкурил несколько трубок подряд. Потом зарылся пером в чернильницу, словно хотел поймать там змея Мидгорда, но не выудил оттуда ничего. Нужно было что-то сказать о ее личности, обрисовать как-то ее характер; он понимал, что должен дать ей какую-то свою оценку, вынести ей тот или иной приговор. Но как поступить: расхвалить ее или разругать? Поскольку ему это было совершенно все равно, то до одиннадцати часов он не мог решиться ни на то, ни на другое. В одиннадцать часов он разругал ее, дописав четвертую страницу: осталось еще двенадцать. Надо было срочно что-то придумать. Он хотел было рассказать о ее правлении, но она не правила, и, следовательно, рассказывать было не о чем. Он написал о государственном совете — одну страницу: осталось одиннадцать; он спас честь Герца — одна страница: осталось десять. А он не прошел еще и полдороги! Как он ненавидел эту женщину! Он снова курил и снова вытирал перья. Потом он бросил взгляд в прошлое, сделал небольшой экскурс в историю и, поскольку был раздражен, ниспроверг своего прежнего идола — Карла XII, но все это произошло так быстро, что заняло только одну страницу. Осталось девять! Он двинулся дальше, в глубь времен, взяв в оборот Фредерика I. Полстраницы! Тоскливо смотрел он на лист бумаги, в то место, где было как раз полпути, но добраться туда никак не мог. И все-таки ему удалось сделать семь с половиной страниц из того, что у Экелунда занимало только полторы! Он швырнул клише на пол, затолкал ногой под секретер, потом, поползав по полу, вытащил его оттуда, стер пыль и снова положил на стол. Господи, какая мука! Его душа высохла, как самшитовая палка, он пытался убедить себя в том, во что никогда не верил, старался почувствовать хоть какую-то симпатию к покойной королеве, но ее унылое лицо, вырезанное на дереве, производило на него не больше впечатления, чем он сам на эту деревяшку. Вот тогда-то, осознав свое ничтожество, бесконечно униженный, он впал в отчаяние. И это поприще он предпочел всем другим. Взяв себя в руки и призвав на помощь все свое благоразумие, он решил заняться ангелом-хранителем. Первоначально эта книжонка предназначалась для немецкой акционерной компании «Нерей», занимавшейся морским страхованием. Ее содержание вкратце сводилось к следующему. Господин и госпожа Шлосс уехали в Америку и приобрели там большую недвижимость, которую, ради будущего повествования и в силу своей непрактичности, превратили в дорогостоящее движимое имущество и всякого рода изящные безделушки, а чтобы все это наверняка погибло и ничего нельзя было спасти, они заранее отправили груз морем на первом классе парохоме «Вашингтон», который был обшит медью, снабжен водонепроницаемыми переборками, а также застрахован в крупной немецкой морской страховой компании «Нерей» на четыреста тысяч талеров. Между тем господин и госпожа Шлосс вместе со своими детьми отбыли в Европу на прекрасном парохоме «Боливар» компании «Уайт-Стар-Лайн», застрахованном в крупной немецкой морской страховой компании «Нерей» с основным капиталом в десять миллионов долларов, и благополучно прибыли в Ливерпуль. Потом парохом отправился дальше и уже приближался к мысу Скаген. Весь путь погода, разумеется, была великолепная, небо чистое и ясное, но на подходе к грозному мысу Скаген, естественно, разыгралась буря; парохом пошел ко дну, родители, своевременно застраховавшие свою жизнь, утонули и тем самым обеспечили своим спасшимся от неминуемой гибели детям кругленькую сумму в

полторы тысячи фунтов стерлингов. Дети, разумеется, страшно обрадовались и в самом хорошем настроении прибыли в Гамбург, чтобы получить страховое вознаграждение и родительское наследство. И только представьте себе, как они были расстроены, когда узнали, что за две недели до этого «Вашингтон» потерпел кораблекрушение в районе Доггеровской банки, и все их имущество, оставшееся незастрахованным, пошло ко дну. Теперь бедные дети могли рассчитывать лишь на ту сумму, на которую их родители застраховали свою жизнь. Они со всех ног бросились в бюро страховой компании, но — о ужас! — выясняется, что родители пропустили срок уплаты последнего страхового взноса, который истек — вот уж не повезло! — как раз за день до их гибели. Дети были всем этим ужасно огорчены и горько оплакивали своих родителей, которые так много сделали для их благополучия. Громко рыдая, они упали друг другу в объятия и поклялись, что отныне будут всегда страховать свое имущество, отправленное морем, и не станут пропускать сроков очередного страхового взноса.

Все это надо было перенести на шведскую почву, приспособив к шведским условиям жизни, сделать удобочитаемым и превратить в новеллу, благодаря которой он, Фальк, войдет в литературу. Но тут снова в нем проснулся бес тщеславия и стал нашептывать ему, что он подлец, если берется за такое грязное дело, но его быстро заставил замолчать другой голос, который исходил из желудка под аккомпанемент каких-то необычных колющих и сосущих ощущений. Он выпил стакан воды и выкурил еще одну трубку, однако неприятные ощущения усилились; мысли приняли мрачный оборот; комната вдруг показалась неудобной, время тянулось медленно и однообразно; он чувствовал себя усталым и разбитым; все вызывало у него отвращение; в мыслях царил беспорядок, в голове было пусто или думалось только о каких-то неприятных вещах, и все это сопровождалось чисто физическим недомоганием. Наверное, от голода, решил он. Странно, был всего час, а он никогда не ел раньше трех! Он с беспокойством обследовал свою кассу. Тридцать пять эре! Значит, без обеда! Первый раз в жизни! Никогда еще ему не приходилось ломать голову над тем, как раздобыть обед! Но с тридцатью пятью эре не обязательно голодать. Можно послать за хлебом и пивом. Впрочем, нет, нельзя, не годится, неудобно; так, может, самому пойти в молочную? Нет! А если взять у кого-нибудь в долг? Невозможно! Нет никого, кто мог бы ему помочь! Прознав это, голод набросился на него, как дикий зверь, стал рвать и терзать его, гоняя по комнате. Чтобы оглушить чудовище, он курил трубку за трубкой, но ничто не помогало. На плацу перед казармой раздалась барабанная дробь, и он увидел, как гвардейцы с медными котелками строем отправились в столовую на обед; из всех окрестных труб валил дым, прозвонили к обеду на Шепсхольме, что-то шипело на кухне у его соседа полицейского, и через открытые двери в переднюю доносился запах подгоревшего мяса; он слышал звон ножей и лязг тарелок из соседней комнаты, а также голоса детей, читавших предобеденную молитву; рабочие, мостившие улицу, крепко спали после сытного обеда, положив под голову кульки из-под провизии; он был совершенно убежден, что весь город сейчас обедает, едят все, кроме него одного! И он рассердился на бога. Внезапно у него мелькнула светлая мысль. Завернув в пакет Ульрику-Элеонору и ангела-хранителя, он написал имя и адрес Смита и отдал посыльному свои последние тридцать пять эре. Потом облегченно вздохнул и лег на диван, голодный, но с чистой совестью.

Глава шестая Красная комната

То же самое полуденное солнце, которое только что видело мучения Арвида Фалька в его первой битве с голодом, теперь весело заглядывало в домик в Лилль-Янсе, где Селлен, стоя без пиджака перед мольбертом, дописывал свою картину, которую на следующий день нужно было доставить до десяти часов утра на выставку — законченную, отлакированную и в раме. Олле Монтанус сидел на скамье и читал замечательную книгу, которую позаимствовал на один день у Игберга в обмен на галстук; время от времени он бросал взгляд на картину Селлена и выражал одобрение, потому что всегда восхищался его огромным талантом. Лунделль мирно занимался своим «Снятием с креста»; у него на выставке было уже три картины, и он, как и многие другие художники, с немалым нетерпением ожидал, когда же их купят.

— Хорошо, Селлен! — сказал Олле. — Ты пишешь божественно!

— Разреши-ка и мне взглянуть на твой шпинат, — вмешался Лунделль, который из принципа никогда и ничем не восхищался.

Сюжет картины был прост и величествен. Песчаная равнина на побережье Халланда, на заднем плане море; осеннее настроение, сквозь разорванные облака пробиваются солнечные блики; на переднем плане — песчаный берег, на нем озаренные солнцем только что выброшенные из моря, еще покрытые капельками воды водоросли; чуть подалее — море с наброшенной на него тенью от облаков и белыми гребнями волн, а еще дальше, на самом горизонте, снова сияет солнце, освещая уходящий в бесконечность морской простор. Второстепенные элементы живописной композиции были представлены лишь стаяй перелетных птиц. Картина обладала даром речи и могла многое поведать неиспорченной душе, имеющей мужество познавать те сокровенные тайны, что открывает нам одиночество, и видеть, как зыбучие пески душат многообещающие молодые всходы. И написана она была вдохновенно и талантливо; настроение определяло цвет, а не наоборот.

— Надо поместить что-нибудь на переднем плане, — посоветовал Лунделль. — Ну хотя бы корову.

— Не болтай глупостей! — ответил Селлен.

— Делай, как я говорю, дурак, а то не продашь ее. Нарисуй какую-нибудь фигуру, например девушку; хочешь я тебе помогу, если ты не можешь, посмотри...

— Отстань! Давай без глупостей! А что мне делать с ее юбками, развевающимися на ветру? Ты просто помешался на юбках!

— Ну, поступай как знаешь, — ответил Лунделль, несколько уязвленный намеком на одну из своих слабостей. — А вместо этих серых чаек, которых даже невозможно узнать, нужно нарисовать аистов. Представляешь, красные ноги на фоне темного облака, какой контраст!

— Ах, ничего-то ты не понимаешь!

Селлен не был силен в искусстве аргументации, но верил в свою правоту, и его здоровый инстинкт помогал ему избегать многих ошибок.

— Но ты не продашь ее, — повторил Лунделль, который проявлял трогательную заботу о материальном благополучии своих друзей.

— Ничего, как-нибудь проживу! Разве мне когда-либо удалось хоть что-нибудь продать? И я не стал от этого хуже! Поверь, я хорошо знаю, что прекрасно продавал бы свои картины, если бы писал как все остальные. Думаешь, я не умею писать так же

плохо, как они? Не беспокойся, умею! Но не хочу!

— Не забывай, что тебе надо заплатить долги! Одному Лунду из «Чугунка» ты должен пару сотен риксдалеров.

— Если я сейчас и не заплачу, он не обеднеет от этого. Кстати, я подарил ему картину, которая стоит вдвое больше.

— Ну и самомнение у тебя! Да она не стоит и двадцати риксдалеров.

— А я оценил ее в пятьсот, по рыночным ценам. Но, увы, о вкусах не спорят в нашем прекрасном мире... Мне, например, кажется, что твое «Снятие с креста» — мазня, а тебе оно нравится, и никто тебя не осудит. О вкусах не спорят!

— Но ты ведь лишил нас всех кредита в «Чугунке»; вчера Лунд прямо заявил об этом, и я не знаю, где мы будем сегодня обедать!

— Ничего не поделаешь! Как-нибудь проживем! Я уже целый год не обедал!

— Зато ты ободрал как липку этого несчастного ассессора, который попал тебе в когти.

— Да, это правда! Какой славный малый! И к тому же талант; сколько неподдельного чувства в его стихах; я их читал тут как-то вечером. Но боюсь, он слишком мягкий по натуре, чтобы чего-нибудь добиться; у него, у каналы, такая чувствительная душа!

— Ничего, в твоём обществе это у него скоро пройдет. И как тебе только не стыдно: за такое короткое время совершенно испортил юного Реньельма. Зачем-то вбил ему в голову, что он обязательно должен поступить на сцену.

— И он все тебе разболтал! Вот молодец! Впрочем, у него все устроится, если только он выживет, что не так-то уж просто, когда нечего есть. Господи! Кончилась краска! Нет ли у тебя немного белил? Боже милостивый, из тюбиков выжато все до последней капли; Лунделль, дай мне немного краски, пожалуйста.

— У меня осталось ровно столько, сколько мне самому может понадобиться, а если бы и было, я бы поостерегся тебе что-нибудь давать!

— Не болтай чепухи; ты ведь знаешь, что времени у меня в обрез.

— Ну правда же, нет у меня для тебя красок! Был бы ты поэкономнее, их хватило бы дольше...

— Ну конечно, это мы уже слышали! Тогда дай мне денег!

— Денег? Мы же только что говорили о деньгах!

— Тогда возьмемся за тебя, Олле; ты сходишь в ломбард!

При слове «ломбард» Олле просиял: он знал, что теперь можно будет поесть. Селлен принялся шарить по комнате.

— Что у нас тут такое? Пара сапог! В ломбарде за них дадут всего двадцать пять эре, так что лучше уж продать их совсем.

— Это же сапоги Реньельма, не трогай их, — вмешался Лунделль, который сам собирался воспользоваться ими после обеда, когда пойдет в город. — Ты хочешь заложить чужие вещи?

— А какая разница? Потом он получит за них деньги! Что это за пакет? Бархатный жилет! Какая прелесть! Его я сам надену, а мой жилет Олле отнесет в ломбард! Воротнички и манжеты! Ах, к сожалению, бумажные! И пара носков. Олле, вот еще двадцать пять эре! Клади их в жилет. Пустые бутылки можешь продать. По-моему, самое лучшее — все остальное тоже продать!

— Какое ты имеешь право продавать чужие вещи? — снова прервал его Лунделль, который сильно надеялся на то, что методом убеждения ему все-таки

удастся завладеть жилетом, уже давно прельщавшим его.

— Не надо расстраиваться, потом он за все получит деньги! Придется забрать у него еще пару простынь! Какая разница! Обойдется без простынь! Давай, Олле! Складывай!

Несмотря на решительные протесты Лунделля, Олле ловко связал простыни в узел и сложил в него вещи.

Потом взял его под мышку, тщательно застегнул свой рваный сюртук, чтобы скрыть отсутствие жилета, и отправился в город.

— Он здорово смахивает на вора, — заметил Селлен, который, стоя у окна, с лукавой улыбкой смотрел на дорогу. — Хорошо еще, если к нему не пристанет полицейский! Быстрей, Олле! — закричал он ему вслед. — Купи еще шесть французских булочек и две бутылки пива, если у тебя останутся деньги.

Олле обернулся и так уверенно помахал шляпой, словно все эти яства уже были у него в карманах.

Лунделль и Селлен остались одни. Селлен восхищался новым бархатным жилетом, которого так долго с тайным вожделением домогался Лунделль. Лунделль чистил палитру и бросал завистливые взгляды на безвозвратно утраченное сокровище. Но не это было тем главным, что его сейчас волновало, не об этом ему было так трудно заговорить с Селленом.

— Взгляни на мою картину, — попросил он. — Как тебе она? Только серьезно!

— Зря ты копаешься в мелочах и вырисовываешь каждую деталь, надо не рисовать, а писать. Откуда у тебя падает свет? От одежд, от нагого тела? Нелепо! Чем дышат эти люди? Краской, маслом! А где воздух?

— Но, — возразил Лунделль, — ты же сам говорил, что о вкусах не спорят. А что ты скажешь о композиции?

— Пожалуй, слишком много народа?

— Не думаю; я хотел было добавить еще пару фигур.

— Подожди-ка, дай я еще раз взгляну. Так, вот еще один промах! — Селлен посмотрел на картину тем долгим пристальным взглядом, какой бывает у жителей равнины или побережья.

— Да, знаю, — согласился Лунделль. — Ты тоже заметил?

— Здесь одни мужчины. Это немножко сухо.

— Вот-вот. И как ты углядел?

— Значит, тебе нужна женщина?

Лунделль подумал, уж не подтрунивает ли над ним Селлен, но разобраться в этом было нелегко, так как Селлен уже что-то насвистывал.

— Мне нужна женская *фигура*, — ответил Лунделль. Воцарилось молчание, довольно натянутое, если учесть, что молчали, оставшись наедине, два старых друга.

— Даже не представляю, где искать натурщицу. Из Академии брать не хочется, их знает весь мир, а сюжет все-таки религиозный.

— Тебе нужно что-нибудь более утонченное? Понимаю. Если ей не нужно позировать обнаженной, то я мог бы...

— Ей вовсе не надо быть обнаженной, ты с ума сошел, вокруг нее слишком много мужчин; и кроме того, сюжет-то ведь все-таки религиозный.

— Да, да, понимаю. На ней тем не менее будут одежды немного в восточном стиле, она стоит, наклонившись вперед, как я себе представляю, будто что-то поднимает с земли, видны плечи, шея и верхняя часть спины. Но все очень пристойно,

как у Магдалины. Верно? Мы смотрим на нее откуда-то сверху.

— Ты надо всем издеваешься, все стараешься так или иначе принизить.

— К делу! К делу! Тебе нужна натурщица, потому что без нее тебе не обойтись, но сам ты никого не знаешь. Ладно! Твои религиозные чувства запрещают тебе искать нечто подобное, и вот два легкомысленных парня, Реньельм и я, берутся раздобыть тебе натурщицу!

— Но она должна быть порядочной девушкой, предупреждаю заранее.

— Само собой разумеется. Послезавтра получим деньги и тогда посмотрим, чем тебе можно помочь.

И они снова взялись за кисти, притихшие и молчаливые, и все работали, работали, а на часах было уже четыре, а потом пять. Иногда они бросали беспокойные взгляды на дорогу. Селлен первым нарушил тревожное молчание.

— Олле задерживается. Наверняка с ним что-то приключилось, — сказал он.

— Да, что-то стряслось неладное, но почему ты постоянно посылаешь беднягу с какими-нибудь поручениями? Ходи сам по своим делам.

— А ему больше нечего делать, потому он так охотно мне помогает.

— Ну, охотно или неохотно, ты этого не знаешь, и вообще, скажу тебе, никто не знает, какая судьба уготована Олле. У него большие замыслы, и в любой день он может снова стать на ноги; тогда будет совсем не лишне оказаться в числе его близких друзей.

— Все это одни разговоры. А что за шедевр он задумал? Впрочем, я верю, что когда-нибудь Олле будет большим человеком, хотя и не обязательно как скульптор. Но куда он, разбойник, запропастился? Как по-твоему, не может он взять и просто так просадить деньги?

— Вполне может. У него давно не было денег, а соблазн, возможно, оказался слишком велик... — ответил Лунделль и затянул пояс на две дырки, представив себе, как бы он сам поступил на месте Олле.

— Ну, человек — это всего лишь человек, и любовь к ближнему для него — это прежде всего любовь к себе самому, — сказал Селлен, которому было совершенно ясно, как бы он поступил на месте Олле. — Но я не могу больше ждать; мне нужны краски, хотя бы мне пришлось их украсть! Пойду поищу Фалька.

— Снова будешь высасывать деньги из бедняги. Ты же только вчера взял у него на раму. И немалые деньги!

— Мой дорогой! Видно, мне придется еще раз сгореть от стыда, ничего уж тут не поделаешь. И на что только не приходится идти, даже подумать страшно. Но Фальк между прочим — благородный человек, он нас поймет. А теперь я пошел. Когда Олле вернется, скажи ему, что он скотина. Всего доброго! Загляни в Красную комнату; посмотрим, настолько ли милостив еще к нам господь, что ниспошлет нам немного еды до захода солнца. Когда будешь уходить, запри двери, а ключ положи под порог. Пока!

Он ушел и вскоре оказался перед домом Фалька на Гревмагнагатам. Он постучал в дверь, но ему никто не ответил. Тогда он открыл дверь и вошел в комнату. Фальк, которому, очевидно, снились дурные сны, пробудился и недоуменно уставился на Селлена, не узнавая его.

— Добрый вечер, брат, — приветствовал его Селлен.

— О господи, это ты! Мне, кажется, приснилось что-то очень странное. Добрый вечер, садись и закуривай трубку. Неужели уже вечер?

Хотя Селлену показались знакомыми некоторые симптомы, он сделал вид, что ничего не замечает, и начал беседу:

— Ты не был сегодня в «Оловянной пуговице»?

— Нет, — смущенно ответил Фальк, — не был. Я ходил в «Идуну».

Он действительно не знал, был ли он там во сне или наяву, но порадовался тому, что так удачно ответил, ибо стыдился своей бедности.

— И правильно сделал, — одобрил его Селлен. — В «Оловянной пуговице» плохая кухня.

— Не могу не согласиться с тобой, — сказал Фальк. — Мясной суп они готовят чертовски плохо.

— Верно, а тамошний старик официант, этакий жулик, глаз не спускает, все считает бутерброды, которые я ем.

При слове «бутерброды» Фальк окончательно пришел в себя, но уже не ощущал голода, хотя ноги у него были как ватные. Однако тема беседы была ему неприятна, и он поспешил при первой же возможности ее изменить.

— Ну как, закончишь к завтрашнему дню свою картину? — спросил Фальк.

— Увы, нет.

— А что случилось?

— Не успеваю.

— Не успеваешь? Почему же в таком случае ты не сидишь дома и не работаешь?

— Ах, дорогой брат, все та же старая вечная история. Нет красок! Красок!

— Но ведь это дело поправимое. Может, у тебя нет денег?

— Были бы деньги, были бы и краски.

— У меня тоже нет. Какой же выход?

Взгляд Селлена заскользил вниз, пока не остановился на уровне жилетного кармана Фалька, откуда выползала довольно толстая золотая цепочка; Селлену даже в голову не пришло, что это золото, настоящее пробированное золото, ибо ему казалось просто непостижимым, что можно быть таким расточительным: носить на жилете целое богатство! Однако его мысли скоро приняли совершенно определенное направление, и он как бы невзначай заметил:

— Если бы у меня осталось хоть что-нибудь для заклада... Но мы были так неосмотрительны, что отнесли в ломбард зимние пальто еще в апреле, в первый же солнечный день.

Фальк покраснел. Операциями подобного рода до сих пор ему еще не приходилось заниматься.

— Вы заложили свои пальто? — спросил он. — И за, них можно что-нибудь получить?

— Получить можно за все... за все, — подчеркнул Селлен. — Надо только иметь *что-нибудь*.

У Фалька вдруг все поплыло перед глазами. Ему пришлось сесть. Потом он вынул свои золотые часы.

— Как ты думаешь, сколько дадут за них вместе с цепочкой?

Селлен взвесил на руке будущий заклад и с видом знатока внимательно обзрел его.

— Золото? — спросил он слабым голосом.

— Золото!

— Пробированное?

— Пробированное!

— И цепочка?

— И цепочка!

— Сто риксдалеров! — объявил Селлен и потряс рукой так, что золотая цепь загремела. — Но ведь это ужасно! Тебе не следует закладывать свои вещи ради меня.

— Ну ладно, заложу ради самого себя, — сказал Фальк, не желая окружать себя ореолом бескорыстия, на которое он не имел никакого права. — Мне тоже нужны деньги. Если ты превратишь часы и цепочку в деньги, то окажешь мне большую услугу.

— Тогда пошли, — ответил Селлен, не желая досаждать своему другу нескромными вопросами. — Я заложу их. А ты не унывай, брат! В жизни всякое бывает, понимаешь, но ты держись!

Он похлопал Фалька по плечу с той сердечностью, которой не так уж часто удавалось пробиться сквозь злой сарказм, защищавший его от остального мира, и они вышли на улицу.

К семи часам все было сделано как надо. Они купили краски и отправились в Красную комнату.

Это было время, когда салон Берна начинал играть важную культурно-историческую роль в жизни Стокгольма, положив конец нездоровой кафешантанной распущенности, которая процветала, или, вернее, свирепствовала, в шестидесятых годах в столице и оттуда распространилась по всей стране. Здесь часам к семи собиралось множество молодых людей, пребывавших в том не совсем обычном состоянии, которое начинается со дня их ухода из-под родительского крова и продолжается до тех пор, пока они не обзаведутся собственным домом; у Бернса сидели компании холостяков, удравших из своих одиноких комнат и мансард в поисках света, тепла и человеческого существа, с которым можно было бы поговорить и отвести душу. Хозяин салона неоднократно пытался развлекать своих гостей пантомимой, акробатикой, балетом и так далее, но те ясно дали ему понять, что приходят сюда не развлекаться, а спокойно посидеть в какой-нибудь из комнат, где всегда можно встретить знакомого или друга; а поскольку музыка ни в коей мере не мешала беседе, а скорее наоборот, то с ней примирились, и постепенно она прочно вошла в вечернее меню наравне с пуншем и табаком. Таким образом салон Бернса превратился в стокгольмский клуб холостяков. Каждая компания облюбовала тут свой уютный уголок; обитатели Лилль-Янса захватили шахматную комнату возле южной галереи, обставленную красной мебелью, и потому ради краткости ее называли Красной комнатой. Они всегда знали, что вечером там обязательно встретятся, хотя бы днем их и разбросало по всему городу; когда же они окончательно впадали в нищету и им позарез нужны были деньги, они устраивали отсюда настоящие облавы на сидящих в зале гостей; они двигались цепью — двое блокировали галереи, а двое брали приступом салон; они словно ловили сетью рыбу и крайне редко вытаскивали ее пустой, потому что весь вечер сюда валом валили все новые и новые гости. Этим вечером в проведении подобной операции особой необходимости не было, и поэтому Селлен с независимым и спокойным видом уселся на большом красном диване рядом с Фальком. Разыграв для начала друг перед другом небольшую комедию на тему, что они будут пить, они, в конце концов, пришли к выводу о необходимости сперва поесть. Едва они принялись за еду и Фальк почувствовал, что к нему возвращаются силы, как на стол упала чья-то длинная тень, и перед ними возник Игберг, как всегда

бледный и изможденный. Селлен, которому так повезло, и он при этом всегда становился добрым и любезным, тотчас же пригласил Игберга составить им компанию, и Селлена незамедлительно поддержал Фальк. Игберг начал было отнекиваться для вида, но все-таки взглянул на содержимое блюд, прикидывая, сможет ли он полностью утолить свой голод или только наполовину.

— У вас, господин ассессор, острое перо, — заметил Игберг, желая отвлечь внимание присутствующих от своей вилки, которая тщательно обшаривала стоящее перед ним блюдо.

— Правда? Откуда вы знаете? — удивился Фальк, краснея; он не слышал, чтобы кто-нибудь уже свел знакомство с его пером.

— Ваша статья наделала много шума.

— Какая статья? Ничего не понимаю.

— Ну как же! Статья в «Знамени народа» о Коллегии выплат чиновничьих окладов!

— Это не моя статья!

— Зато в Коллегии считают, что ваша! На днях я встретил одного сверхштатного служащего Коллегии; он сказал, что статью написали именно вы, и она вызвала всеобщее негодование.

— Что вы говорите?

Фальк чувствовал, что отчасти он действительно виноват, и только теперь понял, почему Струве все время что-то записывал, пока они беседовали в тот памятный вечер в маленьком парке на Моисеевой горе. Но Струве лишь письменно изложил то, что рассказал ему Фальк, и следовательно, он не имеет права отречься от своих собственных слов, хотя и рискует при этом прослыть скандальным писакой. И когда он понял, что все пути к отступлению отрезаны, для него остался только один путь: вперед!

— Да, верно, — сказал он, — статья была написана по моей инициативе. Но давайте поговорим о чем-нибудь другом. Что вы думаете об Ульрике-Элеоноре? По-моему, это очень интересная личность. Или, может быть, поговорим о «Тритоне», акционерном обществе, которое занимается морским страхованием? Или о Хаквине Спегеле?

— Ульрика-Элеонора — пожалуй, самая интересная личность во всей шведской истории, — очень серьезно ответил Игберг. — Меня как раз попросили написать о ней небольшую статью.

— Кто? Смит? — спросил Фальк.

— Да, откуда вы знаете?

— Значит, вы знакомы и с Ангелом-хранителем?

— А это откуда вам известно?

— Сегодня я отказался от статьи.

— Нельзя отказываться от работы. Вы еще пожалеете об этом! Вот увидите!

На щеках у Фалька выступил лихорадочный румянец, и он стал с жаром говорить, отстаивая свою точку зрения. Селлен же курил, не вмешиваясь в беседу, и больше прислушивался к музыке, чем к разговору, который был ему и неинтересен и непонятен. Со своего места в углу дивана он видел через открытые двери обе галереи сразу, и северную и южную, и еще зал между ними. Сквозь густые облака табачного дыма, клубившиеся между галереями, он все же мог различить лица тех, кто сидел по другую сторону зала. Внезапно Селлен разглядел кого-то в самом дальнем конце

галереи. Он схватил Фалька за руку.

— Нет, ты только посмотри, какой плут! Вон там, за левой гардиной!

— Лунделль!

— Вот именно, Лунделль! Он ищет свою Магдалину! Смотри, уже разговаривает с ней! Ловкий малый!

Фальк так покраснел, что Селлен это заметил.

— Неужели он ищет там своих натурщиц? — изумленно спросил Фальк.

— А где еще ему искать? Не на улице же впотьмах?

Лунделль тотчас же подошел к ним, и Селлен приветствовал его покровительственным кивком, значение которого Лунделль, очевидно, понял, потому что поклонился Фальку немного любезнее, чем обычно, и в довольно оскорбительной манере выразил свое крайнее изумление по поводу присутствия здесь Игберга. Игберг, который все это прекрасно заметил, воспользовался удобным случаем, ехидно спросив, что Лунделль изволит откусать; Лунделль вытаращил глаза от изумления — не иначе, он попал в компанию вельмож и магнатов. Он сразу же почувствовал себя вполне счастливым, подобрел и ощутил прилив человеколюбия, а когда расправился с ужином, у него немедленно появилась потребность излить обуревавшие его чувства. Видимо, ему хотелось сказать Фальку что-нибудь приятное, но он никак не мог найти подходящий повод. Весьма не вовремя оркестр вдруг заиграл «Внимай нам, Швеция», а потом «Господь — наша крепость». Фальк заказал еще спиртного.

— Вы, господин ассессор, вероятно, любите, так же как и я, добрые старые песнопения? — начал Лунделль.

Фальк отнюдь не был уверен в том, что предпочитает церковные песнопения всем другим музыкальным жанрам, и потому спросил Лунделля, не хочет ли он пунша. Лунделль заколебался, стоит ли ему рисковать. Может быть, ему следует сначала еще немного поесть; он слишком ослаб, чтобы пить, и он счел своим долгом проиллюстрировать это коротким, но жестоким приступом кашля, который вдруг напал на него после третьей рюмки.

— *Факел примирения!* Какой великолепный образ! — продолжал Лунделль.

— Он символизирует одновременно и глубокую религиозную потребность в примирении, и свет, разлившийся над миром, когда свершилось величайшее из чудес, к вящей досаде высокомерия и чванства.

Он засунул в рот, за самый последний коренной зуб, кусок мяса и с любопытством посмотрел, какое впечатление произвела его речь, но был весьма разочарован в своих ожиданиях, увидев три глупые физиономии, выражавшие полнейшее недоумение. По-видимому, ему следовало изъясняться понятнее.

— Спегель — большое имя, его язык — это не язык фарисеев. Мы все помним его замечательный псалом «Умолкли жалобные звуки», равного которому нет! Ваше здоровье, ассессор! Был весьма рад с вами познакомиться!

Тут Лунделль обнаружил, что в рюмке у него пусто.

— Позволю себе выпить еще рюмку.

Две мысли упрямо жужжали в голове у Фалька: первая — ведь этот малый хлещет водку! Вторая — откуда он знает про Спегеля? Внезапно молнией мелькнуло подозрение, но ни во что вникать не хотелось, и он только сказал:

— Ваше здоровье, господин Лунделль!

Неприятному разговору, грозившему теперь воспоследовать, помешало неожиданное появление Олле. Да, то был действительно он — более оборванный, чем

обычно, более грязный, чем обычно, и казалось, ноги у него были еще более кривые, чем обычно; они как два бушприта торчали из-под сюртука, который держался теперь лишь на одной застегнутой над верхним ребром пуговице. Но он радовался и смеялся, увидев на столе такое обилие еды и питья, и, предварительно сложив с себя полномочия, начал, к ужасу Селлена, подробно отчитываться в том, как он выполнил свою высокую миссию. Его действительно задержал полицейский.

— Вот квитанции!

И он протянул Селлену через стол две зеленые закладные квитанции, которые тот моментально превратил в бумажный шарик. Потом его препроводили в полицейский участок. Олле продемонстрировал наполовину оторванный воротник сюртука. Ему пришлось назвать свое имя. Разумеется, они заявили, что это ложь. Ни одного человека в мире не зовут Монтанус. Затем место рождения: Вестманланд. Тоже, разумеется, ложь, потому что старший полицейский сам оттуда и прекрасно знает всех своих земляков. Далее возраст: двадцать восемь лет. Опять ложь, «поскольку ему не менее сорока». Место жительства: Лилль-Янс. Ложь, так как там вообще никто не живет, кроме садовника. Профессия: художник. Тоже ложь, «потому что по виду он не что иное, как портовый бродяга».

— Вот краски, четыре тюбика! Смотри!

Затем они развязали узел, порвав при этом одну из простынь.

— Поэтому мне и дали за обе только один риксдалер двадцать пять эре. Проверь по квитанции!

Потом его спросили, где он украл все эти вещи. Олле ответил, что он их не крал; тогда старший полицейский обратил его внимание на то, что вовсе не спрашивает, украл он или не украл, а спрашивает, *где* украл! Где? Где? *Где?*

— Вот сдача, двадцать пять эре! Я не взял себе ни эре.

После этого составили протокол об «украденных вещах», на каковом были проставлены три печати. Напрасно Олле уверял, что ни в чем не виноват, напрасно взывал к чувству справедливости и гуманности. Упоминание о гуманности привело лишь к тому, что полицейский предложил записать, будто в момент задержания арестованный — он уже был арестованным — находился в состоянии сильного опьянения крепкими напитками, и это также было занесено в протокол, без упоминания, впрочем, о крепости напитков. Затем старший полицейский настоятельно и неоднократно просил полицейского припомнить, не пытался ли арестованный оказать сопротивление при задержании, но тот заверил, что не может поклясться, будто арестованный оказывал сопротивление (что странно, поскольку у того весьма коварный и угрожающий вид), однако можно было «предположить», что арестованный пытался оказать сопротивление, забежав в ворота, и предположение старшего полицейского также было занесено в протокол.

Затем был составлен рапорт, который Олле приказали подписать. Рапорт гласил, что некий субъект с весьма подозрительной и внушающей опасения наружностью был замечен в тот момент, когда крался по левой стороне Норрландской улицы в четыре часа тридцать пять минут пополудни с узлом подозрительного вида. На задержанном субъекте был сюртук из зеленого сукна (без жилета), брюки из синей байки, рубашка с инициалами на изнанке воротничка «П. Л.» (что неопровержимо свидетельствует о том, что она либо украдена, либо задержанный скрыл свое настоящее имя), серые в полоску носки и фетровая шляпа с низкой тульей и петушиным пером. Задержанный назвался Олле Монтанусом и заявил, что родом якобы из Вестманланда, по

происхождению из крестьян, и уверял, что по профессии он художник, а проживает в Лилль-Янсе, что, несомненно, не соответствует действительности. При задержании пытался оказать сопротивление, забежав в ворота. Далее следовало перечисление похищенных вещей, изъятых из узла. Поскольку Олле отказался признать обвинения, содержащиеся в рапорте, блюстители порядка немедленно связались с тюрьмой и отправили туда арестованного вместе с узлом в пролетке в сопровождении полицейского. Когда они проезжали по Монетной улице, Олле вдруг увидел депутата риксдага Пера Ильссона из Тресколы, своего земляка, а теперь и спасителя, к которому воззвал о помощи, и тот засвидетельствовал, что рапорт лжив от начала и до конца, после чего Олле отпустили с миром и даже вернули ему узел. И вот он здесь и...

— Вот ваши французские булочки! Осталось только пять, одну я съел. А вот пиво.

Он действительно выложил на стол пять булочек, достав их из задних карманов брюк, после чего его фигура приняла свои обычные диспропорции.

— Брат Фальк, прости, пожалуйста, нашего Олле, он не привык бывать в обществе; а ты, Олле, убери куда-нибудь подальше свои булки и перестань валять дурака, — сказал Селлен.

Олле послушался. Между тем Лунделль никак не хотел расставаться с блюдом, хотя так тщательно очистил его, что на нем не осталось никаких следов, по которым можно было бы судить о содержимом тарелок, а бутылка с водкой время от времени, словно сама по себе, вдруг приближалась к его рюмке, и Лунделль как бы ненароком наполнял ее. Изредка он вставал или поворачивался на стуле, чтобы «посмотреть», что играют, причем Селлен внимательно следил за каждым его движением. Вскоре пришел Ре-ньельм. Совершенно пьяный, он молча уселся и под пространные увещевания Лунделля стал искать, на чем бы ему остановить свой блуждающий взгляд. В конце концов его усталые глаза наткнулись на Селлена и замерли в безмолвном созерцании бархатного жилета, который на весь остаток вечера дал богатую пищу его молчаливым размышлениям. На какой-то миг лицо его вдруг просветлело, словно он увидел старого знакомого, но потом вновь погасло, когда Селлен сказал, что «ужасно дует», и застегнул пиджак. Игберг опекал Олле, потчuya его ужином, без устали призывая отведать какого-нибудь блюда, и постоянно подливал в его рюмку. Время шло, музыка гремела все веселее, а беседа становилась все оживленнее. Это состояние упоения казалось Фальку удивительно приятным; здесь было тепло, светло, шумно, накурено, рядом сидели люди, которым он продлил жизнь на несколько часов, и вот они рады и счастливы, как мухи, ожившие, когда на них упало несколько солнечных лучей. Он почувствовал, что близок им, а они — ему, потому что все они одинаково несчастливы и достаточно деликатны, и все хорошо понимали то, что он хотел им сказать, и когда сами хотели что-нибудь сказать, то говорили на языке человеческом, а не книжном; даже в их грубости была известная прелесть, потому что она выражала нечто совершенно первозданное, наивное, и даже лицемерие Лунделля не вызывало у него неприязни, поскольку было таким ребяческим и таким нелепым, что никто не принимал его всерьез. Так прошел этот вечер, а с ним и закончился день, который безвозвратно и бесповоротно толкнул Арвида Фалька на тернистый путь литератора.

Глава седьмая

Последование Иисусу

На другое утро Фалька разбудила уборщица, которая передала ему письмо следующего содержания:

«Тимоф. гл. X, ст. 27, 28, 29. Перв. коринф. гл. 6, ст. 3, 4, 5. Дорогой бр.!

Да пребудут с тобой Мир, Любовь и Милость Господа нашего Иисуса Христа и Бога Отца и Святого Духа и т. д. и т. п.

Аминь!

Я прочитал вчера вечером в „Сером плаще“, что ты намерен издавать „Факел примирения“. Навести меня завтра пораньше, до девяти утра.

Твой многогрешный

Натанаель Скорее».

Теперь он разгадал наконец загадку Лунделля, во всяком случае отчасти!

Разумеется, он не был лично знаком с ревностным служителем бога Натанаелем Скорее и не имел ни малейшего понятия о «Факеле примирения», однако его одолевало любопытство, и он решил откликнуться на столь настоятельное приглашение.

Ровно в девять он стоял на Правительственной улице перед громадным четырехэтажным домом, весь фасад которого, от подвального этажа и до венчающего крышу карниза, был сплошь обвешан табличками: «*Типография Христианского акционерного общества „Мир“*, 3-й эт. *Редакция журнала „Наследие детей божьих“*, 1-й эт. *Экспедиция журнала „Труба мира“*, 3-й эт. *Экспедиция журнала „Страшный суд“*, 2-й эт. *Редакция журнала для детей „Накорми моих ягнят“*, 2-й эт. *Дирекция Христианского акционерного общества „Милостью божьей“ осуществляет выплаты и выдает ссуды под залог недвижимого имущества*, 4-й эт. *Приди к Иисусу*, 4-й эт. **Внимание!** Опытные продавцы по внесению залога могут получить работу. *Миссионерское акционерное общество „Орел“* выдает акционерам прибыль за 1867 г., 3-й эт. *Контора парохода „Зуллу“*, принадлежащего *Христианскому миссионерскому обществу*, 2-й эт. Судно отбывает, если будет на то божья воля, 28-го сего месяца; грузы принимаются под накладные и сертификаты в конторе на набережной Шепсбрун, где происходит погрузка. *Союз портных „Муравейник“* принимает пожертвования на первом этаже. *Пасторские воротники* принимают в стирку и глажение у *сторожа*. *Облатки* по полтора риксдалера за фунт продаются у *сторожа*. **Внимание!** Там же можно получить напрокат черные фраки для подростков, допущенных к причастию. Молодое вино (Матф., 19; 32) можно купить у *сторожа*. По семьдесят пять эре за бутылку, без посуды.»

На нижнем этаже слева от ворот находилась «Книжная лавка христиан». Фальк остановился и начал читать названия выставленных в витрине книг. Все — навязшее в зубах старье: нескромные вопросы, пакостные намеки, оскорбительная интимность — все так хорошо и так давно знакомое. Несколько более его внимание привлекли многочисленные иллюстрированные журналы, разложенные таким образом, чтобы большие яркие картинки соблазняли покупателей. Особый интерес вызывали журналы для детей — книгопродавец мог бы немало порассказать о стариках и старухах, которые часами простаивали перед витриной, разглядывая иллюстрации, и было что-то бесконечно трогательное в том, какое сильное впечатление эти картинки, очевидно, производили на их благочестивые души, вызывая воспоминания об

ушедшей и, возможно, нелепо растраченной молодости.

Он поднимается по широкой лестнице, разглядывая стенную роспись в духе фресок древней Помпеи, которая напоминает о пути, что отнюдь не ведет к вечному блаженству, и входит в большую комнату, обставленную как банковский зал, с конторками для главного бухгалтера, счетовода и кассиров, пока еще отсутствующих. Посреди комнаты стоит письменный стол, огромный как алтарь, но скорее похожий на многоголосый орган с целой клавиатурой кнопок пневматического телеграфа и переговорным устройством в виде трубок, проведенных через все помещения здания. Возле стола стоит крупный мужчина в сапогах, в пасторском облачении, застегнутом на одну пуговицу у самой шеи и потому похожем на форменный сюртук, в белом галстуке, а над галстуком — маска капитана дальнего плавания, ибо истинное его лицо исчезло не то за откидной крышкой конторки, не то в упаковочном ящике. Он постегивает свои сверкающие голенища хлыстом с набалдашником, весьма символично изображающим копыто, и курит крепкую сигару, которую усердно жует, очевидно для того, чтобы рот ни секунды не пребывал в бездействии. Фальк изумленно возрился на этого исполненного величия человека.

То был последний крик моды на людей подобного типа, ибо на людей ведь тоже существует мода. Перед Фальком стоял великий проповедник, которому удалось сделать модными грех, жажду искупления, унижения, нужду и нищету — короче говоря, все самое плохое, что отравляет людям жизнь. Саму идею спасения души он сделал фешенебельной. Он сочинил евангелие для Большой Садовой улицы, где обитает высший свет. Его стараниями искупительная жертва превратилась в спорт. Происходили соревнования по греховности, и чемпионом становился тот, кто оказывался отвратительнее всех; они охотились за бедными душами, которые подлежали спасению, устраивали, не будем этого отрицать, настоящие облавы на обездоленных, на которых намеревались поупражняться в самосовершенствовании, превращая их в предмет самой жестокой благотворительности.

— А, господин Фальк! — говорит маска. — Добро пожаловать, мой друг! Не желаете ли посмотреть, как я работаю? Простите, господин Фальк, вы не торопитесь? Так, прекрасно! Это экспедиция типографии... простите, один момент!

Он подходит к органу и вытягивает несколько кнопок, после чего раздается громкий свист.

— Пожалуйста, присядьте!

Он прикладывает губы к трубке и кричит:

— *Седьмая труба, восьмой регистр!* Нистрем! Медивал, восьмой, в строку, заголовки фрактурой, имена в разрядку!

Из той же трубы в ответ доносится голос:

— Нет рукописи!

Маска садится к органу, берет перо и лист бумаги, перо бегаёт по бумаге, а маска говорит, не выпуская изо рта сигары:

— Объем работы... здесь... настолько вырос... что скоро превзойдет... мои силы и возможности... я бы давно слег... если бы... так... не следил... за собой!

Он вскакивает с места, вытягивает еще одну кнопку и кричит в другую трубку:

— Принесите корректуру «Оплатил ли ты свои долги?»!

И снова продолжает говорить одно, а писать другое.

— Вас удивляет... почему... я... расхаживаю здесь... в сапогах. Потому что... во-первых... я... езжу верхом... что полезно... для... здоровья...

Появляется мальчик с корректурой. Маска передает ее Фальку и говорит в нос, потому что рот занят: «Почитайте-ка!» Одновременно он одними глазами приказывает мальчику: «Подожди!»

— Во-вторых, (поведя ушами, словно хвастаясь «Все вижу и все слышу!»)... я считаю... что человек духа... не должен... отличаться... своим... внешним... обликом... от... других... людей... ибо... это... называется... духовным... высокомерием... и... может стать... предметом осуждения.

Входит счетовод, и маска приветствует его движением кожи на лбу — единственное, что еще осталось в бездействии.

Чтобы не сидеть без дела, Фальк берет корректуру и начинает читать. Сигара продолжает говорить:

— У всех... людей... есть сапоги... я ни в коем случае... не хочу... отличаться от них... своим внешним... видом... поэтому... хотя я не... какой-нибудь там... лицемер... я хожу... в сапогах.

Он передает рукопись мальчику и приказывает одними губами:

— Четыре верстатки, *седьмая труба*, к Нистрему!

Потом обращается к Фальку:

— На пять минут я свободен! Пойдемте на склад.

Счетоводу:

— «Зулулу» грузят?

— Да, водкой, — отвечает счетовод хриплым голосом.

— Подойдет? — спрашивает маска.

— Подойдет! — отвечает счетовод.

— Тогда с богом! Пойдемте, господин Фальк.

Они входят в комнату, сплошь увешанную полками, заставленными кипами книг. Маска бьет по корешкам хлыстом и гордо — без обиняков заявляет:

— Все это написал я. Ну, что скажете? Неплохо? Вы, я слышал, тоже пописываете... помаленьку. Если возьметесь за дело как следует, тоже напишете не меньше!

Он кусал и жевал сигару, выплевывая обрывки табачных листьев, которые кружились, как мотыльки, пока не застревали на корешках книг, и вид у него при этом был такой, будто он думал о чем-то заслуживающем всяческого презрения.

— «Факел примирения»? Гм! По-моему, глупое название! Не находите? Это ваша идея?

Фальк впервые получил возможность ответить, ибо, как и все великие люди, его собеседник сам отвечал на свои вопросы. Фальк сказал, что идея не его, но больше не успел вымолвить ни слова, потому что маска заговорила снова:

— По-моему, очень глупое название! А по-вашему, оно пройдет?

— Я ничего об этом не знаю и даже не понимаю, о чем вы говорите.

— Ничего не знаете?

Он берет газету и показывает Фальку.

Фальк с изумлением читает следующее объявление:

«Принимается подписка на журнал „Факел примирения“. Предназначен для верующих христиан. Скоро выйдет из печати первый номер под редакцией Арвида Фалька, лауреата премии Литературной академии. В первых выпусках журнала будет опубликована поэма Хокана Спегеля „Творение господина“, глубоко проникнутая христианским духом и благочестием».

Фальк забыл отказаться от заказа на Спегеля и теперь не знал, что отвечать!

— Какой тираж? Э? Полагаю, две тысячи. Слишком мало! Никуда не годится! Мой «Страшный суд» выходит тиражом десять тысяч экземпляров, и я кладу в карман — сколько бы вы думали? — чистоганом пятнадцать!

— Пятнадцать?

— Тысяч, юноша!

Маска, по-видимому, забыла принятую на себя роль и заговорила в своем обычном стиле.

— Итак, — продолжал он, — вам, вероятно, известно, что я чрезвычайно популярный проповедник, скажу не хвастаясь, потому что это знает весь мир! Я очень, очень популярен и ничего не могу с этим поделать, но это так! Я был бы лицемером, если бы сказал, что не знаю того, о чем знает весь мир! Итак, я с самого начала поддержу ваше предприятие! Видите этот мешок? Если я скажу, что в нем письма от людей, женщин — не волнуйтесь, я женат, — которые просят прислать мою фотографию, то я скажу еще очень мало.

На самом деле это был не мешок, а небольшой мешочек, по которому он ударил своим хлыстом.

— Чтобы избавить их и меня от лишних хлопот, — продолжал он, — и в то же время оказать читателям большую услугу, я разрешаю вам написать мою биографию и опубликовать ее вместе с портретом; тогда ваш первый номер выйдет десятитысячным тиражом и вы заработаете на нем чистоганом тысячу!

— Но, господин пастор, — он чуть было не сказал «капитан», — я ведь ничего не знаю об этом деле!

— Не имеет значения! Никакого! Издатель сам обратился ко мне и просил прислать мой портрет! А вы напишите мою биографию! Чтобы облегчить вам задачу, я попросил одного своего приятеля набросать ее в общих чертах, так что вам остается только написать вступление, краткое и выразительное, несколько удачных фраз! Вот, пожалуйста!

Фальк был даже несколько ошарашен подобной предусмотрительностью, и его немало изумило то, что портрет был так непохож на оригинал, а почерк приятеля оказался очень похож на почерк маски.

Передав Фальку портрет и рукопись, маска протянула ему руку, дабы тот мог выразить свою благодарность.

— Кланяйтесь... издателю!

Он чуть было не сказал — «Смит», и легкий румянец выступил у него между бакенбардами.

— Но вы же не знаете моих убеждений, — пытался протестовать Фальк.

— Ваших убеждений? Э? Разве я спрашивал вас о ваших убеждениях? Я никогда и никого не спрашиваю об убеждениях! Сохрани господь! Я? Никогда!

Он еще раз ударил хлыстом по книжным корешкам, открыл дверь, выпроводил своего биографа и вернулся к служебному алтарю.

К несчастью, Фальк никогда не мог найти вовремя подходящий ответ, вот и сейчас он сообразил, что надо было сказать, лишь после того, как очутился на улице. По чистой случайности подвальное окно дома оказалось открыто (и не завешано табличками) и потому гостеприимно приняло брошенные в него биографию и портрет. Потом он отправился в редакцию газеты, написал опровержение насчет своего участия в издании «Факела примирения» и пошел навстречу неминуемой голодной смерти.

Глава восьмая Бедное отечество

Прошло несколько дней; часы на Риддархольмской церкви пробили десять, когда Фальк подходил к зданию риксдага, чтобы помочь корреспонденту «Красной шапочки» написать отчет о заседаниях Нижней палаты. Он ускорил шаги, так как был непоколебимо убежден, что в этом учреждении, где такие высокие оклады, опаздывать не полагается. Он поднялся вверх по лестнице и прошел на левую галерею Нижней палаты, предназначенную для прессы. С каким-то благоговейным чувством он ступил на узенький балкон, прилепившийся, как голубятня, под самым потолком, где «поборники свободного слова слушали, как самые достойные люди страны обсуждают ее священнейшие интересы». Для Фалька все здесь было совершенно новым, однако он не испытал сколько-нибудь серьезного потрясения, когда, взглянув со своей голубятни вниз, увидел под собой совсем пустой, похожий на ланкастерскую школу зал. Часы уже показывали пять минут одиннадцатого, но в риксдаге, кроме него, еще не было ни души. Несколько минут вокруг царит мертвая тишина, как в деревенской церкви перед проповедью; но вот до него доносится какой-то тихий звук, словно кто-то скребется. «Крыса!» — думает Фальк, но внезапно замечает прямо напротив, на галерее для прессы, маленького сутулого человечка, который чинит карандаш у барьера, и вниз в зал летят стружки, ложась на столы и кресла депутатов. Взгляд Фалька медленно скользит по голым стенам, но не находит ничего достойного внимания, пока, наконец, не останавливается на старинных стенных часах эпохи Наполеона I с заново позолоченными императорскими эмблемами, которые символизируют новую форму для старого содержания. Стрелки, показывающие уже десять минут одиннадцатого, тоже что-то символизируют — в ироническом смысле; в этот момент двери в конце зала открываются, и на пороге появляется человек; он стар, его плечи искривились под бременем государственных забот, а спина согнулась под тяжестью муниципальных обязанностей, шея ушла в плечи от длительного пребывания в сырых кабинетах, в залах, где заседают всевозможные комитеты, в помещениях банков и т. д.; есть что-то отрешенное от жизни в его бесстрастной походке, когда он медленно идет по ковровой дорожке из кокосового волокна к своему председательскому месту. Дойдя до середины пути, откуда ближе всего до стенных часов, он останавливается, — по-видимому, он привык останавливаться на середине пути, смотреть по сторонам и даже оглядываться назад; однако сейчас, остановившись, он сверяет свои часы со стенными и недовольно трясет старой усталой головой: спешат! спешат! — а лицо его выражает неземное спокойствие, спокойствие, ибо его часы не отстают. Он продолжает свое движение по ковровой дорожке все тем же размеренным шагом, словно идет к конечной цели всей своей жизни; и это еще большой вопрос, не достиг ли он этой цели, усевшись в почетное председательское кресло.

Добравшись до кафедры, он останавливается, вытаскивает из кармана носовой платок и стоя сморкается, после чего окидывает взглядом внимающую ему аудиторию, состоящую из множества скамеек и столов, и произносит что-то весьма многозначительное, вроде «Уважаемые господа, итак, я высморкался!»; затем садится и, как и подобает председателю, погружается в полную неподвижность, которая могла бы перейти в сон, если бы не надо было бодрствовать. Полагая, что он один в этом

огромном зале, один наедине со своим богом, он хочет набраться сил, чтобы подготовить себя к трудам предстоящего дня, как вдруг откуда-то слева, из-под самого потолка, до него доносится громкий скребущий звук; вздрогнув, он поворачивает голову, чтобы одним своим взглядом убить крысу, осмелившуюся скрестись в его присутствии. Фальк, не рассчитавший силу резонанса на своей голубятне, принимает на себя смертельный удар убийственного взгляда, который, однако, смягчается по мере того, как совершает движение от карниза вниз и словно шепчет, ибо не решается говорить громко: «Это всего-навсего корреспондент, а я боялся, что это крыса». Но потом убийцу охватывает глубокое раскаяние в том ужасном преступлении, которое содеяли его глаза, и он закрывает рукой лицо — и плачет? Вовсе нет, просто он стирает пятно, которое оставило на сетчатке его глаза созерцание чего-то отвратительного.

Но вот распахиваются настежь двери, и начинают прибывать депутаты, а стрелки на стенных часах ползут все вперед и вперед. Председатель оделяет верных правительству депутатов кивками и рукопожатиями, а неверных карает, отворачиваясь от них, ибо он справедлив, как сам всевышний.

Появляется корреспондент «Красной шапочки», неказистый, нетрезвый и невыспавшийся; тем не менее ему, видимо, доставляет некоторое удовольствие давать обстоятельные ответы на вопросы новичка.

Двери снова распахиваются, и в зал входит некто такой уверенной походкой, словно он у себя дома; это управляющий Канцелярией налогообложения и актуарий Коллегии выплат чиновничьих окладов; он подходит к председательскому креслу, здоровается с председателем запросто, как со старым знакомым, и роется в его бумагах, как в своих собственных.

— Кто это? — спрашивает Фальк.

— Главный писарь палаты, — отвечает его приятель из «Красной шапочки».

— Неужели и здесь занимаются писаниной?

— Еще как! Скоро сам увидишь! У них тут целый этаж забит писарями, они уже расползлись по всем чердакам, а завтра будут и в подвале!

Депутаты в зале теперь так и кишат, словно муравьи в муравейнике. Но вот на кафедру со стуком опускается молоток председателя, и воцаряется тишина. Главный писарь палаты читает протокол предыдущего заседания, и его единогласно утверждают. Потом он зачитывает ходатайство о предоставлении депутату Иону Йонссону из Лербак двухнедельного отпуска.

Предоставить!

— Как, и здесь берут отпуска? — спрашивает новичок изумленно.

— Ну конечно! Надо же Иону Йонссону съездить домой в Лербак и посадить картошку.

Возвышение возле кафедры начинают заполнять молодые люди, вооруженные перьями и бумагой. Сплошь его старые знакомые со старой службы. Они усаживаются вокруг маленьких столиков, словно собираются играть в преферанс.

— Это писари палаты, — объясняет «Красная шапочка». — По-моему, они узнали тебя.

Должно быть, они действительно узнали Фалька, потому что водружают на нос пенсне и все, как один, смотрят на голубятню, смотрят так снисходительно, как в театре партер смотрит на галерку. Они перешептываются и обмениваются мнениями по поводу того отсутствующего, кто, судя по всему, должен был находиться там, где

сейчас сидит Фальк. Фальк настолько глубоко тронут таким изобильным вниманием, что не слишком любезно здоровается со Струве, который только что поднялся на голубятню — неразговорчивый, нагловатый, неопрятный и консервативный.

Главный писарь зачитывает просьбу или предложение об ассигновании средств на покупку новых циновок для вестибюля и медных номерков для галошниц.

Ассигновать!

— А где сидит оппозиция? — спрашивает непосвященный.

— А черт ее знает, где она сидит.

— Они все принимают единогласно, я не слышал ни одного голоса против.

— Подожди немного, еще услышишь.

— Что, представители оппозиции еще не пришли?

— Здесь приходят и уходят, кому когда вздумается.

— Совсем как в любом другом учреждении.

Услышав эти легкомысленные речи, консерватор Струве считает своим гражданским долгом выступить от имени правительства:

— О чем это здесь разглагольствует маленький Фальк? Не надо ворчать!

Фальк так долго подбирает подобающий ответ, что внизу уже успевают начать дебаты.

— Не обращай на него внимания, — утешает Фалька «Красная шапочка». — Он всегда крайне консервативен, когда у него есть деньги на обед, а он только что занял у меня пятерку.

Главный писарь палаты читает:

— «Заключение государственной комиссии номер пятьдесят четыре на предложение Улы Хипссона о ликвидации заборов».

Лесопромышленник Ларссон из Норрланда выражает свое безоговорочное одобрение: «А что станет с нашими лесами? — восклицает он. — Я только спрашиваю: что станет с нашими лесами?» — и, задыхаясь от волнения, садится на свое место. Поскольку за последние двадцать лет красноречие подобного рода окончательно вышло из моды, заявление Ларссона встречено смешками и улюлюканьем, после чего подрывная деятельность на скамье для представителей Норрланда прекращается сама собой.

Представитель Эланда предлагает вместо деревянных заборов воздвигать стены из песчаника; представитель Сконе предпочитает живые изгороди из самшита; уроженец Норрботтена в свою очередь считает, что заборы вообще не нужны, если они не огораживают пашню, а депутат от Стокгольма полагает, что вопрос этот следует передать в комитет экспертов, причем он делает ударение на слове «экспертов». И тогда в зале поднимается буря. Лучше смерть, чем комитет! Депутаты требуют голосования. Предложение отвергнуто, и заборы будут стоять, пока не завалятся сами собой.

Главный писарь снова читает:

— «Заключение государственной комиссии номер шестьдесят шесть на предложение Карла Ионссона об отмене ассигнований на деятельность Библейского комитета».

При упоминании почтенного имени этого столетнего учреждения иронические улыбки на лицах депутатов гаснут сами собой, и в зале воцаряется благоговейная тишина. Кто отважится посягнуть на самые основы религии? Кто отважится подвергнуть себя всеобщему осуждению? Слово просит епископ Истадский.

— Записывать? — спрашивает Фальк.

— Нет, нас не интересует, что он скажет.

Однако консерватор Струве делает следующие записи:

«Свящ. интересы отечества. Религия и ее объединяющая человечество роль. 829 г. 1632 г. Неверие. Жажда новизны. Слово божие. Слово человеческое. Столетие. Усердие. Честность. Справедливость. Порядочность. Ученость. На чем зиждется шведская церковь. Честь и слава древних шведских традиций. Густав I. Густав II. Холмы Лютцена. Глаза Европы. Приговор грядущих поколений. Скорбь. Позор. Зеленый дерн. Умывание рук. Решайте».

Слово просит Карл Ионссон.

— Теперь записываем мы! — говорит «Красная шапочка». И пока Струве всячески разукрашивает речь епископа, они записывают.

«Болтовня. Пустословие. Сидят уже 100 лет. Обошлось в 100000 рдр. 9 архиепископов. 30 профессоров. Еще 500 лет. Платим жалованье. Секретари. Ассистенты. Ничего не сделано. Одни предположения. Негодная работа. Деньги, деньги и деньги! Будем называть вещи своими именами. Надувательство. Чинуши. Высасывание денег. Система».

Никто не выступает в поддержку этого предложения, однако в результате молчаливого голосования оно принято.

Пока «Красная шапочка» привычной рукой наводит глянец на шероховатую речь Ионссона и придумывает ей броский заголовок, Фальк отдыхает. Но вот взгляд его падает на галерею для публики, и он замечает хорошо знакомую ему голову, склоненную на барьер; ее обладателя зовут Олле Монтанус. В этот момент Олле похож на собаку, стерегущую кость, и возможно, так оно и есть на самом деле, но Фальк ничего об этом не знает, потому что Олле человек очень скрытный.

Между тем под правой галереей, как раз возле скамьи, на которую сутулое существо сбрасывало стружки от карандаша, появляется господин в мундире государственного чиновника с треугольной шляпой под мышкой и рулоном бумаги в руке.

Председательский молоток стучит по кафедре, и в зале воцаряется ироническая и несколько зловещая тишина.

— Пиши, — приказывает «Красная шапочка», — но бери только цифры, а я возьму все остальное.

— Кто это?

— Королевские законопроекты.

Рулон начинает разворачиваться, и чиновник читает:

— «Законопроект его королевского величества об увеличении ассигнований на департамент изучения живых языков юношами дворянского звания по статье „Письменные принадлежности и другие расходы“ с пятидесяти тысяч риксдалеров до пятидесяти шести тысяч риксдалеров тридцати семи эре».

— А что такое «другие расходы»? — спрашивает Фальк.

— Графины для воды, стойки для зонтов, плевательницы, шторы, обеды на Хассельбаккене, денежные вознаграждения и так далее. А теперь помолчи и слушай дальше!

Бумажный рулон продолжает разворачиваться:

— «Законопроект его королевского величества об ассигновании средств для учреждения шестидесяти новых офицерских должностей в Вестготской кавалерии».

— Шестидесяти? — переспрашивает Фальк, не имеющий ни малейшего представления о государственных делах.

— Шестидесяти, шестидесяти! Ты знай себе пиши!

Бумажный рулон все разворачивается и становится все длиннее и длиннее.

— «Законопроект его королевского величества об ассигновании средств для учреждения пяти новых штатных канцелярских должностей в Коллегии выплат чиновничьих окладов».

Сильное движение за столиками для игры в преферанс; движение на стуле, где сидит Фальк.

Бумага снова сворачивается в рулон, председатель встает и с поклоном благодарит владельца рулона, словно спрашивает: «Не угодно ли что-нибудь еще?», после чего тот садится на скамью и начинает сдувать карандашные стружки, которые сбросил сутулый, однако его жесткий, расшитый золотом воротник мешает ему впасть в искушение, которому поддался председатель палаты.

Дебаты продолжаются. Свен Свенссон из Торрлеса просит предоставить ему слово по вопросу о призрении бедных. Как по команде, все корреспонденты поднимаются с мест и начинают зевать и потягиваться.

— Пойдем вниз, позавтракаем, — говорит «Красная шапочка» своему подопечному. — В нашем распоряжении час десять минут.

Однако Свен Свенссон начинает говорить.

Парламентарии встают, некоторые выходят из зала. Председатель беседует с несколькими верными правительству депутатами и тем самым от лица правительства выражает свое неодобрение по поводу того, что намеревается сказать Свен Свенссон. Два пожилых парламентария из Стокгольма подводят к трибуне молодого человека, судя по внешнему виду — новичка, и показывают ему на оратора, словно на диковинного зверя; некоторое время они с интересом рассматривают Свена Свенссона и, найдя его ужасно смешным и нелепым, поворачиваются к нему спиной.

«Красная шапочка» любезно информирует Фалька о том, что Свен Свенссон — форменное наказание для всей палаты. Он ни то и ни се, не берет сторону ни одной из партий, никому не удастся заручиться его поддержкой, а он только говорит и говорит. Но о чем он говорит — никто не знает, потому что ни одна газета не публикует отчетов о его выступлениях, а в протоколы заседаний все равно никто не заглядывает.

Однако Фальк, который питает слабость ко всему, что остается другими незамеченным, не идет завтракать, и ему удастся услышать то, чего он уже давно не слышал, — услышать честного человека, который, не сворачивая, идет по намеченному пути и возвышает свой голос в защиту униженных и оскорбленных... но этот голос никто не слышит.

Между тем Струве, увидев на трибуне Свена Свенссона, вместе со всеми направляется в буфет, где уже собралась половина палаты.

Поев и немного выпив, они снова собираются на своем насесте и еще некоторое время слушают Свена Свенссона или, вернее, смотрят, ибо после завтрака в палате стоит такой многоголосый шум, что из речи оратора не слышно уже ни слова.

Наконец Свен Свенссон замолкает. Ни у кого нет никаких возражений, не надо принимать никакого решения, и вообще все ведут себя так, будто никакого Свена Свенссона нет и никогда не было.

Главный писарь палаты, который за это время успел побывать в своих коллегиях,

поглядеть газеты и помешать огонь в печах, снова поднимается на трибуну и читает:

— «Заключение государственной комиссии номер семьдесят два в связи с просьбой Пера Ильссона из Тресколы об ассигновании десяти тысяч риксдалеров на реставрацию старинных скульптур в трескольской церкви».

Собачья голова на барьере галереи для публики приняла угрожающий вид, словно преисполнилась решимости не упустить свою кость.

— Ты знаешь вон того уroda на галерее? — спрашивает «Красная шапочка».

— Полагаю, что это Олле Монтанус.

— А ты знаешь, что он из Тресколы? Ловкий малый! Взгляни на его выразительную физиономию, когда речь пойдет о Тресколе.

Слово предоставляется Перу Ильссону.

Струве с презрением поворачивается к оратору спиной и вынимает табак, однако Фальк и «Красная шапочка» берут перья на изготовку.

— Ты записываешь фразы, — говорит «Красная шапочка», — а я — факты!

Через четверть часа лист бумаги, лежавший перед Фальком, исписан следующими словами:

«Достояние отечеств. культуры. Эконом. интересы. Охрана памятников старины. Как писал Фихте. Отечеств. культ. не материальн. интересы. Ergo, это обвинение опровергн. Священ. храм. В сиянии утреннего солнца. Чей шпиль до небес. С незапамятных времен. О чем не мечтали философы. Свящ. права нации. Отечеств. культ. Академия литературы, истории и искусства».

Вся эта тарабарщина, порядком повеселившая депутатов, особенно в связи с эксгумацией покойного Фихте, тем не менее вызвала дебаты, в которых приняли участие депутаты от столицы и Упсалы.

Представитель Стокгольма сказал, что, хотя он никогда не был в трескольской церкви и не знает Фихте и хотя ему неизвестно, стоят ли древние гипсовые старики десять тысяч риксдалеров, тем не менее он проголосует за это предложение, дабы поддержать в палате это прекрасное начинание, поскольку за все годы его участия в работе парламентского большинства он впервые слышит, чтобы кто-то требовал ассигнований на что-нибудь другое, кроме мостов, народных школ и тому подобного.

Представитель Упсалы заявил (согласно записям Струве), что автор этого предложения a priori⁹ прав, его исходная посылка — необходимость поддержать отечественную культуру — абсолютно верна, окончательный вывод — ассигнование десяти тысяч риксдалеров — совершенно неопровержим, конечная цель, намерение, общая тенденция — прекрасны, похвальны, патриотичны, но здесь допущена ошибка. Кем? Отечеством? Государством? Церковью?

Нет! Автором этого предложения! С точки зрения здравого смысла автор безусловно прав, и оратору — он повторяет это снова и снова — не остается ничего другого, как похвалить конечную цель, намерение и общую тенденцию и отнестись к судьбе этого предложения с самой горячей симпатией, и он призывает депутатов во имя отечества, во имя культуры и во имя искусства отдать этому предложению свои голоса, но он сам, рассматривая это предложение с позиций логики и считая его ошибочным, немотивированным и вредным, будет вынужден проголосовать против, поскольку оно распространяет понятие государства на отдельные области страны.

Пока происходило голосование, голова на галерее для публики дико вращала

⁹ Независимо от опыта (лат.).

глазами, а губы у нее конвульсивно подергивались, но как только голоса были подсчитаны, а деньги ассигнованы, голова куда-то метнулась и исчезла в хлынувшей к дверям толпе тех, кто остался недоволен исходом голосования.

Фальк понял наконец связь между предложением Пера Ильссона и присутствием, а потом и исчезновением Олле. Струве, у которого после завтрака взгляды стали еще консервативнее, а голос еще громче, во всеуслышанье разглагольствовал о том и о сем. «Красная шапочка» оставалась спокойной и ко всему безразличной; она уже давно разучилась удивляться.

Но тут в темной туче людской толпы, сквозь которую только что пробился Олле, вдруг появилось лицо, ясное, светлое и сияющее, как солнце, и Арвид Фальк, обративший было в ту сторону свой взор, вынужден был тотчас же опустить глаза и отвернуться, ибо там стоял его брат, глава семьи, честь имени, которое он сделает славным и знаменитым. Из-за плеча Карла-Николауса Фалька высовывалась половина еще одного лица, смуглого, лицемерного и фальшивого, и оно с таинственным видом что-то нашептывало в спину Карла-Николауса. Арвид Фальк не успел прийти в себя от изумления, увидев здесь брата, поскольку знал о его неприязни к новому государственному правопорядку, как председатель разрешил внести предложение Андерсу Андерссону, каковым разрешением тот незамедлительно воспользовался и зачитал следующее:

— «На основании многочисленных фактов предлагаю, чтобы риксдаг принял постановление, в соответствии с которым корона несет солидарную ответственность с теми акционерными обществами, чьи уставы она санкционирует».

Солнце на галерее для публики тотчас померкло, а в зале разразилась буря! Слово предоставляется графу фон Шплинт.

— *Quousque tandem Catilina...*¹⁰ Дальше уже некуда! Есть люди, которые забываются настолько, что отваживаются критиковать правительство или, что еще хуже, делают его предметом насмешек, грубых насмешек, ибо никак иначе я не могу квалифицировать это предложение. Насмешка, говорю я, нет, покушение, предательство! О! Мое отечество! Твои недостойные сыны забыли, чем они тебе обязаны! Но разве могло быть иначе, если ты утратило свое рыцарское воинство, свой щит, свой оплот. Я предлагаю этому человеку, Перу Андерссону, или как там его еще зовут, снять свое предложение, а не то, видит бог, он убедится, что у короля и отечества есть еще верные защитники, которые могут поднять камень и метнуть его в многоголовую гидру предательства!

Одобрительные возгласы с галереи для публики, недовольный ропот в зале.

— Ха, вы думаете, я вас боюсь!

Оратор так размахивает руками, словно уже бросает камни, но гидра смеется всей сотней своих лиц. Оратор ищет другую гидру, которая не смеется, и находит ее на галерее для прессы.

— Там, там! — восклицает он, показывая на голубятню, и бросает такие неистовые взгляды, будто стена разверзлась и ему открылась бездна. — Вот оно, воронье гнездо! Я слышу их карканье, но они не испугают меня! Поднимайтесь, шведы, рубите дерево, пилите бревна, срывайте доски, ломайте столы и стулья в щепки, такие мелкие, как вот... — и он показывает на свой мизинец, — и сожгите

¹⁰ Начальные слова первой речи Цицерона против Катилины: «*Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?*», т. е. «Доколе же еще, Катилина, будешь ты злоупотреблять нашим терпением?»

дотла этот рассадник зла, и вы увидите, каким пышным цветом в мире и покое расцветет наше государство, его города и селения. Это говорит вам шведский дворянин! Когда-нибудь вы вспомните его слова, крестьяне!

Эта речь, которую каких-нибудь три года назад встретили бы криками восторга на площади перед Рыцарским замком и все до последнего слова включили бы в протокол, чтобы потом напечатать и разослать по всей стране во все народные школы и другие благотворительные учреждения, была встречена весьма иронически и основательно отредактирована, прежде чем попала в протокол, и отчеты о ней, как это ни странно, появились лишь в оппозиционных газетах, которые обычно не публикуют подобного рода материалы.

Затем слово попросил представитель Упсалы. Он целиком и полностью согласился по существу вопроса с предыдущим оратором, и его чуткое ухо даже уловило в этом выступлении бряцание мечей былых времен; однако сам он будет говорить об идее, лежащей в основе акционерного общества, об идее как таковой, и в этой связи хочет пояснить, что акционерное общество отнюдь не является скоплением денег, как не является и объединением личностей, оно само по себе является личностью и, как таковое, не может считаться вменяемым...

Тут в зале поднялся такой смех и шум, что на галерее для прессы совсем не стало слышно оратора, закончившего свою речь предостережением, что на карту, в некотором роде, поставлены интересы отечества и если это предложение не будет отвергнуто, интересы отечества серьезно пострадают, и государство таким образом окажется в опасности.

До обеда выступили еще шесть ораторов, которые приводили данные официальной шведской статистики, цитировали законы, юридический справочник и «Гетеборгскую торговую газету», и все приходили к выводу, что отечество окажется в опасности, если риксдаг возложит на корону солидарную ответственность за все акционерные общества, уставы которых она санкционирует, и интересы отечества будут, таким образом, поставлены на карту. Правда, у следующего оратора даже хватило смелости сказать, что интересы отечества разыгрывают в кости, третий утверждал, что их разыгрывают в преферанс, четвертый и пятый считали, что они висят на волоске, а последний оратор был убежден, что они висят на ниточке. Около полудня это предложение было отвергнуто, и таким образом отечество избежало грустной необходимости проходить через жернова парламентских комиссий, через канцелярское сито, через государственную соломорезку, молотилку, трепалку и газетную шумиху. Отечество было спасено! Бедное отечество!

Глава девятая **Предписания**

Однажды утром, через несколько дней после событий, описанных в предыдущей главе, Карл-Николаус Фальк и его дражайшая супруга сидели за столом и пили кофе. Против обыкновения, супруг был не в халате и домашних туфлях, а супруга надела дорогой капот.

— Понимаешь, они приходили вчера, и все пятеро выражали свои соболезнования, — сказала супруга, радостно усмехаясь.

— Черт побери...

— Николаус, опомнись! Ведь ты не за прилавком!

- А что тут такого, если я разозлился?
- Во-первых, ты не разозлился, а рассердился! И нужно сказать: «Меня это поражает!»
- Да, меня даже слишком поражает, что ты вечно преподносишь мне всякие неприятные известия. Перестань говорить о том, что меня бесит.
- Возмущает, мой старичок! Ну что ж! Я как-нибудь сама справлюсь со своими невзгодами, но ведь ты всегда стараешься взвалить на...
- Ты хочешь сказать, свалить!
- Я хочу сказать взвалить, взвалить на меня все свои невзгоды и огорчения. Послушай! Разве это ты мне обещал, когда мы поженились?
- Ну ладно, хватит! Во всем, что ты говоришь, нет ни смысла, ни логики! Продолжай! Они приходили все пятеро, мама и пять сестер?
- Четыре сестры! Не очень-то ты любишь своих родственников.
- Твоих родственников! Да и ты их не слишком жалуешь!
- Не слишком! Я их просто не переношу.
- Так, значит, они были здесь и выражали свое сочувствие по поводу того, что твоего деверя прогнали со службы. Они прочли об этом в «Отечестве»? Не так ли?
- Именно так! И они совершенно обнаглели — заявили, что это хоть немного собьет с меня спесь.
- Высокомерие, моя старушка!
- Спесь, сказали они; я никогда не унижалась до подобных выражений.
- А ты что ответила? Наверно, задала им перцу?
- Уж можешь не сомневаться! Старуха пригрозила даже, что ноги ее больше не будет в этом доме!
- Правда? Так и сказала? Как по-твоему, сдержит она слово?
- Не думаю. Но старик наверняка...
- Не надо называть своего отца стариком, а то кто-нибудь услышит.
- Неужели ты думаешь, я могу себе это позволить при посторонних? Но, между нами говоря... старик больше никогда сюда не придет.
- Фальк погрузился в глубокие раздумья. Потом снова заговорил:
- Твоя мать самолюбива? Обидчива? Ты ведь знаешь, я не люблю обижать людей! Скажи мне, где ее слабое место, где она наиболее уязвима, и я постараюсь не причинять ей боль.
- Самолюбива? Ты же сам знаешь, по-своему — да. Если, например, ей скажут, что мы пригласили гостей, а ее и сестер не пригласили, она никогда больше не появится в нашем доме.
- Ты уверена?
- Можешь не сомневаться!
- Меня поражает, что люди в ее положении...
- О чем ты болтаешь?
- Ну, ну! Почему все женщины такие обидчивые! Послушай, так как дела с твоим союзом? Какое вы ему придумали название?
- «За права женщины!».
- А что это такое?
- Как что? Женщина должна иметь право сама распоряжаться своей собственностью.
- А разве у тебя нет такого права?

— Нет, такого права у меня нет!

— И какой же собственностью ты не имеешь права распоряжаться?

— Половиной твоей, мой старичок! Я, как твоя супруга, имею все права на твое имущество, вернее, на наше общее имущество.

— Господи, кто вбил тебе в голову подобные глупости?

— Это вовсе не глупости, а дух времени, понятно? Новое законодательство должно предоставить мне право при вступлении в брак распоряжаться половиной нашего имущества, и на эту половину я вольна купить все, что мне заблагорассудится.

— И когда ты это купишь и растрянжиришь все деньги, я буду обязан еще и содержать тебя? Ничего себе, ловко придумано!

— Ну так тебя заставят, а не то попадешь в тюрьму! Закон карает всякого, кто отказывается содержать свою супругу.

— Ну нет, так дело не пойдет! А вы уже хоть раз собирались? Расскажи!

— Пока что мы работаем только над уставом на подготовительных заседаниях.

— И кто же это?

— Жена ревизора Хумана и ее милость госпожа Реньельм.

— Реньельм! Весьма почтенное имя! Кажется, я уже слышал его раньше. А что там с союзом кройки и шитья, который вы собирались основать?

— Все в порядке! Только не основать, а учредить! И представляешь, как-нибудь вечером к нам приедет пастор Скорее и прочтет проповедь.

— Пастор Скорее — превосходный проповедник и возвращается в высшем свете. Ты молодчина, моя старушка, и правильно делаешь, что избегаешь дурного общества. Нет ничего опаснее дурного общества. Эти слова моего покойного отца стали одним из моих главных жизненных принципов.

Супруга собрала со стола в свою кофейную чашку хлебные крошки. Супруг стал искать в жилетном кармане зубочистку, чтобы удалить кофейную гущу, застрявшую между зубами.

Супруги чувствовали себя несколько неловко в обществе друг друга. Каждый из них знал, о чем в данный момент думает другой, и оба прекрасно понимали, что первый, кто нарушит молчание, обязательно сморозит какую-нибудь глупость и скомпрометирует себя. Мысленно перебирая возможные темы для разговора, они продумывали их и тотчас отвергали за непригодностью; все они были так или иначе связаны или могли быть связаны с тем, о чем они только что беседовали. Фальк безуспешно пытался найти какой-нибудь изъясн в сервировке стола, дабы использовать его как повод для выражения недовольства. Его супруга смотрела в окно в тайной надежде увидеть перемену в погоде, но — напрасно.

И тут появился лакей со спасательным кругом в виде газет и доложил о приходе нотариуса Левина.

— Пусть подождет! — распорядился Фальк.

После этого он некоторое время ходил по комнате, скрипя сапогами, дабы своевременно оповестить беднягу, ожидавшего аудиенции в прихожей, о своем высочайшем прибытии.

Левин, на которого эта новая затея хозяина — томительное ожидание в прихожей — произвела достаточно сильное впечатление, наконец был допущен в господский кабинет, где его, дрожащего от волнения, приняли довольно сурово, как просителя.

— Ты принес бланк? — спросил Фальк.

— Кажется, принес, — ответил ошарашенный Левин, выгребая из кармана целую

пачку долговых обязательств и вексельных бланков на самые различные суммы. — Какой бланк ты предпочитаешь? У меня векселя во все банки, кроме одного.

Несмотря на значительность происходящего, Фальк не мог не усмехнуться при виде долговых обязательств, на которых не хватало только имени, векселей, выписанных без указания о принятии их к платежу, и опротестованных векселей.

— Ну, тогда Банк канатной фабрики.

— Это и есть тот единственный банк, который нам не годится, потому что... меня там знают!

— Ладно, тогда Банк сапожников, Банк портных, в конце концов, любой банк, но только решай побыстрее.

Остановились на Банке столяров.

— Ну, — сказал Фальк и посмотрел на Левина так, словно тот уже продал ему свою душу, — а теперь иди и закажи себе новое платье; пусть портной сошьет тебе мундир в кредит.

— Мундир? Но я не ношу...

— Молчать, когда я говорю! Мундир должен быть готов к четвергу — на будущей неделе я устраиваю званый вечер. Ты ведь знаешь, что я продал лавку со складом и как оптовый торговец получаю завтра гражданство.

— О, поздравляю...

— Молчать, когда я говорю! Сейчас ты отправишься с визитом на Шепсхольмен! Благодаря своей лицемерной манере держаться и неслыханному умению болтать всякий вздор тебе удалось завоевать расположение моей тещи. Так! Спросишь, как ей понравился званый вечер, который я устраивал у себя дома в прошлое воскресенье.

— У себя дома? Ты устраивал...

— Молчи и слушай! Она вытаращит глаза и спросит, был ли ты приглашен. Тебя, естественно, не пригласили, потому что никакого званого вечера вообще не было. Так! Каждый из вас выразит по этому поводу свое возмущение, вы станете добрыми друзьями и приметесь бранить меня на все корки; я знаю, ты это умеешь. Но мою жену ты будешь всячески расхваливать. Понял?

— Не совсем.

— Это и не обязательно, твое дело только слушать, слушать и повиноваться. И еще: скажешь Нистрему, что я так занесся, что больше не желаю с ним знаться. Выложи ему все, и тогда хоть раз в жизни ты скажешь правду... Впрочем, не надо. С этим можно подождать... пока. Пойди к нему, наплети с три короба о званом вечере в четверг, о выгодах, которые он сможет извлечь, о бесконечных благодеяниях, блестящих перспективах и тому подобное. Понятно?

— Понятно!

— А потом ты возьмешь рукопись, отправишься в типографию и... тогда...

— И тогда мы ниспровергнем его!

— Называй это как тебе угодно, но все должно быть сделано именно так, а не иначе!

— На вечере я читаю стихи и раздаю их гостям?

— Гм, да! И еще! Постарайся встретиться с моим братом. Разузнай, чем он занимается и с кем водит знакомство! Нужно завоевать его расположение, втереться к нему в доверие; это нетрудно; стань его другом! Скажи ему, что я его обманул, что я чванлив и спесив, и спроси его, сколько он хочет за то, чтобы изменить свое имя!

Бледное лицо Левина подернулось зеленоватой тенью, которая означала, что он

покраснел.

— Ну, это, пожалуй, немного гадко, — сказал он.

— Что такое? И еще! Как деловой человек, я хочу, чтобы в делах у меня был порядок! Я представляю поручительство на довольно крупную сумму, которую мне придется уплатить, ясно как день!

— О! О!

— Не болтай! На случай твоей смерти у меня нет от тебя никакого обеспечения. Подпиши-ка мне долговое обязательство на предъявителя, подлежащее оплате по первому требованию; ведь это чистая формальность.

Когда Левин услышал про предъявителя, по его телу пробежала легкая дрожь, и он очень нерешительно и боязливо взялся за перо, хотя прекрасно понимал, что все пути к отступлению отрезаны. Перед его мысленным взором вдруг возникли малосимпатичные парни, стоящие шпалерами с палками в руках; перед глазами — лорнеты, распухшие от проштампованных бумаг нагрудные карманы; он слышит хлопанье дверей, топот ног на лестницах, его вызывают в суд, угрожают, но потом дают отсрочку, и вот на ратуше бьют часы, а малосимпатичные парни берут свои палки на караул и ведут его в колодках к месту казни — тут его отпускают, но его гражданская честь гибнет под топором палача под шумное ликование толпы.

Он подписал. Аудиенция закончена.

Глава десятая

Газетное акционерное общество «Серый плащ»

В течение сорока лет Швеция трудилась не покладая рук, чтобы завоевать себе то право, которым сейчас обладает каждый, когда достигает совершеннолетия. Мы писали брошюры, основывали газеты, бросались камнями, устраивали обеды и произносили речи; мы заседали и писали петиции, разъезжали по железной дороге, пожимали руки, сформировали армию из добровольцев и наконец с большой помпой обрели то, чего так долго добивались. Энтузиазм был велик и вполне оправдан. Старые березовые столы в винном погребе при Опере превратились в политические трибуны, а реформаторский дух, исходивший от пунша, породил многочисленных политиканов, которые впоследствии много шумели и кричали; реформаторский чад сигар разбудил честолюбивые мечты, которым так и не суждено было сбыться; мы смывали с себя старую пыль мылом реформ и были убеждены, что все прекрасно, и после невероятной трескотни расположились поудобней и стали ждать замечательных результатов, которые должны были родиться сами собой. Мы проспали несколько лет, а когда проснулись и перед нами предстала реальная действительность, то поняли, что просчитались. Отовсюду слышался ропот; государственные деятели, которых еще совсем недавно превозносили до небес, теперь подвергались суровой критике. Короче говоря, эти годы были отмечены некоторой растерянностью, которая скоро вылилась в форму всеобщего недовольства, или, как это теперь принято называть, в оппозицию. Однако то был новый вид оппозиции, ибо она выступала не против правительства, а против риксдага. Это была консервативная оппозиция, и к ней примкнули и либералы, и консерваторы, и молодежь, и старики, так что страна оказалась в крайне бедственном положении.

Между тем газетное акционерное общество «Серый плащ», возвращенное при либеральной конъюнктуре, стало постепенно хиреть, поскольку ему приходилось

отстаивать взгляды (если вообще можно говорить о взглядах акционерного общества), которые отнюдь не пользовались популярностью у читателей. Тогда правление общества внесло на рассмотрение общего собрания акционеров предложение изменить кое-какие взгляды, коль скоро они уже не привлекают необходимое для существования газеты количество подписчиков. Общее собрание приняло предложение правления, и отныне «Серый плащ» стал консервативным. Однако существовало одно «но», которое, правда, не слишком смущало издателей: чтобы не осрамиться перед читателями, нужно было сменить главного редактора; то, что невидимая редакция останется в прежнем составе, воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся. Главный редактор, человек честный и порядочный, подал в отставку. Редакция, которую уже давно поругивали за ее красноватый оттенок, отставку с радостью приняла, чтобы, таким образом без всяких лишних затрат завоевать расположение состоятельной публики. Оставалось лишь найти нового главного редактора. В соответствии с новой программой «Серого плаща» он должен был обладать следующими качествами: пользоваться безграничным доверием читателей как человек и гражданин, принадлежать к сословию государственных служащих, владеть титулом, узурпированным или купленным, который в случае необходимости мог бы стать еще более высоким; кроме того, он должен был обладать респектабельной внешностью, чтобы появляться на всевозможных празднествах и других общественных увеселениях, быть несамостоятельным и немножко глупым, поскольку акционеры знали, что истинная глупость всегда ведет к консервативному образу мыслей и вместе с тем вырабатывает довольно тонкий нюх, который позволяет заранее угадывать пожелания начальства и постоянно напоминает о том, что общественное благо по сути дела есть благо личное; он должен быть средних лет, поскольку такими легче управлять, и женат, так как акционерное общество состояло из деловых людей, которые считали, что женатые ведут себя лучше, чем холостяки.

Такого человека наконец нашли, и он в значительной степени обладал упомянутыми выше качествами. Это был на редкость красивый мужчина, довольно хорошо сложенный, с длинной вьющейся светлой окладистой бородой, скрывавшей от посторонних глаз все то уродливое, что было на его лице, которое поэтому никак не могло считаться зеркалом его души. Большие, широко открытые лживые глаза зачаровывали собеседника и располагали к доверию, которым он впоследствии всячески злоупотреблял; своим глуховатым голосом он говорил о любви, мире, справедливости и прежде всего о патриотизме, соблазняя введенных в заблуждение собеседников собираться вечерами за пуншем, где этот замечательный человек без устали распространялся о равноправии и любви к родине. Надо было послушать, какое огромное влияние он, человек долга, оказывал на свое дурное окружение; увидеть это было нельзя, можно было только услышать. Вся эта свора, которую многие годы натравливали на все добропорядочное и почтенное, науськивали на правительство и чиновников, которая набрасывалась даже на более высокие инстанции, теперь притихла и возлюбила всех, кроме своих старых друзей, стала честной, высоконравственной и справедливой — только для вида. Они во всем следовали новой программе, которую, придя к власти, выработал новый главный редактор; ее смысл, в нескольких словах, сводился к тому, чтобы преследовать все новое и хорошее, продвигать все старое и плохое, ползать на брюхе перед властью предрержащей, возвеличивать тех, кому повезло, и топтать тех, кто пытается подняться, обожествлять успех и издеваться над несчастьем, хотя в самой программе эти предложения были

сформулированы в вольном переводе следующим образом: «Признавать и поддерживать лишь то, что одобрено жизнью и проверено на практике, противодействовать всевозможным новшествам, строго, но справедливо наказывать тех, кто стремится достичь успеха порочными средствами, а не честным трудом».

Потаенный смысл этого последнего пункта, особенно дорогого сердцу каждого сотрудника редакции, имел свое объяснение, которое не надо было искать слишком далеко. Редакция в основном состояла из людей, чьи надежды так или иначе пошли прахом, у большинства по их же собственной вине, главным образом из-за лености и пьянства. Некоторые еще в юности прослыли гениями; певцы, ораторы, поэты, салонные остряки, они со временем оказались преданы справедливому забвению, которое считали несправедливым. Многие годы им приходилось, к их большой досаде, поощрять и хвалить тех, кто создавал что-то новое, и вообще все то, что было новым, и, следовательно, не было ничего удивительного в том, что теперь при первом же удобном случае они набрасывались под самыми благовидными предлогами на все новое, не делая различия между хорошим и плохим.

Особенно острый нюх на всякого рода жульничество и нечестность был у главного редактора. Если какой-нибудь депутат риксдага выступал против предложения, которое наносило ущерб всей стране в угоду частным интересам той или иной корпорации, его тотчас же обзывали жуликом, претендующим на оригинальность и домогающимся министерского фрака; главный редактор не говорил «портфеля», потому что главное значение придавал одежде. Однако политика не была его сильной стороной, так же как и не была его слабостью, ибо слабость он питал лишь к литературе. Как-то раз на каком-то празднестве в Упсале он произнес стихотворный тост в честь одной женщины, внося тем самым значительный вклад в шведскую поэзию; этот вклад был воспроизведен и опубликован в стольких провинциальных газетах, каковое количество автор посчитал достаточным, чтобы обрести бессмертие. Таким образом, теперь он был поэтом и, сдав последний экзамен, купил билет второго класса и отправился в Стокгольм, чтобы начать новую жизнь и принять восторги почитателей своего таланта, на которые мог претендовать как поэт. Увы, жители столицы не читают провинциальных газет. О молодом человеке ничего не знали, и его талант не был по достоинству оценен. Как человек разумный — а его маленький разум никогда не подвергался пагубному воздействию неумеренной фантазии, — он спрятал от посторонних глаз свою кровоточащую рану, которая осталась тайной всей его жизни. Горечь, вызванная тем грустным обстоятельством, что его честный труд, как он называл его, остался без вознаграждения, сделал его весьма подходящим на роль литературного критика, однако сам он не писал, поскольку занимаемая им должность запрещала ему давать личные оценки тому или иному произведению, а препоручал это рядовому рецензенту, честному и неподкупному, который и выносил строгий и окончательный приговор. На протяжении шестнадцати лет рецензент этот тоже писал стихи, которые никто не читал, и хотя подписывал их псевдонимом, никого не интересовало настоящее имя автора. Однако каждый год на рождество его стихи выкапывались из пыли, и их восхвалял в «Сером плаще» какой-нибудь беспристрастный критик, неизменно ставя под статьей свою подпись, чтобы публика не подумала, будто статью написал сам автор стихов, поскольку еще не умерла надежда, что читатели его знают. Но на семнадцатый год поэт счел целесообразным поставить на своей новой книге (новое издание старой книги) свое настоящее имя. К несчастью, «Красная шапочка», в

которой сотрудничали сплошь молодые люди, слыхом не слыхавшие настоящего имени поэта, приняли маститого автора за новичка, выразив свое удивление по поводу того, что начинающий автор, впервые выступающий в печати, подписался своим настоящим именем, а также в связи с тем, что молодой человек может писать так сухо и старомодно. Это был жестокий удар; маститый поэт даже схватил лихорадку, но вскоре оправился и был блистательно реабилитирован в «Сером плаще», который одним духом заклеил всю читательскую общественность, назвав ее безнравственной, бесчестной и не способной оценить по достоинству честную, здоровую и высоконравственную книгу, которую можно дать почитать даже ребенку без малейшего для него ущерба. По этому поводу проехался один юмористический журнал, да так удачно, что у старого поэта снова началась лихорадка, а когда он немного оправился, то во гневе проклял всю отечественную литературу, все книги, какие отныне будут выходить в свет... Впрочем, не все, ибо внимательный читатель не раз замечал, что «Серый плащ» зачастую хвалил крайне слабые литературные произведения, хотя похвалы эти звучали весьма неубедительно, а порой и двусмысленно, и еще он замечал, что все эти произведения выходят в издательстве одного небезызвестного издателя, из чего, правда, вовсе не следует, что старый поэт поддавался воздействию каких-то внешних факторов, таких, как, скажем, салака или голубцы, поскольку он, как и вся редакция, был честным человеком, который наверняка не решился бы судить других людей, если бы сам не был безупречен.

Теперь о театральном критике. Он получил образование и изучал драматическое искусство в почтовой конторе одного провинциального городка, где служил посыльным и где случайно влюбился в великую актрису, которая, правда, была великой только тогда, когда выступала в этом городке. Поскольку он был не настолько просвещенным, чтобы делать различие между своим личным мнением и мнением общественным, то его любовное приключение привело к тому, что, когда «Серый плащ» впервые предоставил ему свои полосы, он разнес в пух и прах первую актрису страны, утверждая, будто в роли, о которой шла речь, она подражала его мамзели... как там ее звали. Не будем заострять внимание на том, что все это было написано неуклюже и грубо и еще до того, как «Серый плащ», всегда державший нос по ветру, изменил свою ориентацию. Эта история создала ему имя, для всех ненавистное, всеми презираемое, но все-таки имя, защищавшее его от постоянных нападков. К его наиболее выдающимся, хотя и с опозданием признанным достоинствам как театрального критика относилось и то, что он был глух. А поскольку о его глухоте стало известно лишь по прошествии нескольких лет, то никому не приходило в голову, что обстоятельство это как-то связано с потасовкой при погашенных огнях в вестибюле Оперы, вызванной одной из его рецензий. С тех пор он испытывал силу своих рук лишь на желторотых юнцах, и люди сведущие могли безошибочно определить по его рецензии, когда он терпел очередное фиаско за кулисами, ибо тщеславные провинциалы где-то вычитали, будто Стокгольм — тот же Париж, и твердо уверовали в это.

Вопросами изобразительного искусства в редакции занимался один старый академик, который ни разу в жизни не держал в руках кисти, но зато был членом почтенного художественного общества «Минерва», что давало ему возможность рецензировать произведения искусства еще до того, как они были закончены, и тем самым избавлять публику от необходимости высказывать свое собственное суждение. Он всегда был настроен очень благожелательно... в отношении своих знакомых, и

когда писал отчет о какой-нибудь выставке, никого из них никогда не забывал и благодаря этой многолетней привычке так набил себе руку, восхваляя их, — а ничего другого он просто не мог себе позволить, — что на половине столбца ухитрялся втиснуть не менее двадцати имен. Напротив, о молодых художниках он добросовестно избегал говорить, так что публика, которая в течение десяти лет не слышала никаких иных имен, кроме имен стариков, стала приходить в отчаяние, задумываясь о будущем отечественного искусства. Впрочем, одно исключение он все-таки сделал, сделал именно сейчас, и, к сожалению, в весьма неподходящий момент; вот почему сегодня утром «Серый плащ» пребывал в таком смятенном расположении духа.

А произошло следующее.

Селлен, если только читатель еще помнит это никому не известное имя, связанное с ничем не примечательными событиями, так вот, Селлен в самый последний момент все-таки представил на выставку свою картину. После того как картину повесили на самом плохом месте, какое только можно себе представить, поскольку автор ее не был награжден королевской медалью и не состоял в Академии, явился «профессор Карл IX». Его прозвали так потому, что он не писал ничего другого, кроме сюжетов из хроники царствования Карла IX, а это немаловажное обстоятельство в свою очередь объясняется тем, что однажды он купил на аукционе бокал, скатерть, стул и пергамент эпохи Карла IX и с тех пор вот уже двадцать лет рисовал только эти предметы, иногда с королем, а иногда без него. За это время он стал профессором и кавалером каких-то орденов, и справиться с ним теперь было нелегко. На выставку он пришел в сопровождении искусствоведа-академика, и взгляд его случайно упал на молчаливого молодого человека из оппозиционного лагеря и его картину.

— Значит, сударь, вы опять здесь? — спросил он, надевая пенсне. — Это и есть новый стиль! Гм! Знаете что, сударь! Послушайте старика! Уберите ее отсюда! Уберите совсем, если не хотите, чтобы я умер! И вы окажете себе самому большую услугу. А что скажет по этому поводу мой дорогой брат?

Дорогой брат высказался в том смысле, что это не картина, а просто какое-то нахальство и как друг он советует молодому человеку переквалифицироваться в маляры.

Кротко, но проникновенно Селлен возразил, что на этом поприще уже подвизается столько народу, что он предпочел путь художника, на котором, оказывается, гораздо легче обрести почет и славу. Этот дерзкий ответ вывел профессора из себя, и он, повернувшись к Селлену спиной, обрушил на него несколько угроз, которые академик разнообразил еще парой обещаний.

Потом начались заседания высокопросвещенной закупочной комиссии при закрытых дверях. А когда двери снова открылись, стало известно, что на деньги, пожертвованные общественностью на развитие отечественного искусства, куплено шесть картин. Выписка из протокола, опубликованная в газетах, гласила:

«Художественное общество купило вчера следующие работы:

1. „Вода и быки“. Пейзаж. Оптовый торговец К.
2. „Густав-Адольф перед сожжением Макдебурга“. Исторический сюжет. Торговец полотном Л.
3. „Сморкающееся дитя“. Жанровая картина. Лейтенант М.
4. „Пароход „Буре“ в гавани“. Морской пейзаж. Диспашер Н.
5. „Деревья и женщины“. Пейзаж. Королевский секретарь О.
6. „Курица с шампиньонами“. Натюрморт. Актер П.».

Эти произведения искусства, которые стоили в среднем по тысяче риксдалеров, потом расхвалил «Серый плащ», уделив им два и три четверти столбца (пятнадцать риксдалеров за столбец), что, в общем, было вполне естественным, однако критик, отчасти чтобы заполнить место, а отчасти дабы вовремя пресечь зло, набросился на новый прискорбный обычай, который все более входит в моду, когда молодые, никому не известные авантюристы, убежавшие из академии и совершенно невежественные, в погоне за сенсацией и с помощью всевозможных уловок пытаются сбить с толку здравомыслящую публику. И, взяв за уши Селлена, он так изничтожил его, что даже его врагам подобные нападки показались несправедливыми, а уж это что-нибудь да значит. Критику, однако, мало было лишить Селлена даже малейшего намека на талант и обозвать жуликом, — он напал на материальное положение Селлена, разругал заведения, где тому приходилось обедать, разругал его скверную одежду, его низкую мораль и нежелание трудиться и в заключение предсказал ему, во имя религии и нравственности, что рано или поздно он все равно попадет на принудительные работы, если только вовремя не возьмется за ум.

Это было чудовищное злодеяние, содеянное корыстолюбием и легкомыслием, и только чудом можно объяснить то, что никто не наложил на себя рук в тот вечер, когда вышел «Серый плащ».

А на следующий день вышел «Неподкупный». Он обратил самое пристальное внимание на то, что общественными деньгами бесконтрольно распоряжается небольшая группа людей, что на последней выставке у настоящих живописцев не было куплено ни одной картины, поскольку закупочная комиссия предпочла им чиновников и предпринимателей, обнаглевших настолько, что они решились конкурировать с профессиональными художниками, у которых нет другой возможности продать свои полотна, и эти разбойники лишь портят вкус у настоящих художников и деморализуют их; в результате их единственным желанием станет научиться писать так же плохо, как те, чьи картины находят покупателя, поскольку они не хотят умереть с голоду. Потом речь зашла о Селлене. Это была первая картина за десять лет, в которой присутствовала человеческая душа; в течение десяти лет живописные полотна создавались лишь красками и кистью; картина Селлена — это честная работа, наполненная вдохновением и экстазом, совершенно самобытная, и ее мог создать лишь тот, кто ощутил дыхание природы. Далее критик предостерегал молодого художника от выступления против стариков, которых он все равно уже превзошел, и призывал его верить и надеяться, потому что у него есть талант и т. д.

«Серый плащ» кипел от злости.

— Вот увидите, этот малый добьется успеха! — воскликнул главный редактор. — Черт побери, зачем нам понадобилось устраивать ему такой разнос! А что, если он действительно добьется успеха? Тогда мы осрамялись!

Однако академик поклялся, что Селлен ни за что не добьется успеха, и в большом смятении отправился домой, кое-что прочитал и написал целый трактат, который неопровержимо доказывал, что Селлен жулик, а «Неподкупный» подкуплен.

«Серый плащ» перевел дух, но тут же получил новый удар.

На другой день утренние газеты сообщили, что его величество купил картину Селлена, «написанный с большим мастерством пейзаж, который вот уже несколько дней привлекает на выставку истинных ценителей живописи».

Над «Серым плащом» разразилась буря, и его трепало, как тряпку на жерди. Возвращаться назад или идти напролом вперед? Чему отдать предпочтение: чести

газеты или чести критики? И главный редактор решил (по приказу директора) пожертвовать критиком и спасти газету. Но как? И тогда вспомнили о Струве, который чувствовал себя как дома в запутанных ситуациях, связанных с газетным делом, и его позвали на помощь. Он моментально разобрался в обстановке и обещал через несколько дней повернуть судно и направить против ветра. Чтобы лучше понять замысел Струве, нужно познакомиться с некоторыми обстоятельствами его биографии. Вечный студент, он занялся журналистикой не по призванию, а по необходимости. Сначала был главным редактором социал-демократического «Знамени народа», потом перебрался в консервативный «Враг крестьян», но когда «Враг» переехал в другой город со всем инвентарем, типографией и главным редактором, он изменил вывеску и стал называться «Другом крестьян», а вместе с тем несколько иную окраску приняли и взгляды сотрудников редакции. Затем Струве продали «Красной шапочке», где благодаря своему близкому знакомству со всеми мыслимыми уловками консерваторов он очень пришепнулся ко двору: так же как и теперь в «Сером плаще», одним из его главных достоинств оказалось знание всех тайн их смертельного врага — «Красной шапочки», а этим знанием он злоупотреблял бессовестно и бесцеремонно.

Реабилитацию «Серого плаща» Струве начал с корреспонденции в «Знамени народа», из которой несколько строк перепечатал «Серый плащ», сообщая о большом наплыве посетителей на выставку. Затем Струве написал в редакцию «Серого плаща» «письмо читателя», в котором разругал критика-академика; письмо сопровождала умиротворяющая приписка от имени редакции, гласившая: «Хотя мы никогда не разделяли мнения нашего уважаемого критика о пейзаже господина Селлена, высоко и по достоинству оцененного публикой, тем не менее мы не можем полностью согласиться и с мнением нашего уважаемого читателя, но поскольку в основе всей нашей деятельности — право каждого изложить свое мнение, хотя бы оно и не совпадало с нашим, то мы не колеблясь публикуем данное письмо».

Итак, лед бы сломан. Струве, который, как известно, писал обо всем, кроме куфийских монет, опубликовал блестящую критическую статью о картине Селлена и подписал ее в высшей степени симптоматично — «Dixi»¹¹. Таким образом, «Серый плащ» был спасен, а с ним, естественно, и Селлен, но последнее не так уж важно.

Глава одиннадцатая **Счастливые люди**

Семь часов вечера. Оркестр в заведении у Бернса играет «Свадебный марш» из «Сна в летнюю ночь», и под его торжественные звуки Олле Монтанус шествует в Красную комнату, где пока еще никого нет. Олле сегодня великолепен. На нем цилиндр, который он в последний раз надевал по случаю конфирмации, новый костюм, хорошие сапоги, он вымыт, свежевыбрит и завит, будто пришел на собственную свадьбу; поверх жилета свисает тяжелая медная цепочка, исчезая в левом жилетном кармане, который явно оттопыривается. На его лице играет солнечная улыбка, и вообще у него такой блаженный вид, будто он хочет осчастливить весь мир, дав ему займы немного денег. Он снимает пальто, которое раньше всегда так тщательно застегивал на все пуговицы, и садится на диван, потом расстегивает пиджак и расправляет белую манишку, так что она с легким треском выгибается, как свод, и

¹¹ Я сказал, я высказался (лат.).

при каждом его движении подкладка на новых брюках и жилете тихо шуршит. По-видимому, это доставляет ему огромное удовольствие, не меньшее, чем поскрипывание его сапог. Он достает часы, свои добрые старые часы, которые целый год и еще месяц отсрочки пролежали в ломбарде, в башне на Риддархольмене, и оба друга бесконечно рады своей вновь обретенной свободе. Что же произошло с этим беднягой, у которого сейчас такой несказанно счастливый вид? Мы знаем, что он не выиграл в лотерею, не получил наследства, не стяжал славы, не обрел того великого счастья, какое не поддается описанию; что же тогда произошло? Очень просто: он получил работу!

И вот появляется Селлен: бархатная куртка, лакированные башмаки, дорожный плед и полевой бинокль на ремне, трость, желтый шелковый галстук, розовые перчатки и цветок в петлице. Спокойный и довольный, как всегда; тяжелые потрясения, какие ему пришлось пережить за последние несколько дней, не оставили ни малейшего следа на его интеллигентном худощавом лице. Вместе с Селленом входит Реньельм, который сегодня молчаливее, чем обычно, ибо знает, что скоро ему придется расстаться со своим покровителем и другом.

— Ну, Селлен, — говорит Олле, — теперь ты счастлив? Не так ли?

— Счастлив? Не болтай ерунды! Просто мне удалось продать свою картину. Первую за пять лет! Не так уж много.

— Но ты же читал газеты. Теперь у тебя есть имя!

— Подумаешь! Стоит ли ломать над этим голову. И не подумай, что такие пустяки меня хотя бы в малейшей степени интересуют. Я прекрасно знаю, сколько мне еще придется пробиваться, прежде чем я чего-нибудь добьюсь. Лет через десять, брат Олле, мы снова поговорим с тобой на эту тему.

Олле верит первой половине этого высказывания и не верит второй и снова трещит манишкой и так шуршит шелковой подкладкой, что привлекает к себе внимание Селлена, который не может удержаться, чтобы не воскликнуть:

— Господи, какой ты сегодня красивый!

— Нет, серьезно? А ты выглядишь как настоящий лев.

И Селлен, постукивая тростью по лакированным башмакам, скромно нюхает цветок в петлице, и вид у него при этом самый безмятежный.

Но вот Олле снова достает часы, прикидывая, скоро ли придет Лунделль, и тогда Селлен в поисках Лунделля оглядывает галерею в бинокль. Потом Олле проводит ладонью по его бархатной куртке, чтобы почувствовать на ощупь, какая она мягкая, так как Селлен уверяет, что это необыкновенно хороший бархат, хоть и стоит совсем недорого. И тогда Олле ничего не остается, как спросить, сколько же стоит куртка, и Селлен отвечает ему и в свою очередь восторгается запонками Олле, сделанными из раковин.

Наконец появляется Лунделль, которому тоже кое-что перепало с пиршественного стола: за ничтожную плату он пишет запрестольный образ для трескольской церкви, однако этот заказ еще не оказал видимого влияния на его внешность, если не считать сияющей физиономии и толстых щек, которые красноречиво говорят о том, что он отнюдь не сидит на голодной диете. Вместе с Лунделлем в комнату входит Фальк, как всегда серьезный, но очень довольный, искренне довольный тем, что справедливость все-таки восторжествовала и талант его друга оценили по достоинству.

— Поздравляю тебя, Селлен, хотя они ведь просто отдали тебе должное, не

больше того, — говорит Фальк, и Селлен соглашается с ним.

— Все эти пять лет я писал не хуже, и надо мной только смеялись, понимаешь, смеялись еще только вчера, а теперь! Черт бы их побрал! Посмотри, какое письмо я получил от этого идиота-профессора, специалиста по Карлу Девятому.

В их глазах возмущение и гнев, им хотелось бы воочию увидеть этого бандита, отделать его как следует и уж по крайней мере изорвать в клочки бумагу, на которой стоит его имя.

— «Мой дорогой господин Селлен!» Нет, вы только послушайте! «От души рад приветствовать Вас», как он перепугался, однако, каналья! «Я всегда ценил Ваш талант», лицемер паршивый! Какой бред! Разорвите письмо и давайте поскорее забудем старого болвана!

Селлен предлагает выпить, он поднимает тост за здоровье Фалька и выражает надежду, что своим пером тот скоро завоюет известность. Фальк в этом не уверен; краснея от смущения, он обещает, что когда-нибудь снова вернется к своим друзьям, но учиться ему придется долго, и пусть они его подождут, если он немного задержится, и он благодарит Селлена за дружбу, которая научила его ни при каких обстоятельствах не терять терпения и спокойно переносить страдания и лишения. А Селлен просит Фалька не болтать глупостей: для того чтобы страдать, когда ничего другого больше не остается, большого умения не требуется, а переносить лишения, когда кроме лишений у тебя все равно ничего нет, тоже доблесть небольшая.

Олле добродушно улыбается, манишка на его груди раздувается от избытка чувств, из-под нее вылезают красные подтяжки, и Олле пьет за здоровье Лунделля и просит его брать пример с Селлена и не забывать ради египетских горшков о земле обетованной, потому что он, безусловно, талантлив, в этом Олле убедился, но талантлив, лишь пока остается самим собой и выражает свои собственные мысли, а когда начинает лицемерить и выражает мысли других, то и пишет хуже других, поэтому запрестольный образ — всего лишь коммерческое предприятие, которое позволит ему в дальнейшем писать только по велению сердца и ума.

Воспользовавшись удобным случаем, Фальк хочет узнать, что думает Олле о себе самом и своем искусстве — это уже давно было для него загадкой, — как вдруг в комнату входит Игберг. Его тут же усаживают за стол и начинают энергично угощать, потому что в эти последние столь бурные дни о нем совсем забыли, и теперь они изо всех сил стараются показать, что это не было вызвано какими-нибудь эгоистическими соображениями. Между тем Олле роется в своем правом жилетном кармане и незаметно, как ему кажется, сует Игбергу в карман свернутую бумажку, и Игберг, очевидно, знает, что это за бумажка, потому что отвечает благодарной улыбкой.

Он поднимает бокал за Селлена и высказывает мнение, что, с одной стороны, он может повторить то, о чем уже не раз говорил: Селлен добился успеха. С другой стороны, можно предположить, что это не совсем так. Селлен еще не достиг высот мастерства, для этого ему понадобятся многие годы, ибо в искусстве все совершается бесконечно долго, это знает сам Игберг, который решительно ничего не добился, и поэтому его никак нельзя заподозрить в том, что он завидует такому признанному мастеру, как Селлен.

Явная зависть, прозвучавшая в словах Игберга, затянула солнечное небо дружеской беседы облаками невысказанной горечи, но все понимали, что причиной этой зависти были долгие годы несбывшихся надежд. Тем большим было удовлетворение Игберга, когда он с покровительственным видом протянул Фальку

только что вышедшую из печати брошюрку, на обложке которой тот с изумлением увидел черное изображение Ульрики-Элеоноры. Игберг сообщил Фальку, что написал брошюру в тот же самый день, когда получил заказ. Смит очень спокойно воспринял отказ Фалька и теперь собирается издать его стихи.

Газовый свет вдруг утратил для Фалька свою яркость, и он погрузился в глубокие раздумья, а сердце билось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Его стихи будут напечатаны, и Смит оплатит эту дорогостоящую операцию. Значит, в его стихах что-то есть! Этой новости было для него достаточно, чтобы ни о чем другом не думать весь вечер.

Быстро пролетели вечерние часы для этих счастливых людей, музыка умолкла, и газовое пламя стало гаснуть; пора было уходить, но было еще слишком рано и расставаться не хотелось, — они отправились гулять по набережной и завели бесконечную философскую беседу, пока не устали и не почувствовали жажду, и тогда Лунделль предложил проводить их к Марии, где им дадут пиво. Они вышли на окраину города и повернули в переулок, упирающийся в забор, за которым находилось табачное поле, прошли по узенькой улице и очутились перед старым двухэтажным каменным домом фасадом на улицу. Над входной дверью усмехались вделанные в стену две головы из песчаника с ушами и подбородками в виде листьев и раковин, а между ними были изваяны меч и топор. Когда-то это было жилище палача. Лунделль, который, очевидно, бывал здесь не раз, постучал в окно нижнего этажа, после чего шторы поднялись, окно приоткрылось и высунувшаяся из него женщина спросила, не Альберт ли это. Когда Лунделль подтвердил это свое *nom de guerre*¹², дверь отворилась, и женщина впустила их в дом, предварительно потребовав с них обещание вести себя тихо, а поскольку такое обещание они охотно дали, то вся Красная комната в полном составе и без дальнейших отлагательств оказалась в гостинной и была представлена Марии под нарочно для этого случая придуманными именами.

Комната была невелика: прежде здесь находилась кухня, и до сих пор в углу еще стояла плита. Из мебели здесь был комод, каким обычно пользуется прислуга: на нем стояло зеркало, обвитое белой муслиновой занавеской; над зеркалом висела цветная литография с изображением распятого на кресте Спасителя, весь комод был заставлен фарфоровыми фигурками и флаконами от духов, кроме того, на нем лежал псалтырь и стояла подставка для сигар, и все это вместе с зеркалом и двумя зажженными стеариновыми свечами составляло как бы маленький домашний алтарь. Над раскладным диваном, который еще не застелили, сидел на лошади Карл XV, обрамленный вырезками из «Отечества» с изображением полицейских — извечных врагов всех магдалин. На окне стояли совсем поблекшие фуксия, герань и мирт — гордый мирт Венеры в прибежище бедности и запустения. На швейном столике лежал альбом с фотографиями. На первой странице — король, на второй и третьей — папа и мама, бедные крестьяне, на четвертой — соблазнитель-студент, на пятой — ребенок и на последней — жених, подмастерье. То была история ее жизни, такая же, как и у многих других. На гвозде возле плиты висели элегантное плиссированное платье, бархатная накидка и шляпка с пером — в этом облике профессиональной чаровницы она выходила завлекать юношей. А она сама? Высокая двадцатичетырехлетняя женщина с довольно заурядной внешностью. Праздность и бессонные ночи придали ее лицу прозрачную белизну, обычно свойственную богатым бездельницам, однако руки

¹² Прозвище (фр.).

Марии еще сохранили следы тяжелого труда, которым она занималась в юности. В красивой ночной сорочке и с распущенными волосами она вполне могла сойти за Магдалину. С виду относительно скромная, она держалась мило, приветливо и вполне прилично.

Общество разделилось на группы: одни продолжали прерванный разговор, другие завели беседу на новую тему. Фальк, теперь считавший себя настоящим поэтом и потому проявлявший интерес ко всему, даже к самому банальному, завел душещипательный разговор с Марией, явно польщенной тем, что с ней обращаются как с человеком. Естественно, речь зашла о том, как и почему она выбрала этот путь. О первом соображении она особенно не распространялась, «тут не о чем и говорить»; тем более мрачными красками расписывала она свою работу служанки, рабскую жизнь под вечную воркотню и брань праздной барыни, жизнь, в которой было только одно: работа, работа, работа. Ну нет, лучше свобода!

— А что, если тебе когда-нибудь эта жизнь надоест?

— Тогда я выйду замуж за Вестергрена.

— А он захочет на тебе жениться?

— Еще как захочет! А я открою лавочку на деньги, которые скопила. Но об этом меня уже столько раз спрашивали... У тебя есть сигары?

— Есть. Вот, пожалуйста. Но мне бы хотелось задать тебе еще несколько вопросов.

Фальк взял альбом и открыл его на странице, где красовался студент; как и все студенты, он носил белый галстук, на коленях у него лежала студенческая шапочка, а выражение лица было несколько неестественное, под Мефистофеля.

— Кто это?

— Один очень хороший малый.

— Твой соблазнитель? Да?

— Замолчи! Я виновата не меньше, чем он. Да ведь это всегда так, мой дорогой, виноваты оба. А вот мой ребенок. Его прибрал господь, оно и к лучшему. Давай поговорим лучше о чем-нибудь другом. Что это за чудак, которого привел Альберт, вон тот, на плите, возле того длинного, что головой достает до трубы?

Олле, о котором в данном случае шла речь, был ужасно смущен тем лестным вниманием, какое было оказано его персоне, и слегка подкрутил свои завитые волосы, которые от неумеренных возлияний начали распрямляться.

— Это дьякон Монссон, — сказал Лунделль.

— Черт возьми, так это поп? Как же я сразу не догадалась по его хитрым глазкам? А знаете, у меня на прошлой неделе был здесь поп! Поди сюда, Массе, дай я погляжу на тебя!

Олле сполз с плиты, сидя на которой подвергал вместе с Игбергом критике категорический императив Канта. Внимание женщин было для него так непривычно, что он сразу помолодел и вихляющей походкой приблизился к очаровательной красавице, на которую уже посматривал одним глазом. Он лихо закрутил усы и, отвесив поклон, какому не учат в школе танцев, очень манерно спросил:

— Вам кажется, фрекен, что я похож на попа?

— Нет, ведь я вижу теперь, что у тебя усы. Но для ремесленника ты слишком хорошо одет... Покажи-ка мне руку... а, так ты кузнец!

Олле почувствовал себя глубоко уязвленным.

— Неужели, фрекен, я такой некрасивый? — взволнованно спросил он.

— Ты ужасно некрасивый! Но ты симпатичный!

— Ах, дорогая фрекен, если бы вы знали, как раните мое сердце. Я никогда не встречал женщины, которой мог бы понравиться, а ведь сколько мужчин еще более некрасивых стали счастливыми; да, поистине женщина — дьявольская загадка, которую никому не дано разгадать, и потому я презираю ее!

— Великолепно, Олле, — донесся голос со стороны трубы, где виднелась голова Игберга. — Великолепно!

Олле вознамерился было снова забраться на плиту, но затронутая им тема слишком уж интересовала Марию, чтобы она дала прерваться их беседе; он задел струну, звук которой был ей хорошо знаком. Она села рядом с Олле, и скоро они погрузились в глубокомысленные рассуждения на вечно живую тему — о женщине и о любви.

Между тем Реньельм, который за весь вечер не проронил ни слова и был еще молчаливее, чем обычно, и никто не мог понять, что с ним происходит, под конец немного оживился и подсел на диван к Фальку. Очевидно, его уже давно мучила какая-то мысль, которую он никак не мог высказать. Он взял стакан и постучал по столу, словно хотел произнести речь, и, когда его соседи замолкли, сказал дрожащим невнятным голосом:

— Господа! Вы считаете меня дураком; я знаю, Фальк, я знаю, ты думаешь, я глуп, но вы еще увидите, ребята, вы увидите, черт побери...

Он возвысил голос и так ударил стаканом по столу, что разбил его вдребезги, а потом откинулся на спинку дивана и тут же заснул.

Эта сцена, ничем особенно не примечательная, тем не менее привлекла внимание Марии. Она встала, прервав разговор с Олле, которого теперь все меньше интересовала чисто абстрактная сторона вопроса.

— Нет, вы посмотрите, какой красивый мальчик! Где вы его взяли? Бедняжка! Ему так хотелось спать! А я и не заметила его!

Мария положила ему под голову подушку и укрыла шалью.

— Какие у него маленькие руки! Не то что у вас, мужланов! А какое лицо! Сама невинность! Как тебе не стыдно, Альберт, это ты спойл его!

Кто его спойл, Лунделль или кто-нибудь другой, в данном случае уже не имело никакого значения — он был смертельно пьян; одно можно было сказать определенно: спаивать его не было никакой необходимости, ибо он постоянно горел желанием заглушить какое-то внутреннее беспокойство, которое словно гнало его от работы.

Лунделлю, однако, не очень понравились замечания о его красивом друге, сорвавшиеся с уст Марии, а все возрастающее опьянение вновь обострило его религиозное чувство, которое слегка притупилось от обильной еды. А поскольку уже все были пьяны, он счел своим долгом напомнить присутствующим о значении этого вечера, о чувствах, которые должна вызывать близкая разлука. Он встал, наполнил стакан пивом, оперся о комод и попросил минуту внимания.

— Милостивые государи, — начал он, но, вспомнив про Магдалину, добавил: — и милостивые государыни. В этот вечер мы ели и пили и, говоря по существу вопроса, делали это с намерением, которое, если отвлечься от всего материального, составляющего лишь низменную, чувственную, животную часть нашего существования, в такую минуту, как эта, когда близится час разлуки... мы видим печальный пример порока, который называется пьянством! И воистину приходит в смятение наше религиозное чувство, когда после вечера, проведенного в компании

друзей, кто-то испытывает потребность поднять тост за человека, доказавшего, что он обладает возвышенным талантом — я подразумеваю Селлена, — но при этом нужно хотя бы в какой-то мере сохранять чувство собственного достоинства. Этот печальный пример, о котором я уже говорил... в высокой степени... дает о себе знать... и поэтому я вспоминаю прекрасные слова, которые всегда будут звучать у меня в ушах, и я убежден, что мы все помним те замечательные слова, хотя здесь не самое подходящее место, где их можно произнести. Этот молодой человек, павший жертвой порока, который называется пьянством, к сожалению, пролез в наше общество, что, короче говоря, привело к более печальным последствиям, чем можно было предполагать. Твое здоровье, мой благородный друг Селлен, желаю тебе всего того счастья, которого заслуживает твое благородное сердце, а также твое здоровье, Олле Монтанус. Фальк — тоже благородный человек, который добьется многого, когда его религиозное чувство окрепнет настолько, что станет соответствовать твердости его характера. Я не называю Игберга, ибо он уже выбрал свою стезю, и я желаю ему всяческого успеха на поприще, на котором он так блистательно сделал первые шаги, на поприще философии; это трудное поприще, и я говорю, как псалмопевец: кто знает, что ожидает нас впереди? И тем не менее у нас есть все основания уповать на будущее, и я верю, что мы можем надеяться на лучшее, но лишь при условии, что не изменим чистоте наших помыслов и не возмечтаем о гнусной наживе, ибо, милостивые государи, человек без веры есть скот. Поэтому я предлагаю поднять стаканы и выпить их до дна за все благородное, прекрасное и честное, к чему мы стремимся. Ваше здоровье, господа!

Религиозное чувство все сильнее овладевало Лунделлем, и друзья стали подумывать о том, что пора уходить.

Сквозь штору уже давно пробивался дневной свет, изображенный на ней пейзаж с рыцарским замком и юной девой озаряли первые лучи утреннего солнца. Когда штору подняли, солнце залило комнату, осветив тех, что находились ближе к окну: они были похожи на трупы. На лицо Игберга, спавшего на плите со стаканом в руках, помимо солнечных лучей падали красноватые отблески стеариновой свечи, и это создавало совершенно удивительную игру красок. А Олле произносил тосты за женщину, за весну, за солнце, за вселенную и даже открыл окно, чтобы дать простор своим чувствам. Спящих растолкали, попрощались с хозяйкой, и вся компания вышла на улицу. Когда они сворачивали в переулок, Фальк обернулся: у окна стояла Магдалина; солнце озаряло ее белое лицо, а длинные черные волосы, окрашенные его лучами в темно-красный цвет, ниспадали на шею и кровавыми ручейками стекали вниз, на улицу; над ее головой нависли меч и топор и две физиономии оскалились в злобной ухмылке; а на другой стороне переулочка на яблоне сидела черно-белая мухоловка и распевала свою незамысловатую песенку, радуясь тому, что ночь прошла и наступило утро.

Глава двенадцатая **Страховое общество «Тритон»**

Леви, молодой человек, которому от рождения была уготована карьера коммерсанта, подумывал о том, как бы получше устроиться при поддержке богатого отца, когда тот неожиданно умер, не оставив после себя ничего, кроме необеспеченной семьи. Молодой человек понял, что жестоко просчитался в своих

ожиданиях; он достиг того возраста, когда, по его мнению, уже можно перестать работать самому и заставить других работать на себя; ему исполнилось двадцать пять лет, и у него была очень выгодная внешность; широкие плечи при полном отсутствии бедер позволяли ему чрезвычайно эффектно носить сюртук на манер иностранных дипломатов, которыми он не раз восхищался; широкая грудь элегантно вырисовывалась под манишкой с четырьмя пуговицами, упруго приподнимая ее, даже когда он опускался в глубокое кресло в конце длинного стола, за которым заседало правление; аккуратно расчесанная окладистая борода придавала его лицу привлекательность и внушающий доверие вид; маленькие ноги были словно созданы для того, чтобы ступать по брюссельскому ковру в кабинете директора, а холеные руки более всего подходили для какой-нибудь легкой работы, особенно такой, как подписывание бумаг, предпочтительно печатных формуляров.

В то памятное время, которое сейчас называют добрым, хотя на самом деле для многих оно оказалось в достаточной мере злым, было сделано великое, пожалуй даже, величайшее открытие века, смысл которого сводится к тому, что на чужие деньги жить гораздо проще и приятнее, чем на заработанные своим трудом. Многие, очень многие воспользовались этим открытием, и поскольку оно не было защищено патентом, пусть никого не удивляет, что Леви тоже поспешил обратить его себе на пользу, ибо у него самого не было денег, так же как и не было желания работать на чужую для него семью. И вот в один прекрасный день он надел свой лучший костюм и отправился к дядюшке Смигу.

— Так, значит, у тебя есть идея, ну что ж, послушаем! Хорошо, когда возникают идеи!

— Я хочу основать акционерное общество.

— Прекрасно! Арон будет главным бухгалтером, Симон — секретарем, Исаак — кассиром, а остальные братья счетоводами, прекрасная идея. Ну, дальше! И что же это за акционерное общество?

— Акционерное общество морского страхования.

— Так, так! Превосходно! Все должны страховать свои вещи, когда совершают морское путешествие. Но в чем заключается твоя идея? Ну?

— Это и есть моя идея.

— Никакая это не идея! У нас уже есть крупное акционерное общество «Нептун», которое тоже занимается морским страхованием. Хорошее общество. Но если ты хочешь конкурировать с ним, твое должно быть еще лучше. Чем твое общество будет отличаться от «Нептуна»?

— А, теперь понимаю. Я понижу страховую премию, и тогда все клиенты «Нептуна» перейдут ко мне.

— Так! Вот это идея. Итак, проспект, который я, естественно, напечатаю, начинается с такой преамбулы: «В связи с давно назревшей необходимостью снизить премии при морском страховании и покончить раз и навсегда с отсутствием здоровой конкуренции в этой важной отрасли экономики, нижеподписавшиеся имеют честь предложить акции общества...» Какого общества?

— «Тритон»!

— «Тритон»? Это еще кто такой?

— Это морское божество!

— А, хорошо! «Тритон»! Хорошая получится вывеска! Закажешь ее у Рауха в Берлине, а мы потом воспроизведем ее на отдельной полосе в «Нашей стране». Так!

Нижеподписавшиеся! Да! Начнем с меня. Но нужны громкие имена. Дай-ка мне государственный календарь. Так!

В течение некоторого времени Смит перелистывал страницы.

— В правление акционерного общества морского страхования обязательно должен входить высокопоставленный морской офицер. Ну-ка, давай посмотрим! Нам нужен адмирал!

— Но ведь у адмиралов нет денег!

— Ай-ай-ай! Как мало ты смыслишь в серьезных делах, мой мальчик! Они не платят денег, а лишь ставят свои подписи и получают свою долю прибыли за то, что сидят на заседаниях и директорских обедах! Так! Вот тебе на выбор два адмирала. Один из них кавалер ордена Полярной звезды, а другой кавалер русского ордена святой Анны. Что будем делать? Так! Возьмем русского, потому что Россия — страна с хорошо налаженным морским страхованием.

— Думаете, дядюшка, они согласятся?

— Лучше помолчи! Еще нам нужен министр! Так! Его величают ваше превосходительство. Хорошо! И еще нужен граф! Вот это уже потруднее. У графов денег хоть отбавляй. Придется взять и профессора! У них мало денег. Есть профессора по мореплаванию? Такой бы нам очень пригодился для дела! Да, так! С этим все ясно. Ах да, забыл самое главное. Нужен юрист! Член верховного суда. Так! Юрист у нас есть!

— Да, есть, но у нас пока что нет денег!

— Денег? Зачем тебе деньги, когда ты учреждаешь акционерное общество? Разве тебе не заплатит тот, кто страхует свой груз? Заплатит. Или, может быть, мы будем платить за него? Не будем! Значит, он сам заплатит свою страховую премию. Так!

— А основной фонд?

— Что основной фонд? Выпустим облигации на сумму, равную основному фонду.

— Да, но какую-то сумму все-таки надо платить наличными?

— Вот этими облигациями мы и уплатим как наличными. Разве они не годятся к платежу? Если я даю тебе облигацию на какую-то сумму, ты получишь в обмен на нее деньги в любом банке. Ведь облигация — это все равно что деньги. В каком законе сказано, что наличные деньги — это только банкноты? Следовательно, наличными можно считать не одни лишь банковые билеты. Так?

— Какую сумму примерно должен составлять основной фонд?

— Очень небольшую! Не надо вкладывать слишком больших капиталов. Один миллион! Из которого только триста тысяч выплачиваются наличными, а остальное — облигациями.

— Но, но, но! Триста-то тысяч риксдалеров должны быть в банкнотах.

— О господи! В банкнотах? Но деньги — это не только банкноты. Есть у тебя банкноты — хорошо, нет — обойдешься! Так! Значит, надо заинтересовать людей с небольшим доходом, у них есть только банкноты.

— А богатые? Чем они расплачиваются?

— Акциями, облигациями государственных займов, чеками, разумеется. Со временем все так и будет. Сейчас пусть они только поставят свои подписи, а об остальном мы позаботимся сами.

— Говоришь, только триста тысяч? Но ведь столько стоит один лишь большой пароход? А если застрахуют тысячу пароходов?

— Тысячу? У «Нептуна» в прошлом году было сорок восемь тысяч страхований, и, как видишь, он процветает.

— Тем хуже для нас! Ну, а если катастрофа...

— Тогда ликвидируем!

— Ликвидируем?

— Ну, объявляем банкротство! Это так называется. А что происходит, когда акционерное общество терпит банкротство? Не ты же обанкротился, и не я, и не он! Иногда в таких случаях пускают в продажу новые акции или, скажем, облигации, которые в трудную минуту может за хорошую цену выкупить государство.

— Значит, риска никакого?

— Ни малейшего! И вообще, чем ты рискуешь? У тебя есть хоть одно эре? Нет! Так! Чем я рискую? Пятьюстами риксдалерами! Я куплю не больше пяти акций. Понятно? Пятьсот риксдалеров — с меня достаточно!

Он взял понюшку табаку, и разговор был завершен.

Хоть это и кажется невероятным, но акционерное общество «Тритон» действительно было учреждено и за десять лет своей деятельности давало соответственно по годам шесть, десять, десять, одиннадцать, двадцать, одиннадцать, пять, десять, тридцать шесть и двадцать процентов прибыли. Акции шли нарасхват, и для расширения дела были выпущены новые акции, но сразу после этого состоялось общее собрание акционеров, на котором присутствовал в качестве сверхштатного корреспондента «Красной шапочки» и Арвид Фальк.

Когда в этот солнечный июньский день он вошел в Малый зал биржи, он уже кишел народом. Здесь собралось блестящее общество. Государственные деятели, великие умы, ученые, военные и чиновники высшего ранга; мундиры, докторские фраки, орденские звезды и орденские ленты; всех их призвал сюда общий всепоглощающий интерес к такому замечательному порождению человеколюбия, каким является морское страхование. И нужно действительно обладать большим человеколюбием, чтобы рисковать деньгами ради своих ближних, потерпевших бедствие, и этого человеколюбия здесь было предостаточно. Фальку еще никогда не приходилось наблюдать подобного скопления любви в таких огромных количествах. Он был почти удивлен, глядя на открывшуюся ему картину, хотя и лелеял еще кое-какие иллюзии на этот счет. Но еще более он удивился, увидев бывшего социал-демократа Струве, плюгавого мерзавца, который ползал в толпе, словно некое гадкое насекомое, а высокопоставленные персоны кивали ему, пожимали руку, хлопали по плечу и даже заговаривали с ним. С особым интересом Фальк наблюдал, как со Струве поздоровался какой-то пожилой господин с орденской лентой через плечо, причем Струве почему-то покраснел и спрятался за чьей-то расшитой спиной, после чего оказался рядом с Фальком, который не замедлил спросить, с кем это он поздоровался. Замешательство Струве еще более усилилось, и ему понадобилась вся его наглость, чтобы ответить: «А тебе следовало бы знать: это председатель Коллегии выплат чиновничьих окладов».

Сказав это, он под каким-то благовидным предлогом ретировался в дальний конец зала, но так поспешно, что у Фалька мелькнуло подозрение: «Уж не стесняется ли он моего общества?» Бесчестный человек стеснялся показаться в обществе человека честного?

Наконец почтенное собрание начало рассаживаться по местам. Однако кресло председателя все еще оставалось пустым. Фальк поискал глазами стол для

корреспондентов и, увидев, что Струве вместе с корреспондентом «Консерватора» сидит за столом справа от секретаря, набрался храбрости и направился туда через весь зал; но едва он дошел до стола, как его остановил секретарь, который спросил: «Какая газета?»»

На мгновение в зале воцарилась мертвая тишина, и дрожащим голосом Фальк ответил: «Красная шапочка», потому что секретарем оказался актуарий Коллегии выплат чиновничьих окладов.

Сдавленный ропот пробежал по залу, после чего секретарь громко сказал: «Ваше место там», и показал на дверь, возле которой действительно стоял маленький столик. В один миг Фальк постиг и осознал, что значит быть консерватором и что значит быть журналистом, но не консерватором, и, весь кипя от возмущения, двинулся обратно сквозь ухмыляющуюся толпу; но, окидывая ее своим горящим взглядом, словно бросая ей вызов, он вдруг встретил взгляд, устремленный на него издалека, от самой стены, и эти глаза, которые теперь потухли, но когда-то смотрели на него с нежностью, были зеленые от злобы и вонзались в него как иглы, и он чуть не расплакался при мысли, что брат может так смотреть на брата.

Он не ушел, а занял свое скромное место у дверей только потому, что не хотел обращаться в постыдное бегство. Скоро его вывел из состояния мнимого покоя какой-то господин, который вошел в зал и, снимая пальто, толкнул его в спину, а потом поставил ему под стул свои галоши. Зал приветствовал вошедшего, поднявшись как один человек. Это был председатель правления страхового общества «Тритон» — но не только. Он был бывший председатель риксдага, барон, член Шведской академии, его превосходительство, кавалер королевского ордена... и прочее.

Стукнул председательский молоток, и при гробовом молчании всего зала председатель шепотом зачитал приветственную речь следующего содержания (такую же речь он недавно произнес на заседании Каменноугольного акционерного общества в помещении ремесленного училища):

— Милостивые государи! Среди всех патриотических и наиболее благотворных для человечества институтов лишь немногие, если вообще таковые есть, носят такой благородный и целеустремленно гуманный характер, как институт страхования.

— Браво, браво! — пронеслось по залу, что, впрочем, не произвело особого впечатления на председателя.

— Что такое человеческая жизнь, как не смертельная борьба, если можно так выразиться, с силами природы, и почти каждому из нас рано или поздно приходится вступить в эту борьбу.

— Браво!

— В течение долгого времени, особенно на первобытной стадии своего развития, человек был легкой добычей для стихии, мячиком, перчаткой, которую, как тростинку, ветер бросает из стороны в сторону. Но теперь все изменилось! Да, да, все изменилось. Человек совершил революцию, бескровную революцию, не такую, какую много раз пытались совершить потерявшие честь и совесть изменники родины против своих законных правителей, нет, он выступил против сил природы! Он объявил войну силам природы и сказал: «Здесь граница, которую вам не перейти!»

— Браво! Браво! (Аплодисменты.)

— Коммерсант отправляет в море свое судно, пароход, бриг, шхуну, барк, яхту, все, что угодно. Шторм топит судно... да! Коммерсант говорит: «Пожалуйста, топи!» Он ничего не теряет! В этом и заключается великий смысл или идея страхования. Вы

только подумайте, милостивые государи, коммерсант объявил шторму войну — и коммерсант победил.

Буря возгласов «браво» вызвала победоносную улыбку на губах великого человека, и, судя по его виду, на этот раз буря доставила ему удовольствие.

— Однако, милостивые государи, мы не должны считать институт страхования коммерческим предприятием! Это не коммерческое предприятие, а мы не коммерсанты, ни в коем случае! Мы лишь собрали деньги, которыми готовы рискнуть, не правда ли, милостивые государи?

— Правда, правда!

— Мы собрали деньги, сказал я, чтобы всегда быть готовыми оказать помощь человеку, которого постигло несчастье, ибо тот процент, всего-навсего один, если я не ошибаюсь, который он оплачивает, даже нельзя назвать платежом, и потому его весьма справедливо называют премией, хотя и не в том смысле, будто мы хотим получить какое-то вознаграждение — премия означает вознаграждение — за те маленькие услуги, которые мы оказываем, я со своей стороны хочу это подчеркнуть, исключительно в интересах дела, и я повторяю: я не верю, будто у кого-нибудь из вас могут явиться сомнения, об этом не может быть и речи, или он может пожалеть, что его взнос, который я теперь назову акциями, будет использован в интересах дела.

— Нет! Нет!

— Предоставляю слово директору, который прочтет годовой отчет.

Директор встал. Он был бледен, словно попал в бурю; его широкие манжеты с запонками из оникса не могли скрыть легкое дрожание рук, а хитрые глазки искали утешение и силу духа на бородатой физиономии Смита; он распахнул сюртук и расправил грудь, прикрытую широкой манишкой, как бы подставляя ее под пущенные в него стрелы — и начал читать:

— Воистину удивительны и неисповедимы пути провидения... Услышав о «путях провидения», многие из собравшихся в зале побледнели, а председатель возвел глаза к потолку, словно приготовился принять роковой удар (убыток в размере двухсот риксдалеров).

— Недавно закончившийся страхового года навеки останется в анналах истории как крест на могиле тех бедствий, которые презрели предусмотрительность мудрейших и опровергли расчеты осторожнейших.

Председатель прикрыл глаза рукой, будто молился, однако Струве решил, что ему мешает белая стена за окном, и бросился опускать шторы, но его опередил секретарь. Докладчик выпил стакан воды. Это вызвало взрыв нетерпенья.

— Ближе к делу! Цифры!

Председатель отнял руку от лица и удивился, что в зале стало темнее, чем секунду назад. Минутное замешательство, и уже начинается буря. Собрание утратило всякое чувство такта.

— Ближе к делу! Продолжайте!

Директору пришлось перескочить через несколько заранее подготовленных фраз и сразу перейти к существу вопроса:

— Хорошо, милостивые государи, я буду краток!

— Да продолжайте же, черт возьми!..

Стукнул председательский молоток.

— Господа. — В этом одном-единственном «господа» было столько от Рыцарского замка, что собравшиеся тут же вспомнили об уважении, с каким должны

относиться хотя бы к самим себе.

— В отчетном году наше страховое общество несло ответственность округленно за сто шестьдесят девять миллионов риксдалеров.

— О, о!

— В виде страховых премий оно получило еще полтора миллиона.

— Браво!

Фальк быстро сделал небольшой расчет и обнаружил, что, если вычесть все премиальные поступления — полтора миллиона — и весь основной фонд — один миллион (как это и было на самом деле), то остается еще около ста шестидесяти миллионов, за которые у общества хватает наглости нести ответственность, и он начал постигать истинный смысл слов о неисповедимых путях провидения.

— В возмещение убытков, к моему большому прискорбию, обществу пришлось выплатить один миллион семьсот двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят риксдалеров восемь эре.

— Позор!

— Как видите, милостивые государи, провидение...

— Оставьте в покое провидение! Цифры! Цифры! Дивиденд!

— Пребывая в достойной всяческого сожаления роли директора, с глубокой болью и огорчением вынужден сообщить, что при нынешней неблагоприятной конъюнктуре я не могу предложить иного дивиденда, кроме пяти процентов с вложенного капитала.

Вот теперь разразилась настоящая буря, которую не сумел бы победить ни один коммерсант в мире.

— Позор! Наглецы! Мошенники! Пять процентов! Черт побери, лучше уж просто взять да и подарить кому-нибудь свои деньги!

Однако раздавались и более человеколюбивые высказывания примерно такого содержания: «Ах, эти бедные мелкие капиталисты, которым не на что жить, кроме как на жалкие проценты со своего капитала. И что с ними только будет! Господи, какое несчастье! Государство должно как можно скорее прийти к ним на помощь. О! о!»

Когда докладчик получил наконец возможность продолжать, он зачитал от имени правления панегирик в честь директора и всех служащих общества, которые «не жалея сил и с безграничным усердием занимались неблагодарной работой и т. д.». Это вызвало откровенный смех всего собрания.

Далее был зачитан доклад ревизионной комиссии. Комиссия, еще раз напомнив о провидении, пришла к выводу, что дела находятся в полном, чтобы не сказать идеальном, порядке, инвентаризация не обнаружила никаких упущений (!), связанных с финансовыми обязательствами по гарантийному фонду, на основании чего комиссия предлагает полностью освободить правление от финансовой ответственности и выразить ему благодарность за честный и тяжелый труд.

От финансовой ответственности правление, естественно, было освобождено. Затем директор заявил, что считает невозможным принять причитающуюся ему тантьему (сто риксдалеров) и передает ее в резервный фонд. Это заявление было встречено аплодисментами и смехом. После короткой вечерней молитвы, а вернее смиренной мольбы, чтобы на будущий год провидение даровало «Тритону» двадцать процентов прибыли, председатель объявил заседание закрытым.

Глава тринадцатая

Пути провидения

В тот самый день, когда Карл Фальк отправился на заседание акционеров страхового общества «Тритон», госпоже Фальк принесли новое голубое бархатное платье, которым ей сразу же захотелось авансом позлить жену ревизора Хумана, что жила прямо напротив, по другую сторону улицы. И не было ничего легче и проще, ибо для достижения этой цели ей нужно было только появиться в окне, а для этого она могла воспользоваться тысячью поводов, поскольку надзирала за приготовлениями, посредством которых намеревалась «сразить» своих гостей, приглашенных на заседание к семи часам. Правление детских яслей «Вифлеем» должно было заслушать первый месячный отчет. В его составе были жена ревизора Хумана, который, как считала госпожа Фальк, очень заносился, потому что служил чиновником, и ее милость госпожа Реньельм, которая тоже заносилась, потому что была дворянкой, и пастор Скорее, который был духовником во всех знатных домах, и уже потому его следовало сразить, так что все правление нужно было во что бы то ни стало сразить самым эффективным и обходительным способом из всех возможных. Подготовка к спектаклю началась еще с большого званого вечера, когда вся старая мебель, которая не была антиквариатом и не обладала художественной ценностью, оказалась забракованной и была заменена новой. Главные действующие лица, по замыслу госпожи Фальк, появятся лишь в конце вечера, когда господин Фальк привезет домой адмирала — он обещал супруге как минимум адмирала, в мундире и с орденами, — после чего Фальк и адмирал попросят принять их в члены правления яслей и Фальк пожертвует на ясли часть той суммы, которая на него как с неба свалилась в качестве дивиденда в страховом обществе «Тритон».

Покончив с делами, какие нужно было улаживать у окна, супруга начала приводить в порядок отделанный перламутром стол розового палисандрового дерева, за которым члены правления заслушают годовой отчет. Она стерла пыль с агатовой чернильницы, положила на черепаховую подставку ручку с серебряным пером, повернула печатку с хризопразовой ручкой таким образом, чтобы не было видно купеческой фамилии, и осторожно встряхнула изготовленную из тончайшей проволоки шкатулку для денег, чтобы можно было прочесть стоимость хранившихся в ней ценных бумаг (ее личные деньги на мелкие расходы), после чего отдала последние распоряжения лакею, одетому в парадное платье. Затем она уселась в гостиной, приняв беззаботный вид, чтобы вдруг с удивлением услышать о приходе ее подруги-ревизорши, которая наверняка явится первая, как, впрочем, и оказалось на самом деле. Госпожа Фальк обняла Эвелину и поцеловала в щеку, а госпожа Хуман обняла Эжени, которая встретила ее в столовой, где задержала ненадолго, чтобы спросить ее мнение относительно новой мебели. Однако ревизорша не захотела останавливаться возле похожего на старинную крепость буфета времен Карла XII с высокими японскими вазами, поскольку чувствовала себя сраженной наповал; зато она обратила внимание на люстру, которая показалась ей слишком современной, и на обеденный стол, который, по ее мнению, выбивался из общего стиля; кроме того, она полагала, что олеографиям не место среди фамильных портретов, и ей понадобилось изрядное количество времени, чтобы растолковать госпоже Фальк разницу между написанной маслом картиной и ее цветной репродукцией. Госпожа Фальк то и дело задевала мебель, пытаясь шуршанием своего нового бархатного платья привлечь к нему внимание подруги, но все было тщетно. Потом она спросила госпожу Хуман, как

ей нравится новый брюссельский ковер в гостиной, который та нашла слишком кричащим рядом с гардинами, и тогда госпожа Фальк не на шутку рассердилась и вообще перестала о чем-либо спрашивать.

В гостиной они сели за стол и тотчас же ухватились за спасательный круг в виде старых фотографий, сборников стихов и так далее. Потом в руки ревизорши попал небольшой лист розовой бумаги с золотым обрезом, на котором было напечатано: «Оптовому торговцу Николаусу Фальку в день его сорокалетия».

— О, да ведь это стихи, которые читали на том вечере. А кто их автор?

— Один очень талантливый человек. Хороший приятель моего мужа. Его зовут Нистрем.

— Гм! Странно, но я никогда не слышала этого имени. Какой талант! А почему его не было на вечере?

— К сожалению, он заболел, моя дорогая, и не смог прийти.

— Понятно! Ах, дорогая Эжени, какая ужасная история вышла с твоим деверем. Ему сейчас приходится несладко!

— Ради бога, не говори о нем; это позор и несчастье всей семьи; просто кошмар какой-то!

— Да, ты знаешь, было действительно крайне неприятно, когда гости подходили и расспрашивали о нем. Моя дорогая Эжени, представляю, как тебе было стыдно.

Это тебе за буфет времен Карла XII и японские вазы, думала ревизорша.

— Мне стыдно? Извини, пожалуйста, ты хотела сказать, моему мужу было стыдно? — возразила госпожа Фальк.

— Я полагаю, это то же самое!

— Нет, это совсем не то же самое! Я не могу быть в ответе за всех шалопаев, с которыми мой супруг имеет удовольствие быть в родстве.

— Ах, вот жалость, что в тот вечер твои родители тоже были больны. Как себя чувствует сейчас твой дорогой папа?

— Спасибо, хорошо! Очень мило с твоей стороны, что ты обо всех помнишь.

— Нельзя же думать только о себе. Он что, немного прихварывает, этот старый... Как мне называть его?

— Капитан, если тебе угодно.

— Капитан? Помнится, мой муж называл его флаг-шкипером, но это, вероятно, одно и то же. И никого из девиц на вечере тоже не было.

Это тебе за брюссельский ковер, думала ревизорша.

— Да, их не было! Они до того капризны, что на них никогда нельзя рассчитывать.

Госпожа Фальк с таким ожесточением листала альбом с фотографиями, что корешок переплета жалобно потрескивал. Она багровела от злости.

— Послушай, моя маленькая Эжени, — продолжала ревизорша, — как звали того неприятного господина, который читал на вечере стихи?

— Ты имеешь в виду Левина, королевского секретаря Левина? Это ближайший друг моего мужа.

— Правда? Гм! Как странно! Мой муж занимает должность ревизора в том же самом ведомстве, где Левин служит нотариусом, я, конечно, не хочу тебя огорчать или говорить неприятные вещи, я никогда не говорю людям то, что их может расстроить, но мой муж утверждает, что дела его плохи и он, безусловно, не слишком подходящее общество для твоего супруга.

— Он так считает? Мне об этом ничего не известно, и я ничего не собираюсь выяснять, потому что, моя дорогая Эвелина, я никогда не вмешиваюсь в дела моего мужа, хотя некоторые только этим и занимаются.

— Извини, дорогая, но я думала оказать тебе услугу, сообщив об этом.

А это тебе за люстру и обеденный стол! Остается еще бархатное платье!

— Кстати, — снова заговорила добрая ревизорша, — кажется, твой деверь...

— Пощади мои чувства, ни слова больше об этом аморальном человеке!

— Он действительно аморален? Я слышала, он общается с самыми ужасными людьми, хуже которых нет...

И тут к госпоже Фальк пришло спасение: лакей доложил о приходе ее милости госпожи Реньельм.

О, какая это была желанная гостья! И как мило с ее стороны оказать им эту честь!

И действительно она была очень милой, эта пожилая дама с добрым лицом, какое бывает только у тех, кто с истинным мужеством перенес не одну житейскую бурю.

— Дорогая госпожа Фальк, — сказала ее милость, присаживаясь, — хочу передать вам привет от вашего деверя!

Госпожа Фальк недоумевала, чем она могла так досадить госпоже Реньельм, что та ни с того ни с сего тоже решила уколоть ее, и ответила немного обиженно:

— Правда?

— О, это очень приятный юноша; он был сегодня у нас, заходил навестить моего племянника; они такие хорошие друзья! Он действительно очень приятный молодой человек.

— Совершенно с вами согласна, — отозвалась ревизорша, которая никогда не терялась при изменении обстановки на фронте. — Мы как раз говорили о нем.

— Вот как! И что меня больше всего восхищает в этом молодом человеке, так это мужество, с каким он ступил на новое для себя поприще, на котором так легко сесть на мель; но за него можно не бояться, потому что у него есть характер и принципы, вы согласны со мной, дорогая госпожа Фальк?

— Я всегда утверждала то же самое, но мой муж придерживается другого мнения.

— Ах, у твоего мужа, — вмешалась ревизорша, — всегда какое-нибудь особое мнение.

— Так вы говорите, — с большой заинтересованностью спросила госпожа Фальк, — что он дружен с племянником вашей милости?

— Да, у них небольшой кружок, в котором есть и художники. Вы, верно, читали про молодого Селлена, чью картину приобрел его величество король?

— Конечно, мы были на выставке и видели ее. Он тоже в их кружке?

— Разумеется! И порой им приходится очень нелегко, этим молодым людям, как, впрочем, всегда бывает с молодежью, когда она хочет чего-нибудь добиться в жизни.

— Я слышала, твой деверь поэт? — спросила ревизорша.

— Да, поэт; гм! Он прекрасно пишет и в этом году получил премию академии. Со временем он станет великим поэтом, — убежденно сказала госпожа Фальк.

— А разве я не говорила этого всегда? — подтвердила ревизорша.

Теперь Арвида Фалька расхваливали на все лады; еще немного — и он очутился бы в храме славы, но тут лакей доложил о пасторе Скорре. Пастор вошел торопливыми шагами и торопливо поздоровался с дамами.

— Извините за опоздание, но у меня всего несколько свободных минут; в половине девятого я должен быть на собрании у графини фон Фабелькранц, и я

пришел к вам прямо из редакции.

— О, господин пастор, неужели вы так спешите?

— Увы, да; моя обширная деятельность не оставляет мне ни минуты покоя. Поэтому, может быть, мы сразу перейдем к делу?

Лакей принес на подносе чай и прохладительные напитки.

— Не угодно ли вам, господин пастор, выпить сначала чашечку чая? — спросила хозяйка, снова испытывая легкое разочарование.

Пастор быстрым взглядом окинул поднос.

— Благодарю вас, но я лучше выпью пунш. Я взял себе за правило, дорогие дамы, внешне ничем не отличаться от своих ближних. Все люди пьют пунш; я не люблю этого напитка, но не хочу, чтобы про меня говорили, что я лучше других; тщеславие — порок, который я ненавижу! Разрешите, я зачитаю отчет.

Он уселся за стол, обмакнул перо в чернила и начал:

— Отчет правления детских яслей «Вифлеем» о пожертвованиях, поступивших в мае месяце сего года. Подписали: Эжени Фальк. Урожденная... разрешите спросить...

— Ах, это неважно, — заверила пастора госпожа Фальк.

— Эвелина Хуман. Урожденная... будьте добры...

— Фон Бэр, дорогой господин пастор.

— Антуанетта Реньельм. Урожденная, если будет угодно вашей милости...

— Реньельм, господин пастор.

— Ах да, вышла замуж за кузена, супруг умер, детей нет! Продолжаем!

Пожертвования...

Всеобщее (почти всеобщее) замешательство.

— Но, господин пастор, — спросила ревизорша, — разве вы не подпишетесь?

— Ах, милые дамы, я так боюсь прослыть тщеславным, но если вы настаиваете, то пожалуйста. Вот! Натанаель Скорее.

— Ваше здоровье, господин пастор, и, прежде чем мы начнем нашу работу, давайте немножко выпьем, — сказала хозяйка с очаровательной улыбкой, которая тут же погасла, когда она заметила, что стакан пастора уже пуст; ей пришлось снова наполнить его.

— Благодарю вас, дорогая госпожа Фальк, но нам следует быть воздержаннее. Итак, начнем! Не угодно ли вам заслушать отчет? Пожертвования: ее величество королева — сорок риксдалеров. Графиня фон Фабелькранц — пять риксдалеров и пара шерстяных чулок. Оптовый торговец Шалин — два риксдалера, пачка конвертов, шесть карандашей и бутылка чернил. Фрекен Аманда Либерт — бутылка одеколona. Фрекен Анна Фейф — пара манжет. Маленькая Калл — двадцать пять эре из копилки. Госпожа Иоханна Петтерссон — полдюжины носовых платков. Фрекен Эмили Бьерн — Новый завет. Хозяин продовольственной лавки Перссон — пакет овсяной крупы, четыре килограмма картофеля и банка маринованного лука. Торговец Шейке — две пары шерстяных...

— Господа! — прервала его госпожа Реньельм. — Разрешите задать вам вопрос: вы полагаете, что все это будет опубликовано в печати?

— Разумеется, — ответил пастор.

— Тогда я выхожу из правления.

— Неужели вы считаете, ваша милость, что общество сможет существовать на добровольные пожертвования, если имена жертвователей не будут опубликованы? Нет, не сможет!

— И значит, под видом благотворительности будет процветать гадкое тщеславие?

— Нет, нет, совсем не так! Тщеславие — зло, согласен; но мы превращаем это зло в добро, в благотворительность, что же в этом плохого?

— Но нельзя же называть красивыми именами то, что по сути своей гадко; это лицемерие!

— Вы слишком строги, ваша милость! Священное писание учит, что нужно уметь прощать; простите же им их тщеславие!

— Да, господин пастор, им я прощаю, но не самой себе. Допустим, то, что несколько праздных женщин превращают благотворительность в развлечение, еще можно простить, но называть чуть ли не подвигом то, что на самом деле доставляет удовольствие, очень большое удовольствие, потому что обеспечивает известность, и притом самую широкую известность, посредством публикации в печати, — это просто позор.

— Неужели? — возразила госпожа Фальк со всей силой своей непостижимой логики. — Неужели позорно творить добро?

— Нет, мой дружок, но писать в газетах о том, что кто-то подарил кому-то пару шерстяных чулок, — это гнусно.

— Но подарить пару шерстяных чулок значит творить добро, и таким образом получается, что творить добро — это гнусно...

— Нет, гнусно писать об этом, дитя мое, понимаете? — пыталась втолковать ее милость упрямой хозяйке, которая, однако, не сдавалась и упорно повторяла:

— Значит, гнусно писать об этом! Но Библию тоже написали, и, следовательно, те, что ее написали, поступили гнусно...

— Господин пастор, будьте добры, продолжайте читать отчет, — прервала ее госпожа Реньельм, несколько раздосадованная той бестактной манерой преподносить свои благоглупости, которая отличала госпожу Фальк. Однако госпожа Фальк не сложила оружия:

— Значит, вы, ваша милость, считаете ниже своего достоинства обмениваться мнениями с такой ничтожной личностью, как я...

— Нет, дитя мое, оставайтесь при своем мнении, я просто не хочу спорить.

— Кажется, это называется дискуссией? Господин пастор, разъясните, пожалуйста, какая же это дискуссия, если одна сторона не желает отвечать на доводы другой стороны?

— Моя дорогая госпожа Фальк, разумеется, это не дискуссия, — ответил пастор с двусмысленной улыбкой, от которой госпожа Фальк чуть не расплакалась горячими слезами. — Но, дорогие дамы, постараемся не погубить нашего благородного дела мелкими дрызгами. Давайте отложим публикацию отчета до той поры, пока наш фонд не станет больше. Мы видим, что наше молодое предприятие произрастает на благодатной почве, и множество доброжелательных рук выращивают это юное растение; но мы должны думать о будущем. У нашего общества есть фонд; этим фондом нужно управлять, иными словами, нам необходимо подыскать управляющего, делового человека, который сумеет сбывать поступающие в фонд вещи и превращать их в деньги; короче говоря, нам нужно подобрать коммерческого директора. Чтобы найти подходящую кандидатуру, нам, естественно, придется пойти на определенные финансовые жертвы, но всякое настоящее дело требует жертв. Есть ли у вас, дамы, на примете человек, которому можно было бы предложить эту должность?

Нет, такого человека у дам на примете не было.

— Тогда я позволю себе предложить вам одного молодого человека с весьма серьезным складом ума, который, как я полагаю, вполне подходит для этой должности. Есть ли у правления какие-нибудь возражения против того, чтобы нотариус Эклунд за умеренное вознаграждение стал коммерческим директором детских яслей «Вифлеем»? Нет, у дам никаких возражений не было, тем более что Эклунда рекомендовал сам пастор Скоре, а пастор Скоре делал это с тем большим основанием, что нотариус приходился пастору близким родственником. Таким образом, общество приобрело коммерческого директора за шестьсот риксдалеров в год.

— Итак, дорогие дамы, — снова заговорил пастор, — мы, кажется, неплохо потрудились сегодня в нашем винограднике.

Молчание. Госпожа Фальк поглядывает на дверь, не идет ли муж.

— У меня мало времени, мне пора уходить. Не хочет ли кто-нибудь что-либо добавить? Нет! Уповая на божью помощь нашему предприятию, которое так уверенно делает свои первые шаги, я молю его о милости и благословении и не могу выразить это лучше, чем он сам, научивший нас молитве «Отче наш...».

Он замолк, словно боялся услышать свой собственный голос, и собравшиеся закрыли руками глаза, будто стыдились смотреть друг на друга. Пауза тянулась долго, дольше, чем можно было предполагать, пожалуй, даже слишком долго, но никто не решался ее прервать; они поглядывали друг на друга между пальцами, ожидая, чтобы кто-нибудь начал двигаться, когда громкий звонок в прихожей вернул их с неба на землю.

Пастор взял шляпу и допил свой стакан, чем-то напоминая человека, который хочет незаметно улизнуть. Госпожа Фальк сияла, ибо час возмездия настал, и наконец она их сразит окончательно, и справедливость восторжествует. Глаза ее пылали огнем.

И час возмездия настал, но сражена была она сама, ибо лакей принес письмо от мужа, в котором сообщалось, что... впрочем, этого гости так и не узнали, зато быстро сообразили сказать хозяйке, что не станут больше ее беспокоить, тем более что их уже ждут дома.

Госпожа Реньельм хотела было немного задержаться, чтобы как-то успокоить молодую женщину, лицо которой выражало крайнюю досаду и огорчение, однако это ее поползновение не встретило надлежащего отклика со стороны хозяйки, которая, напротив, с таким преувеличенным вниманием помогала ее милости одеться, словно торопилась как можно скорее выпроводить ее за дверь.

При расставании в прихожей царило некоторое замешательство, но вот шаги на лестнице стихли, и дверь за гостями захлопнула с той нервной поспешностью, которая явно говорила о том, что бедная хозяйка хочет остаться одна, чтобы дать волю своим чувствам. Она так и сделала. Совсем одна в этих огромных комнатах, она разразилась рыданиями; но это были не те слезы, что словно майский дождь падают на старое запыленное сердце, это были ядовитые слезы ярости и злобы, которые отравляют душу и, стекая по каплям на землю, разъедают, как кислота, розы юности и жизни.

Глава четырнадцатая Абсент

Жаркое послеполуденное солнце обжигало брусчатку в большом

горнопромышленном городе N. В зале погребка было еще тихо и спокойно; на полу лежали еловые ветки, пахнувшие похоронами; бутылки с ликером различной крепости стояли на полках и спали мирным послеобеденным сном среди водочных бутылок с орденскими лентами вокруг горлышка, которым тоже предоставили отпуск до вечера. Долговязые часы, обходившиеся без послеобеденного сна, стояли, привалившись к стене, и отсчитывали минуту за минутой и при этом, казалось, разглядывали широченную театральную афишу, прибитую к вешалке; зал был длинный и узкий, и во всю его длину стояли березовые столы, придвинутые вплотную к стене, так что он напоминал огромное стойло, а столы на четырех ножках казались лошадьми, привязанными к стене и обращенными крупом в зал; но сейчас они тоже спали, оторвав немного от земли заднюю ногу, потому что пол в погребеке был неровный, и все видели, что они спят, так как по их спинам беспрепятственно бегали мухи; однако шестнадцатилетний официант, который сидел прислонившись к долговязым часам возле театральной афиши, не спал: своим белым фартуком он то и дело отмахивался от мух, которые только что побывали на кухне и отлично там пообедали, а теперь слетелись сюда, чтобы поиграть; оставив в покое фартук, официант откинулся назад и прижался ухом к широкому боку часов, словно пытался узнать, что им дали на обед. И скоро он узнал все, что хотел, ибо долговязая бестия вдруг захрипела, а ровно через четыре минуты снова захрипела и стала так греметь и грохотать всеми своими сочленениями, что парень вскочил и под ужасающий скрежет металла услышал, как часы пробили шесть раз, после чего снова вернулись к своей обычной работе в тишине и молчании.

Но парню тоже пора было браться за работу. Он обошел стойло, почистил фартуком кляч и навел кое-какой порядок, словно поджидал кого-то. Он достал спички и положил их на стол в самом конце зала, откуда можно было держать под неусыпным наблюдением весь погребок. Возле спичек он поставил бутылку абсента и два бокала, рюмку и стакан. Потом сходил к колодцу и принес большой графин с водой, который поставил на стол рядом с огнеопасными предметами, и несколько раз прошелся по залу, принимая самые неожиданные позы, будто кому-то подражал. Он то останавливался, скрестив руки на груди, опустив голову и выставив вперед левую ногу, и орлиным взором оглядывал стены, обклеенные старыми обшарпанными обоями, то опирался костяшками пальцев правой руки о край стола, скрестив при этом ноги, а в левой держал лорнет, сделанный из проволоки от бутылок с портером, и надменно созерцал карниз; внезапно дверь распахнулась, и в зал вошел мужчина лет тридцати пяти с таким уверенным видом, будто вернулся к себе домой. Резко обозначенные черты его безбородого лица говорили о том, что его лицевые мускулы были хорошо натренированы, как это бывает только у актеров и представителей еще одной социальной группы; сквозь оставшуюся после бритья легкую синеву кожи просвечивали мышцы и сухожилия. Высокий, чуть узковатый лоб с впалыми висками вздымался, как коринфская капитель, и по нему, словно дикие растения, спускались разбросанные в беспорядке черные локоны, между которыми, вытянувшись во всю длину, бросались вниз маленькие змейки волос, будто хотели достать до глазниц, чего им никак не удавалось. Когда он был спокоен, его глаза смотрели мягко и немного грустно, но порой они стреляли, и тогда зрачки вдруг превращались в дула револьвера.

Он сел за накрытый для него стол и удрученно взглянул на графин с водой.

— Зачем ты всегда притаскиваешь сюда воду, Густав?

— Чтобы вы, господин Фаландер, не сожгли себя.

— А тебе какое до этого дело? Разве я не могу сжечь себя, если захочу?

— Господин Фаландер, не будьте сегодня нигилистом!

— Нигилистом! Кто тебя научил этому слову? Откуда оно у тебя? Ты с ума сошел, парень? Ну, говори!

Он поднялся из-за стола и сделал пару выстрелов из своих темных револьверов.

Густав даже потерял дар речи, настолько его поразило и испугало выражение лица актера.

— Ну, отвечай, мой мальчик, откуда у тебя это слово?

— Его сказал господин Монтанус, он приезжал сегодня из Тресколы, — ответил Густав боязливо.

— Вот оно что, Монтанус! — повторил мрачный гость и снова сел за стол. — Монтанус — мой человек. Этот парень знает, что говорит. Послушай, Густав, скажи мне, пожалуйста, как меня называют... ну, понимаешь, как меня называет этот театральный сброд. Давай, выкладывай! Не бойся!

— Нет, это так некрасиво, что я не могу сказать.

— Почему не можешь, если доставишь мне этим маленькое удовольствие. Тебе не кажется, что мне нужно немного развеселиться? Или, быть может, у меня такой довольный вид? Ну, давай! Как они спрашивают, был ли я здесь? Вероятно, говорят: был ли здесь этот...

— Дьявол...

— Дьявол? Это хорошее прозвище. По-твоему, они ненавидят меня?

— Да, ужасно!

— Великолепно! Но почему? Что я им сделал дурного?

— Не знаю. Да они и сами не знают.

— Я тоже так думаю.

— Они говорят, что вы, господин Фаландер, портите людей.

— Порчу?

— Да, они говорят, что вы испортили меня, и теперь мне все кажется старым!

— Гм, гм! Ты сказал им, что их острофы стары?

— Да, и, кстати, все, что они говорят, тоже старо, и сами они такие старые, что меня от них просто воротит!

— Понятно. А тебе не кажется, что быть официантом тоже старо?

— Конечно, старо; и жить тоже старо, и умирать старо, и все на свете старо... нет, не все... быть актером не старо.

— Вот уж нет, мой друг, старше этого нет ничего. А теперь помолчи, мне надо немного оглушить себя!

Он выпил абсент и откинул назад голову, прислонив ее к стене, по которой тянулась длинная коричневая полоса, прочерченная дымом его сигары, поднимавшимся к потолку в течение шести долгих лет, что он здесь сидел. Через окно в зал проникали солнечные лучи, но сначала они пробивались сквозь легкую листву высоких осин, трепетавшую под порывами вечернего ветерка, и тень от нее на противоположной от окна стене казалась непрерывно движущейся сетью, в нижнем углу которой вырисовывалась тень от головы с всклокоченными волосами, похожая на огромного паука.

А Густав тем временем снова сел возле долговязых часов и погрузился в нигилистическое молчание, наблюдая, как мухи водят хоровод под потолком вокруг аргандской лампы.

- Густав! — послышалось из паутины на стене.
- Да? — откликнулся голос откуда-то из-за часов.
- Твои родители живы?
- Нет, вы же знаете, господин Фаландер, что они умерли.
- Тебе повезло.

Продолжительная пауза.

- Густав!
- Да?
- Ты по ночам спишь?
- Что вы имеете в виду, господин Фаландер? — спросил Густав, краснея.
- То, что я сказал!
- Конечно, сплю! Отчего бы мне не спать? i
- Почему ты хочешь стать актером?
- Мне трудно это объяснить. Мне кажется, что тогда я буду счастлив.
- А разве сейчас ты не счастлив?
- Не знаю. Думаю, что нет.
- Господин Реньельм был здесь после приезда в город?
- Нет, не был, но он хотел с вами встретиться сегодня, примерно в это время.

Продолжительная пауза; вдруг дверь открывается, и в широкую, чуть вздрагивающую сеть на стене вползает тень, а паук в углу делает торопливое движение.

- Господин Реньельм? — спрашивает мрачный гость.
- Господин Фаландер?
- Милости прошу! Вы искали меня сегодня?
- Да, я приехал утром и сразу же отправился на поиски. Вы, конечно, догадываетесь, о чем мне нужно с вами поговорить; я хочу поступить в театр.
- О! Правда? Меня это удивляет!
- Удивляет?
- Да, удивляет! Но почему вы решили говорить именно со мной?
- Потому, что вы выдающийся актер, и еще потому, что наш общий знакомый, скульптор Монтанус, рекомендовал мне вас как прекрасного человека.
- Да? И чем я могу вам помочь?
- Советом!
- Не хотите ли присесть за мой стол?
- С удовольствием, если вы разрешите мне быть хозяином.
- Этого я не могу вам разрешить...
- Тогда каждый за себя... если вы ничего не имеете против.
- Как угодно! Вам нужен совет? Гм! Будем говорить начистоту, да? Тогда слушайте и принимайте к сведению все, что я сейчас скажу, и никогда не забывайте, что в такой-то день я сказал вам все это, ибо я полностью отвечаю за свои слова.
- Слушаю вас.
- Вы заказали лошадей? Еще нет? Тогда заказывайте и немедленно возвращайтесь домой!
- Вы считаете, что я не способен стать актером?
- Нет, почему же! Я никого не считаю неспособным играть на сцене. Напротив. Каждый человек в большей или меньшей степени способен исполнять роль другого человека.

— Да?

— Ах, все это совсем не так, как вы себе представляете. Вы молоды, кровь бурлит в ваших жилах, перед вашим мысленным взором возникают тысячи образов, прекрасных и светлых, как в древних сагах, они теснятся в вашем воображении, и вам не хочется их прятать, вы сгораєте от желания вынести их на свет, взять на руки и показать, показать всему миру и испытать от этого огромное, неповторимое счастье... так?

— Да, именно так. Вы словно читаете мои мысли.

— Я просто предположил самый высокий и самый благородный побудительный мотив, потому что не хочу видеть во всем одни лишь дурные побуждения, хотя и убежден, что в подавляющем большинстве они именно такие. И ваше призвание так велико, что вы готовы терпеть нужду, сносить всяческие унижения, давать сосать свою кровь вампирам, потерять уважение общества, стать банкротом, погибнуть... но не свернуть с избранного пути. Верно?

— Верно! Ах, как вы хорошо меня понимаете!

— Когда-то я знал одного молодого человека... теперь я его не знаю, потому что он сильно переменялся. Ему было пятнадцать лет, когда он вышел из одного исправительного заведения, какие содержит каждая община для детей, совершивших весьма банальное преступление, а именно: они явились на свет божий; и вот эти невинные малютки вынуждены искупать грехопадение родителей, ибо ничего другого им не остается... пожалуйста, не разрешайте мне отклоняться от темы. Потом он пять лет провел в Упсале и прочитал невероятное количество книг; его мозг был разделен на шесть ящиков, которые он заполнял сведениями, тоже разделенными на шесть категорий: цифры, имена, факты... целый склад готовых мнений, выводов, теорий, причуд, глупостей. До поры до времени все было терпимо, потому что человеческий мозг довольно вместительный; но ему пришлось, кроме всего прочего, воспринимать чужие мысли, старые, давно прогнившие мысли, которые люди жевали всю свою жизнь, а потом выплюнули; его стошнило, и тогда он, двадцатилетним юношей, поступил в театр. Взгляните на мои часы, на секундную стрелку: она сделает шестьдесят движений, пока пройдет одна минута; шестьдесят на шестьдесят составит час, и даже если умножить на двадцать четыре, то пройдут всего лишь сутки, а если еще умножить на триста шестьдесят пять, то будет только год. А теперь представьте себе, что такое десять лет. Господи! Приходилось ли вам когда-нибудь дожидаться у ворот своего хорошего знакомого? Первые четверть часа проходят незаметно; вторые четверть часа — о, чего не сделаешь с охотой и удовольствием ради того, кого любишь; третьи четверть часа — его все нет; четвертые — надежда и страх; пятые — вы уходите, но потом возвращаетесь; шестые — господи, как нелепо я растратил время; седьмые — подожду еще, раз уж я прождал так долго; восьмые — ярость, проклятье; девятые — вы возвращаетесь домой и ложитесь на диван, ощущая неземной покой, словно идете под руку со смертью... Он ждал десять лет, десять лет! Посмотрите на мои волосы! Не встают ли они дыбом, когда я говорю: десять лет? Приглядитесь! Кажется, еще нет! Десять лет миновало, прежде чем он получил роль. И тогда все пошло как по маслу... сразу. А он сходил с ума, думая о нелепо растратенных десяти годах, и приходил в бешенство, когда спрашивал себя, почему это не произошло десять лет назад, и его охватывало изумление, почему выпавшее на его долю счастье не сделало его счастливым, и он стал несчастен.

— А может, эти десять лет ему понадобились, чтобы изучить искусство актера?

— Ничего он не изучал, потому что ему не давали играть; мало-помалу он превратился в посмешище, имя которого никогда не появлялось на театральной афише; по мнению дирекции театра, он ни на что не был годен, а когда он обращался в другой театр, ему говорили, что у него нет репертуара!

— Но почему он не был счастлив, когда счастье наконец пришло к нему?

— Вы думаете, что для бессмертной души достаточно такого счастья? Впрочем, о чем мы спорим? Ваше решение окончательно. Мои советы излишни. Нет лучшего учителя, чем опыт, а он либо прихотлив, либо расчетлив, совсем как школьный учитель; одним всегда похвалы, другим всегда выволочка; вам от рождения предопределены похвалы; не подумайте, что я намекаю на ваше происхождение; у меня хватает ума не приписывать все происхождению, и добро и зло; в данном случае этот фактор совершенно не имеет значения, потому что речь идет просто о человеке как таковом. И я от всей души желаю, чтобы вам улыбнулось счастье, как можно скорей, и чтобы вы сами все узнали... как можно скорей! Уверен, вы этого заслуживаете.

— Неужели вы не сохранили ни капли уважения к своему искусству? Величайшему и прекраснейшему на свете?

— Его переоценивают, как, впрочем, и все то, о чем люди пишут книги. К тому же оно опасно, ибо может принести вред. Красиво высказанная ложь производит в достаточной мере сильное впечатление. Как в народном собрании, где все решает невежественное большинство. Чем проще, тем лучше — чем хуже, тем лучше. Поэтому-то я и не утверждаю, что оно никому не нужно.

— Никогда не поверю, что вы действительно так думаете.

— Но я действительно так думаю, хотя вовсе не настаиваю, что всегда прав.

— И вы на самом деле не питаете уважения к своему искусству?

— Своему? А почему я должен питать к нему уважение большее, чем к другим видам искусства?

— И это говорите вы, кто играл такие наполненные величайшим смыслом роли; ведь вы играли Шекспира? Играли Гамлета? Неужели вас не потрясло, когда вы произносили этот удивительно глубокий монолог «Быть или не быть»?

— Что вы подразумеваете под словом «глубокий»?

— Глубокий по мысли, глубокий по идее.

— Объясните мне, что вы усматриваете в этом глубокомысленного: «Покончить с жизнью или нет? Охотно я покончил бы с собой, когда бы знал, что ждет меня потом, уж после смерти, и то же самое свершили бы все без исключения, но этого сейчас не знаем мы и потому боимся расстаться с жизнью». Уж так ли это глубокомысленно?

— Но...

— Подождите! Вам наверняка когда-нибудь приходила мысль покончить с собой? Не так ли?

— Да, вероятно, как и всем!

— Так почему вы этого не сделали? Да потому, что вы, как и Гамлет, не могли на это решиться, ибо не знали, что будет потом. Это что, проявление вашего глубокомыслия?

— Конечно нет!

— Значит, все это просто банальность. Короче... Густав, как это называется?

— Старо! — слышалось из-за часов, где, по-видимому, только и ждали момента, чтобы подать реплику.

— Да, старо! Вот если бы автор высказался, как он примерно представляет себе нашу будущую жизнь, тогда в этом было бы что-то новое!

— Разве все новое так уж хорошо? — спросил Реньельм, несколько обескураженный всем тем новым, что ему довелось услышать.

— У нового есть во всяком случае одно достоинство: то, что оно новое. Попробуйте сами разобраться в своих мыслях, и они всегда покажутся вам новыми. Вы ведь понимаете, что я знал о вашем намерении поговорить со мной еще до вашего прихода, и я знаю, о чем — вы меня спросите, когда мы снова заговорим о Шекспире.

— Вы поразительный человек; должен признаться, что все так и есть, как вы говорите, хотя я и не согласен с вами.

— Что вы думаете о надгробном слове Антония у катафалка с телом Цезаря? Разве оно не прекрасно?

— Я как раз хотел спросить вас об этом. И впрямь вы обладаете способностью читать мои мысли.

— Так оно и есть. И ничего особо удивительного тут нет, ведь все люди думают, или, вернее, говорят, примерно одно и то же. Ну так что же здесь такого глубокомысленного?

— Мне трудно выразить...

— А вам не кажется, что это совершенно обычная форма иронического высказывания? Вы говорите нечто прямо противоположное тому, что думаете на самом деле; ведь если как следует наточить острие, то никому не избежать укола. А вы читали что-нибудь прекраснее, чем диалог Ромео и Джульетты после брачной ночи?

— Ах, вы имеете в виду то место, где он говорит, что принял жаворонка за соловья?

— Что же еще я могу иметь в виду, если весь мир это имеет в виду. В общем, довольно заезженный поэтический образ, построенный на внешнем эффекте. Неужели вы всерьез считаете, что величие Шекспира основано на поэтических образах?

— Почему вы разрушаете все, что мне дорого, почему лишаете меня всякой опоры?

— Я выбросил ваши костыли, чтобы вы научились ходить — самостоятельно! И потом, разве я прошу вас следовать моим советам?

— Вы не просите, вы заставляете!

— Тогда вам надо избегать моего общества. Ваши родители, наверно, недовольны вашим решением?

— Конечно! Но откуда вы это знаете?

— Все родители думают примерно одинаково. Однако не преувеличивайте моего здравомыслия. И вообще не надо ничего преувеличивать.

— Вы считаете, что тогда будешь счастливее?

— Счастливее? Гм! Вы знаете кого-нибудь, кто счастлив? Только я хочу услышать ваше собственное мнение, а не чужое.

— Нет, не знаю.

— Но если вы не знаете никого, кто был бы счастлив, то зачем спрашиваете, можно ли стать счастливее?... Значит, у вас есть родители! Очень глупо иметь родителей!

— Как так? Что вы хотите сказать?

— Вам не кажется противоестественным, что старое поколение воспитывает молодое и забивает ему голову своими давно отжившими глупостями? Ваши родители

требуют от вас благодарности? Правда?

— Разве можно не быть благодарным своим родителям?

— Благодарным за то, что на законном основании они произвели нас на свет, обрекая на постоянную нищету, кормили скверной пищей, били, всячески угнетали, унижали, подавляли наши желания. Понимаете, нам нужна еще одна революция! Нет, две! Почему вы не пьете абсент? Вы боитесь его? О! Взгляните, ведь на нем Женевский красный крест! Он исцеляет раненых на поле битвы, и друзей и врагов, унимает боль, притупляет мысль, лишает памяти, душит все благородные чувства, которые толкают нас на всякие сумасбродства, и, в конце концов, гасит свет разума. Вы знаете, что такое свет разума? Во-первых, это фраза, во-вторых — блуждающий огонек, этаким язычком пламени, что блуждает там, где гниет рыба. и выделяет фосфорный водород; свет разума — это и есть фосфорный водород, который выделяет серое вещество нашего мозга. И все-таки удивительно, что все хорошее на земле гибнет и предается забвению. За десять лет своего бродяжничества и кажущейся бездеятельности я прочитал все книги во всех библиотеках провинциальных городков; все мелкое и незначительное, что содержится в этих книгах, цитируют и перепечатывают сотни раз, все достойное внимания остается лежать под спудом. Я хочу сказать, что... напоминайте мне, чтобы я придерживался темы...

Между тем часы снова начали греметь и пробили семь раз. Двери распахнулись, и в зал с шумом и грохотом ввалился человек лет пятидесяти. У него было жирное лицо и массивная голова, которая, как мортира на лафете, высилась над жирными плечами под постоянным углом в сорок пять градусов, и казалось, будто она вот-вот начнет обстреливать снарядами звезды. У него было такое лицо, словно ему присущи самые изощренные пороки и он способен на самые изощренные преступления, и если не совершает их, то только из трусости. Он немедленно выпустил снаряд в Фаландера и атаковал официанта, потребовав у него грогу, при этом он изъяснялся, как капрал перед строем, на малопрстойном, хотя и грамматически правильном языке.

— Вот владыка вашей судьбы, — прошептал Фаландер Реньельму. — К тому же великий драматург, режиссер и директор театра, мой смертельный враг.

Реньельм содрогнулся, глядя на это чудовище, которое обменялось с Фаландером взглядами, полными глубочайшей ненависти, и теперь обстреливало залпами своей слюны проход между столиками.

Потом дверь снова отворилась, и в нее проскользнул мужчина средних лет, довольно элегантный, с напыженными волосами и нафабранными усами. Он фамильярно уселся рядом с директором, который дал ему пожать средний палец, украшенный сердоликовым перстнем.

— Это редактор местной консервативной газеты, опора трона и алтаря. У него свободный доступ за кулисы, и он соблазняет всех девушек, которым удалось избежать благосклонности директора. Когда-то он был королевским чиновником, но ему пришлось расстаться с этой должностью по причине, о которой даже говорить стыдно. Однако мне не менее стыдно сидеть в одной комнате с этими господами, а кроме того, я устраиваю сегодня маленькую вечеринку для своих друзей по случаю моего вчерашнего бенефиса. Если у вас есть желание провести вечер в обществе самых плохих артистов на свете, двух дам сомнительной репутации и старого бродяги в роли хозяина, то милости прошу к восьми часам.

Не колеблясь ни секунды, Реньельм тотчас же принял приглашение.

Паук стал карабкаться вверх по стене, словно осматривая свою сеть, и тут же

исчез. Муха еще некоторое время оставалась на месте. Но вот солнце скрылось за собором, и сеть расплылась по стене, будто ее никогда и не было, а за окном от дуновения ветра затрепетали осины. И тогда громадина директор прокричал во весь голос, потому что давно разучился говорить:

— Послушай! Ты видел, «Еженедельник» снова вылез с нападками на меня?

— Ах, не обращай внимания на эту болтовню!

— Как это не обращай внимания! Черт побери, что ты хочешь сказать? Разве его не читает весь город? Ну, я покажу этому мерзавцу! Приду к нему домой и набью морду! Он нагло утверждает, что у меня все неестественно и аффектировано.

— Ну так сунь ему на лапу! Только не устраивай скандала!

— Сунуть на лапу? Ты думаешь, я не пытался? Чертовски странный народ эти либеральные газетные писаки. Если тебе удастся познакомиться или подружиться с ними, они, может, и напишут о тебе что-нибудь хорошее, но купить их невозможно, как бы бедны они ни были.

— Ничего-то ты не понимаешь. С ними нельзя действовать напрямик; им нужно посылать подарки, которые при случае можно заложить, или даже наличные деньги...

— Как посылают тебе? Нет, с ними этот номер не пройдет; я много раз пытался. Дьявольски трудно обломать человека с убеждениями. Кстати, чтобы сменить тему разговора, что за новая жертва попала в когти этому дьяволу?

— Не знаю, меня это не касается.

— Может быть, пока и не касается. Густав! Кто сидел рядом с Фаландером?

— Он хочет поступить на сцену, и его зовут Реньельм.

— Что такое? Хочет поступить на сцену? Он! — закричал директор.

— Да, хочет, — ответил Густав.

— Хочет, понятное дело, играть в трагедиях! И под покровительством Фаландера? И не обращаться ко мне за содействием? И играть роли в моих пьесах? Оказать мне честь? И я об этом ничего не знаю? Я? Я? Мне жаль его! Какое ужасное будущее его ждет! Разумеется, я окажу ему покровительство! Возьму под свое крылышко! Все знают, какие сильные у меня крылья, даже если я не летаю! Иногда ими можно и ударить! Какой славный малый! Отличный малый! Красивый, как Антигон! Как жаль, что он сразу не пришел ко мне, я отдал бы ему все роли Фаландера, все до единой! Ой! Ой! Ой! Но еще не поздно! Ха! Пусть сначала дьявол немного испортит его! Он еще чуть-чуть зелен, этот юнец! И такой наивный с виду! Бедный мальчик! Да, мне остается только сказать: сохрани его бог!

Последние звуки этой мольбы потонули в адском шуме, когда вдруг в зал разом ввалились любители грога со всего города.

Глава пятнадцатая

Театральное акционерное общество «Феникс»

На другое утро Реньельм проснулся в своей комнате в отеле, когда было уже около полудня. Перед ним как призраки возникли воспоминания минувшей ночи и при свете летнего дня обступили его кровать. Он увидел красивую комнату всю в цветах, где за закрытыми ставнями происходит развеселая оргия; потом увидел тридцатипятилетнюю актрису, которую в результате происков соперницы перевели на ампула старухи; от все новых и новых обид она приходит в отчаяние и неистовство и, напившись допьяна, кладет ногу на край дивана, а когда в комнате становится совсем

жарко, расстегивает лиф платья так же беспечно, как мужчина расстегивает жилет после сытного обеда; вон там хорохорится старый комик, которому слишком рано пришлось оставить амплу любовника и после недолгого процветания перейти на выходные роли, теперь он потешает публику забавными куплетами и, главным образом, рассказами о своем былом величии; но вот в облаках табачного дыма, среди фантастических видений, вызванных опьянением, он видит юную шестнадцатилетнюю девушку, которая со слезами на глазах жалуется мрачному Фаландеру на негодяя директора, который снова приставал к ней с непристойными предложениями, поклявшись, что в случае отказа он отомстит ей, и она будет играть только служанок и горничных.

Вот он видит Фаландера, все поверяют ему свои горести и печали, а он одним мановением руки все развеивает в прах, абсолютно все: оскорбления, унижения, пинки, несчастья, нужду, нищету, стоны и проклятья, — и призывает своих друзей ничего не преувеличивать и не переоценивать, особенно свои невзгоды. Но снова и снова он видит перед собой изящную шестнадцатилетнюю девушку с невинным личиком. Он стал ее другом и получил на прощанье поцелуй, горячий и страстный, который, как напомнил Реньельму его воспаленный мозг, поскольку всегда был искренним, показался ему несколько неожиданным. Но как же ее зовут?

Он встает, чтобы взять графин с водой, и рука его вдруг касается маленького носового платочка в пятнах от вина! Ах! На нем несмываемыми чернилами написано — Агнес! Он дважды целует платочек там, где он чище всего, и засовывает в чемодан. Потом одевается и идет в театральную дирекцию, где легче всего попасть на прием между двенадцатью и тремя.

Чтобы потом не упрекать себя за опоздание, он подходит к конторе театра ровно в двенадцать часов; там его встречает театральный служитель и спрашивает, что ему угодно и чем он может ему помочь. Реньельм отвечает, что ничем, и в свою очередь спрашивает, можно ли поговорить с директором, но узнает, что в настоящий момент тот находится на фабрике, однако к обеду, вероятно, придет. Реньельм думает, что фабрикой фамильярно называют театр, но ему объясняют, что директор является владельцем спичечной фабрики, его шурин, театральный бухгалтер, работает на почте и не появляется здесь раньше двух часов, а его сын, секретарь дирекции, служит на телеграфе, и поэтому никто не знает заранее, придет он вообще или не придет. Поскольку служитель все-таки сообразил, что привело сюда Реньельма, то от себя лично и от имени всего театра он вручил юному дебютанту театральные уставы, за которым тот сможет коротать время до прихода кого-либо из дирекции. Итак, Реньельм вооружился терпением и, усевшись на диван, принялся изучать устав. Когда он прочитал все его предписания и положения, было всего половина первого. Еще четверть часа он проболтал со служителем, после этого он приступил к более углубленному изучению первого параграфа, который гласил: «Театр является моральным учреждением, и поэтому все, кто работает в театре, должны быть богобоязненными, добродетельными и благонравными». Реньельм вчитывался в эту фразу, стараясь проникнуть в ее истинный смысл, но безуспешно. Если театр уже сам по себе моральное учреждение, то все, кто в нем работает (вместе с директором, бухгалтером, секретарем, всевозможным оборудованием и декорациями) вовсе не обязаны стремиться к тому совершенству, какого требует от них устав. Вот если бы в уставе было написано, что театр учреждение аморальное, и поэтому... — тогда бы эти слова приобрели какой-то смысл, но наверняка не тот, какой вкладывала в них

дирекция. И тогда он подумал о гамлетовском «слова, слова» и тотчас же вспомнил, что цитировать Гамлета старо и свои мысли надо выражать своими собственными словами, и он остановился на том, что все это сплошная галиматья, но потом отверг и эту мысль как тоже не оригинальную, хотя и это тоже было не оригинально.

Параграф второй устава позволил ему еще на четверть часа погрузиться в размышления над текстом следующего содержания: «Театр существует не для забавы. Это не только развлечение». Итак, здесь написано: театр не развлечение, а немного дальше: театр не только развлечение; значит, театр — это все-таки и развлечение. Потом он припомнил, когда в театре бывает забавно: ну, во-первых, когда по ходу пьесы дети, особенно если это сыновья, обманом выманивают у родителей деньги, и это тем более забавно, если родители бережливы, добросердечны и разумны; во-вторых, когда жена обманывает мужа, — особенно смешно, если муж старый и нуждается в поддержке жены; Реньельм вспомнил, как однажды смеялся над двумя стариками, которые чуть не умирали с голоду, поскольку дела их пошатнулись, но над этим и сегодня еще хохочут до упаду, когда смотрят пьесу одного известного классика. Далее он припомнил, как потешался над несчастьем одного старика, потерявшего слух, и как смеялся вместе с шестьюстами других зрителей над священником, который весьма естественным путем искал лекарство от помешательства, вызванного длительным воздержанием, а также над лицемерием, служившим ему главным средством достижения цели. Так над чем же смеются зрители? — спросил он себя. И поскольку ему больше нечего было делать, то сам попытался ответить на этот вопрос. Да, над несчастьем, нуждой, горем, пороком, добродетелью, над поражением добра и торжеством зла. Этот вывод, который показался ему в какой-то мере оригинальным и новым, привел его в хорошее расположение духа, и надо сказать, что подобная игра мысли доставила ему огромное удовольствие. Поскольку никто из дирекции пока не давал о себе знать, Реньельм продолжил эту игру, и не прошло и пяти минут, как он сделал еще один вывод: когда люди смотрят трагедию, они плачут над тем же, над чем смеются, когда смотрят комедию. На этом мысли его прервались, потому что в комнату ворвался громадина директор, проскочил мимо Реньельма, даже не показав виду, что заметил его, и влетел в комнату слева, откуда через секунду послышался звон колокольчика, который трясла сильная рука. Служителю понадобилось всего полминуты, чтобы войти в кабинет и выйти из него, доложив, что их высочество примет его.

Когда Реньельм вошел в кабинет, директор уже выпятил грудь и направил свою мортиру под таким большим углом, что никак не мог увидеть простого смертного, который, трепеща, приближался к нему. Но, должно быть, он услышал его шаги, потому что весьма пренебрежительным тоном спросил, что ему угодно.

Реньельм объяснил, что хотел бы получить дебют.

— Да! Большой дебют! Большой энтузиазм! А у вас, сударь, есть репертуар? Вы играли Гамлета, Лира, Ричарда Шеридана, Волонтера, публика десять раз вызывала вас на сцену после третьего акта? Да?

— Я никогда еще не выступал на сцене.

— Ах так! Тогда другое дело!

Он уселся в широкое посеребренное кресло, обитое голубым шелком, и лицо его превратилось в маску, словно было иллюстрацией к одной из биографий Светония.

— Разрешите мне совершенно откровенно высказать вам свое мнение? Можно? Так вот, пока не поздно, забудьте о театре!

— Ни за что!

— Повторяю: забудьте о театре! Это самый ужасный путь, какой только можно себе представить. На нем вас ждут бесконечные унижения, всевозможные неприятности, весьма болезненные уколы и удары, которые отравят вам жизнь, и вы пожалеете, что родились на свет божий!

Он действительно говорил очень искренне, но Реньельм был непоколебим в своей решимости.

— Запомните то, что я вам сейчас скажу! Я совершенно серьезно отговариваю вас от этого шага и очень плохо представляю себе ваше будущее; возможно, многие годы вам придется быть просто статистом! Поразмыслите об этом! И не вздумайте потом являться ко мне с жалобами на свою несчастную судьбу. Это дьявольски тяжелый путь, сударь, и если бы вы отдавали себе в этом отчет, то никогда не ступили бы на него. Вы идете прямой дорогой в ад, поверьте мне, — вот что я хотел вам сказать.

Однако слова отскакивали от Реньельма, как от стены горюх.

— В таком случае, сударь, не хотите ли получить ангажемент сразу, без дебюта? Так меньше риска.

— Ну конечно, мне и в голову не приходило, что это возможно.

— Пожалуйста, тогда подпишите контракт. Оклад — тысяча двести риксдалеров, срок действия контракта — два года. Устраивает?

Директор достал из-под бювара уже готовый и подписанный всей дирекцией контракт и протянул Реньельму, у которого даже голова пошла кругом при упоминании о тысяче двухстах риксдалеров, и он не глядя подписал контракт.

Затем директор протянул ему толстый средний палец с сердоликовым перстнем и сказал: «Милости просим!», после чего показал десну верхней челюсти и желтые, в кровавых прожилках белки глаз с мыльной зеленью радужной оболочки.

Итак, аудиенция была закончена. Однако Реньельм, которому казалось, что все произошло слишком быстро, не торопился уходить и даже позволил себе вольность спросить, не подождать ли ему, пока соберется дирекция.

— Дирекция? — прогремел великий драматург. — Дирекция — это я! Если вам нужно что-нибудь спросить, обращайтесь только ко мне! Если вам нужен совет, обращайтесь ко мне! Ко мне, сударь! И ни к кому другому! Понятно? Ступайте!

Выходя из директорского кабинета, Реньельм вдруг остановился как вкопанный, словно зацепился полый сюртука за гвоздь, и резко повернулся, будто хотел посмотреть, как выглядят эти последние слова, но увидел лишь красную десну, похожую на орудие пытки, и кровью мраморированные глаза, после чего у него прошла всякая охота требовать каких-либо объяснений, и он поспешил в погребок, чтобы пообедать и встретиться там с Фаландером.

Фаландер уже сидел за своим столом, спокойный и невозмутимый, словно был готов к самому худшему. Поэтому его несколько не удивило, что Реньельм получил ангажемент, хотя он и помрачнел, когда услышал об этом.

— Как тебе понравился директор? — спросил Фаландер.

— Я хотел дать ему оплеуху, да не решился.

— Дирекция тоже никак не может решиться, вот он и делает что хочет. Так всегда бывает: кто грубее и наглее, тот и правит. Тебе известно, что он еще и драматург?

— Да, слышал!

— Он пишет нечто вроде исторических драм, и они всегда пользуются успехом у публики, потому что он создает не характеры, а роли; он заранее готовит выходы,

которые сорвут аплодисменты, и всю игру играет на так называемом чувстве патриотизма. Между прочим, его герои не умеют разговаривать, а только ссорятся или бранятся: мужчины и женщины, старые и молодые — все до единого; недаром его известную пьесу «Сыновья короля Йесты» называют исторической бранью в пяти стычках, потому что никакого действия там нет, а есть только стычки: стычки семейные, стычки уличные, стычки в риксдаге и так далее. Действующие лица обмениваются не репликами, а колкостями, в результате чего получается не спектакль, а ужаснейший скандал. Вместо диалогов — словесная перебранка, в ходе которой стороны осыпают друг друга ругательствами, а вершиной драматического действия становится рукопашная схватка. Критика утверждает, что особенно он силен в изображении исторических личностей. Как, по-твоему, он изобразил в своей пьесе Густава Васу? Этаким широкоплечим, длиннородым, громогласным, необузданным силачом: он разносит в щепки стол на заседании риксдага в Вестеросе и ногой выламывает дверную филенку на встрече в Вадстене. А однажды критика отметила, что его пьесам не хватает смысла; он страшно рассердился и решил написать комедию нравов со смыслом. У этого чудовища есть сын (директор женат), который ходит в школу и за дурное поведение не раз получал взбучку. И вот папочка написал комедию нравов, в которой вывел учителей и показал, какому бесчеловечному обращению подвергаются в наше время дети. В другой раз, в ответ на справедливые упреки рецензента, он тут же написал комедию нравов, в которой высмеял наших либеральных журналистов! Впрочем, ну его к черту!

— А почему он ненавидит тебя?

— Потому что на репетиции я однажды сказал «дон Паскуале», хотя он утверждал, что того зовут Паскаль; в результате мне было приказано под угрозой штрафа говорить так, как он велел, причем он заявил, что, пусть хоть весь мир называет его как, черт побери, ему заблагорассудится, но здесь его будут звать Паскаль, потому что именно так его зовут!

— Откуда он взялся? Что он делал раньше?

— Разве ты не знаешь, что он был подмастерьем у каретника? Но узнай он, что тебе это известно, он бы тебя отравил! Впрочем, давай поговорим о чем-нибудь другом. Как ты себя чувствуешь после вчерашней вечеринки?

— Чудесно! Ведь я забыл поблагодарить тебя!

— Ничего! А как тебе понравилась эта девушка? Агнес?

— Очень понравилась!

— И она в тебя влюбилась! Все устраивается как нельзя лучше! Бери же ее!

— Ах, о чем ты болтаешь! Мы же не можем пожениться!

— А кто сказал, что вам обязательно нужно жениться?

— Что ты имеешь в виду?

— Только то, что тебе восемнадцать лет, ей шестнадцать! Вы любите друг друга! Ну и хорошо! И если оба вы не против, то остается только решить один весьма интимный вопрос...

— Я тебя не понимаю. Ты мне советуешь совершить какой-то очень гадкий поступок? Или я ошибаюсь?

— Я советую тебе слушаться голоса великой природы, а не глупых людей. Если люди будут осуждать ваше поведение, то только из зависти, а мораль, которую они проповедуют, лишь выражает их злобу, принявшую удобную и приличную форму. Вот уже несколько лет природа приглашает вас на свой великий пир, ставший

радостью богов и кошмаром общества, которое боится, что ему придется тратить деньги на воспитание детей.

— Почему ты не хочешь, чтобы мы поженились?

— Потому что брак — это нечто совершенно другое! Едва ли нужно связывать себя на всю жизнь после одного лишь вечера, проведенного вместе, и ведь нигде не сказано, что разделивший с тобой радость разделит и горе! Брак — это склонность души, а об этом пока говорить рано! Да и нет никакой необходимости призывать вас к тому, что рано или поздно все равно совершится. Любите друг друга, пока вы молоды, а то будет поздно, любите, как птицы небесные, не думая о домашнем очаге, или как цветы, которые называются *Dioecia*.

— Не смей говорить так непочтительно об этой девушке! Она добра, невинна и несчастлива, и тот, кто утверждает обратное, — просто лжец. Ты видел когда-нибудь глаза более невинные, чем у нее? Разве не сама искренность звучит в ее голосе? Она достойна великой и чистой любви, не той, о какой говоришь ты, и я надеюсь, что подобные высказывания слышу от тебя в последний раз! И передай ей, что я сочту за величайшее счастье и величайшую честь предложить ей когда-нибудь, когда буду ее достоин, свою руку и сердце!

Фаландер так тряхнул головой, что его змееподобные волосы вдруг зашевелились.

— Достоин ее? Свою руку? Что ты говоришь?

— То, в чем я убежден!

— Но это ужасно! Ведь если я скажу тебе, что эта девушка не только не обладает всеми теми достоинствами, которые ты ей приписываешь, но и представляет собой нечто прямо противоположное, ты все равно мне не поверишь, и мы поссоримся!

— Обязательно поссоримся!

— Мир так переполнен ложью, что когда говоришь правду, тебе все равно не верят.

— Как же тебе верить, если ты человек без морали?

— Опять это слово! Удивительное слово — оно отвечает на все вопросы, обрывает на полуслове любые возражения, оправдывает любые ошибки, свои собственные, правда, а не чужие, повергает в прах всех противников, говорит «за» и «против», совсем как адвокат! Сегодня ты сокрушил меня этим словом, завтра я сокрушу тебя! Прощай, мне пора домой, в три часа у меня урок. Всего хорошего! Прощай!

И Реньельм остался наедине со своим обедом и своими размышлениями.

* * *

Вернувшись домой, Фаландер надел халат и туфли, словно и не ожидал, что к нему кто-нибудь придет. Однако недавняя его душевная тревога, казалось, все время заставляла его совершать какие-то действия: он то ходил взад и вперед по комнате, то останавливался у окна и, спрятавшись за штору, глядел на улицу. Потом он подошел к зеркалу и, отстегнув воротничок, бросил его на столик возле дивана. Походив еще немного по комнате, он сел на диван, взял с подноса для визитных карточек фотографию женщины, положил ее под огромное увеличительное стекло и стал рассматривать, как рассматривают под микроскопом какой-нибудь препарат. Этому занятию он уделил довольно много времени. Услышав шаги на лестнице, он

торопливо сунул фотографию на прежнее место, вскочил с дивана и уселся за письменный стол — спиной к двери. Он что-то писал и весь был поглощен своей работой, когда в дверь тихонько постучали — два коротких двойных удара.

— Войдите, — крикнул Фаландер таким тоном, каким обычно предлагают не войти, а убраться вон.

В комнату вошла молодая девушка небольшого роста, но с очень изящной фигуркой. Тонкое овальное лицо обрамляли такие светлые волосы, словно их отбелило солнце: у них был совершенно другой оттенок, нежели тот, что бывает у белокурых от природы волос. Маленький носик и красиво очерченный рот создавали причудливую игру линий ее милого лица, которые непрерывно меняли форму, как в калейдоскопе; когда, например, у нее слегка раздувались ноздри, обрисовывая розоватый хрящик, похожий на лист фиалки, то губки ее раскрывались и обнажали маленькие ровные зубки, которые, хотя и были ее собственными, казались слишком ровными и слишком белыми, чтобы не внушать кое-каких подозрений на этот счет. Ее чуть удлинненные глаза от переносицы опускались к вискам, и потому у них всегда было молящее меланхолическое выражение, которое составляло волшебный контраст с игривыми чертами нижней части лица; однако зрачки находились в постоянном движении: в один миг они сужались и становились как острие иглы, а уже в следующее мгновение широко раскрывались и смотрели так, словно это были линзы подзорной трубы.

Тем временем она вошла в комнату и заперла дверь на ключ. Фаландер по-прежнему сидел и писал.

— Ты что-то поздно сегодня, Агнес, — сказал он.

— Да, поздно, — ответила она несколько вызывающе, снимая шляпу и осматриваясь.

— Мы довольно долго засиделись вчера вечером.

— Почему бы тебе не встать и не поздороваться со мной? Ведь не так же ты устал?

— Ах, прости, совсем забыл.

— Забыл? Я заметила, что последнее время ты стал часто забываться.

— Правда? И давно ты это заметила?

— Давно? Что ты хочешь этим сказать? И сними, пожалуйста, халат и туфли!

— Видишь, дорогая, первый раз в жизни я что-то забыл, а ты говоришь: последнее время, часто! Ну разве не удивительно? А?

— Да ты издеваешься надо мной? Что с тобой происходит? Последнее время ты стал какой-то странный.

— Опять — последнее время? Почему ты все время говоришь о каком-то последнем времени? Ты же сама понимаешь, что это ложь. Зачем тебе нужно лгать?

— Так, теперь ты обвиняешь меня во лжи!

— Ну что ты. Я просто шучу.

— Думаешь, я не вижу, что я тебе надоела? Думаешь, я не видела, сколько внимания ты уделял вчера этой проститутке Женни и за весь вечер не сказал мне ни слова?

— Ты, кажется, ревнуешь?

— Я? Представь себе, нисколько! Если ты предпочитаешь ее — пожалуйста! Меня это не трогает ни в малейшей степени!

— Правда? Значит, ты не ревнуешь? Прежде это было бы весьма досадным

обстоятельством.

— Прежде? Ты о чем?

— О том... очень просто... что ты мне надоела, как ты только что сама выразилась.

— Ты лжешь! Не может этого быть!

Она раздула ноздри, показала свои острые зубки и уколола глазами-иголками.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал Фаландер. — Тебе понравился Реньельм?

— Очень! Такой славный мальчик! И такой милый!

— Он по уши в тебя влюбился.

— Брось болтать!

— Но хуже всего то, что он хочет на тебе жениться.

— Пожалуйста, избавь меня от подобных глупостей.

— Но поскольку ему всего двадцать лет, он намерен подождать, пока не будет достоин тебя, как он сам выразился.

— Вот чудак!

— Он считает, что будет достоин тебя, когда станет известным артистом. А известным артистом он не станет до тех пор, пока не будет получать роли. Ты не сможешь ему раздобыть какую-нибудь роль?

Агнес покраснела и забилась в угол дивана, показав ему пару элегантных ботишков с золотыми кисточками.

— Я? Когда у меня самой нет ни одной роли? Ты опять издеваешься надо мной.

— Да, пожалуй.

— Ты дьявол, Густав! Понимаешь? Настоящий дьявол!

— Может быть. А может быть и нет. Это не так-то просто решить. И все-таки, если ты разумная девочка...

— Замолчи...

Она схватила со стола острый нож для бумаги и угрожающе замахнулась им как бы в шутку, но так, словно это было всерьез.

— Ты сегодня такая красивая, Агнес! — сказал Фаландер.

— Сегодня? Почему только сегодня? А раньше ты этого не замечал?

— Отчего же? Замечал.

— Почему ты вздыхаешь?

— Это я всегда после того, как напьюсь.

— Дай-ка я взгляну. У тебя что, болят глаза?

— Бессонная ночь, моя дорогая.

— Сейчас я уйду, и ты выспишься.

— Не уходи. Я все равно не засну.

— Мне в любом случае лучше уйти. Собственно, я и пришла только затем, чтобы сказать тебе об этом.

Голос ее стал нежным, а веки медленно опустились, словно занавес после сцены смерти одного из героев.

— Спасибо, что ты все-таки пришла сказать мне об этом, — ответил Фаландер.

Она встала и надела шляпу перед зеркалом.

— У тебя есть какие-нибудь духи? — спросила она.

— Нет, только в театре.

— Прекрати курить свою трубку; вся одежда пропахла этой мерзостью.

— Ладно, не буду.

Она наклонилась и застегнула подвязку.

— Извини! — сказала она, бросив на Фаландера умоляющий взгляд.

— А что такое? — спросил он безразлично, словно ничего не заметил.

Поскольку ответа не последовало, он собрался с духом, глубоко вздохнул и спросил:

— Куда ты идешь?

— Пойду примерить новое платье, так что можешь не беспокоиться, — ответила Агнес, как ей казалось, очень непринужденно. Но по фальшивым ноткам в ее голосе Фаландер понял, что все это заранее отрепетировано, и сказал только:

— Тогда прощай!

Она подошла, чтобы он ее поцеловал. Фаландер обнял ее и так прижал к груди, словно хотел задушить, потом поцеловал в лоб, проводил до дверей и, когда она выходила, коротко бросил:

— Прощай!

Глава шестнадцатая **На Белых горах**

В этот августовский день Фальк снова сидит в маленьком парке на Моисеевой горе, такой же одинокий, каким оставался все лето, и припоминает все, что ему пришлось пережить с тех пор, как три месяца назад он был здесь в последний раз, такой уверенный в себе, такой мужественный и сильный. Сейчас он чувствует себя старым, усталым, ко всему безразличным; он заглянул во все эти дома, что громоздятся там, далеко внизу, и ему открылась картина совсем не та, которую он себе представлял. Он многое повидал за это время и наблюдал людей в такой обстановке, в какой их может увидеть только врач, лечащий бедняков, да газетный репортер, с той лишь разницей, что репортер видит их такими, какими они хотят казаться, а врач — такими, какие они есть на самом деле; Фальку предоставилась возможность наблюдать людей как общественных животных во всем многообразии их видов и форм. Он посещал заседания риксдага и церковных советов, правления акционерных обществ и благотворительных организаций, присутствовал при полицейских расследованиях, бывал на празднествах, похоронах и народных собраниях; и повсюду слышал красивые слова, великое множество слов, слов, какими никогда не пользуются в повседневной речи, тех весьма специфических слов, которые отнюдь не служат для выражения какой-то определенной мысли, во всяком случае, той, какую нужно высказать. В результате он получил крайне одностороннее представление о человеке как о лживом общественном животном, которое и не может быть ничем иным, поскольку цивилизация запрещает открытую войну; у него почти не было живого общения с людьми, и потому он начисто забыл, что существует еще одно животное, которое за бокалом вина и в компании друзей, если только его не дразнят, бывает чрезвычайно приятным и обходительным и охотно появляется в обществе со всеми своими слабостями и недостатками, когда поблизости нет посторонних. О нем Фальк совершенно забыл и потому был преисполнен горечи. Но было еще одно досадное обстоятельство: он потерял уважение к самому себе! При том, что не совершил ни единого поступка, которого ему следовало бы стыдиться! Самоуважения его лишили другие, и произошло это очень легко и просто. Везде и всюду, где он только

появлялся, каждый старался выказать свое неуважение к нему, и он, которого с самого детства пытались лишить чувства собственного достоинства, никак не мог уважать того, кого все презирают! Но особенно он приходил в отчаяние, когда видел, как любезно и предупредительно обращаются с журналистами консервативного толка, теми самыми, кто защищал или, в лучшем случае, оставлял без внимания несправедливость и зло. Значит, он вызывал всеобщее презрение не потому, что был журналистом, а потому, что выступал в защиту бедных и обездоленных! Порой его охватывали мучительные сомнения. Так, в отчете о заседании акционеров общества «Тритон» он употребил слово «мошенничество». «Серый плащ» ответил длинной статьей, в которой настолько ясно и убедительно обосновал национально-патриотический характер предприятия, что Фальк уже сам был близок к тому, чтобы убедиться в своей неправоте, и его еще долго мучили угрызения совести из-за того, что он так легкомысленно опорочил репутацию ни в чем не повинных людей. Теперь он пребывал в том удрученном состоянии духа, которое было чем-то средним между крайней нетерпимостью и абсолютным безразличием, и лишь от каждого последующего импульса зависело, какое направление примут его мысли.

В это лето жизнь казалась ему такой мерзкой, что он со скрытым злорадством приветствовал каждый дождливый день и испытывал какое-то странное удовольствие, глядя, как на аллее, шурша, ложатся увядшие листья. Он сидел и в утешение себе наслаждался дьявольски веселыми размышлениями о своей жизни и ее предназначении, когда вдруг почувствовал, что на его плечо легла чья-то костлявая рука, а другая схватила чуть выше локтя, словно сама смерть, поверив в искренность его чувств, пригласила его на танец. Он поднял глаза и ужаснулся: перед ним стоял Игберг, бледный как труп, с изможденным лицом и такими обезвоженными и обесцвеченными глазами, какими их может сделать только голод.

— Добрый день, Фальк, — проговорил он едва слышным голосом.

— Добрый день, брат Игберг, — ответил Фальк, к которому сразу вернулось хорошее настроение. — Садись. Присаживайся и выпей чашку кофе, черт побери! Как поживаешь? У тебя такой вид, будто ты только что вылез из проруби.

— О, я болел. Очень болел.

— У тебя, кажется, было хорошее лето! Как и у меня!

— Тебе тоже пришлось нелегко? — спросил Игберг, и слабая надежда, что именно так оно и было, осветила его желто-зеленое лицо.

— Скажу только одно: слава богу, что это проклятое лето кончилось. По мне, так пусть бы весь год была зима. Мало того, что страдаешь сам, так нет, изволь еще любоваться, как радуются другие. Я даже ни разу не был за городом. А ты?

— С тех пор, как Лунделль в июне уехал из Лилль-Янса, я не видел ни одной елки. Впрочем, зачем нам смотреть на елки? Так ли уж это необходимо? И так ли интересно? Но когда у нас нет такой возможности, мы ужасно переживаем.

— Да, теперь уж можно не переживать; смотри, на востоке сгущаются тучи, — значит, завтра будет дождь, а когда снова проглянет солнце, уже наступит осень. Твое здоровье!

Игберг посмотрел на пунш так, словно это был яд, но все-таки выпил.

— Кстати, — снова заговорил Фальк, — ведь это ты написал для Смита замечательный рассказ об Ангеле-хранителе и страховом обществе «Тритон»? Разве это не противоречит твоим убеждениям?

— Убеждениям? У меня нет убеждений!

— Нет убеждений?

— Нет! Убеждения есть только у дураков!

— Выходит, ты отрицаешь всякую мораль, Игберг?

— Вовсе нет. Видишь ли, когда дурака осеняет какая-нибудь мысль, своя или чужая, он превращает ее в убеждение, держится за него и носится с ним не потому, что это убеждение, а потому, что это его убеждение. Что же касается общества «Тритон», то, разумеется, это сплошное надувательство. Многим «Тритон» наносит немалый вред, прежде всего акционерам, но тем больше радости доставляет другим — дирекции и служащим; значит, в конечном счете он все-таки приносит немало пользы.

— Неужели ты совсем утратил всякое понятие о чести, мой друг?

— Нужно жертвовать всем ради исполнения своего долга.

— Согласен.

— А первейший и самый главный долг человека — выжить, выжить любой ценой. Этого требует закон божеский, этого требует закон человеческий.

— Но жертвовать честью нельзя!

— Оба эти закона требуют, чтобы мы жертвовали, как было сказано, всем, и от бедняка они требуют, чтобы он приносил в жертву и так называемую честь. Это жестоко, но бедняк здесь не виноват.

— У тебя не слишком веселые взгляды на жизнь.

— А откуда им быть веселыми?

— Да, это верно.

— Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Я получил от Реньельма письмо. Если хочешь, я прочту тебе кое-что из него.

— Я слышал — он поступил в театр?

— Да, и похоже, ему там приходится несладко.

Игберг достал из нагрудного кармана письмо, сунул в рот кусок сахара и начал читать:

— «Если в загробной жизни существует ад, в чем я, правда, сильно сомневаюсь...»

— А ведь мальчик стал вольнодумцем!

— «... то и там не может быть хуже, чем мне приходится сейчас. Я проработал в театре всего два месяца, но они для меня как два года. Моя судьба теперь целиком и полностью во власти одного дьявола, бывшего каретника, а теперь директора театра, который обращается со мной так, что я трижды на день подумываю, куда бы удрать; к сожалению, штрафные меры, предусмотренные условиями контракта, настолько суровы, что я навеки обесчестил бы имя своих родителей, если бы дело дошло до суда, и я остаюсь в театре. Представляешь, я каждый вечер выступаю в качестве статиста и еще не произнес на сцене ни единого слова. Двадцать вечеров подряд я раскрашиваю умброй лицо и расхаживаю в цыганском костюме, каждая деталь которого мне либо велика, либо мала; трико слишком длинное, башмаки слишком большие, куртка слишком короткая. Помощник дьявола, которого здесь называют закулисным суфлером, неусыпно следит, чтобы я не сменил всю эту дрянь на что-нибудь, более подходящее мне по размеру, и всякий раз, когда я пытаюсь спрятаться за толпой, состоящей из рабочих фабриканта-директора, они немедленно расступаются и выталкивают меня на авансцену; если я гляжу за кулисы, то вижу, как надо мной смеется помощник дьявола, а если смотрю в зрительный зал, то в директорской ложе передо мной возникает сам дьявол, который тоже смеется. Мне кажется, он нанял

меня просто ради собственного удовольствия, а не для того, чтобы я приносил театру хоть какую-нибудь пользу. Однажды я решился обратить его внимание на то, что, если мне предстоит стать актером, я должен проверить себя хоть в нескольких ролях со словами. В ответ он нагло заявил, что, прежде чем я научусь ходить, мне надо поползть! Я ответил, что умею ходить. Это ложь, возразил он и спросил, уж не считаю ли я, что искусство актера, прекраснейшее и сложнейшее из всех искусств, не требует никакой школы. Я ответил, что конечно требует и я с нетерпением жду, чтобы начать обучение в этой школе. Тогда он обозвал меня невежественной собакой, сказал, что даст мне пинка! Поскольку у меня были на этот счет кое-какие возражения, он спросил, не принимаю ли я его театр за приют для юношей с плохими задатками, и я радостно ответил, что, безусловно, так оно и есть. Тогда он заявил, что убьет меня, и все осталось по-прежнему. Я чувствую, как душа моя сгорает, словно свеча на сквозняке, и глубоко убежден, что „в конце концов зло победит, хотя пока еще прячется за тучей“, или как там еще сказано в катехизисе. Но что хуже всего, я утратил всякое уважение к искусству, которое было любовью и мечтой моей юности. Оно все более обесценивается в моих глазах, да и разве может быть иначе, если я вижу, как на сцену приходят люди с улицы, без воспитания, без образования, рабочие и ремесленники, движимые только тщеславием и ленью, лишённые энтузиазма и сообразительности, и уже через несколько месяцев исполняют характерные роли, роли исторических деятелей, играют довольно сносно, но у них нет ни малейшего представления о времени, в котором они живут на сцене, об исторической значимости тех, кого они играют.

Происходит медленное убийство из-за угла, и в окружении этой толпы (некоторые члены труппы даже не в ладах с уголовным кодексом), которая всячески притесняет меня, я становлюсь тем, чем никогда не был, — аристократом, ибо гнет людей образованных никогда так болезненно не ощущается, как гнет необразованных.

И все-таки в этом мраке есть светлый проблеск: я люблю. Это девушка из чистейшего золота, попавшая в окружение мерзости и порока. Естественно, ею тоже помыкают, и она, так же как и я, подвергается медленной мучительной казни, поскольку с гордостью и презрением отвергла постыдные домогательства режиссера. Она — единственная женщина с живой душой среди всех этих ползающих в грязи животных, она любит меня всем сердцем, и мы с ней тайно обручились. О, я жду не дождусь того дня, когда ко мне придет успех и я смогу предложить ей руку, но когда это будет? Нам часто приходит мысль вместе покончить счеты с жизнью, но потом воскресает обманчивая надежда, и мы продолжаем это жалкое существование! Видеть, как она, невинное дитя, страдает и стыдится, когда ей приходится выходить на сцену в непристойных костюмах, более чем невыносимо. Но оставим пока эту грустную тему.

Привет тебе от Олле, а также от Лунделля. Олле сильно переменялся. Он увлекся каким-то новым философским учением, которое все ниспровергает, все переворачивает и ставит с ног на голову. Слушать его бывает довольно забавно, и звучит это нередко очень убедительно, но ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, все эти идеи он позаимствовал у одного здешнего актера, у которого хорошая голова и большие познания, но он не признает никакой морали; я и люблю и ненавижу его одновременно. Станный человек! В сущности, он добр, великодушен, благороден, готов пойти на самопожертвование; короче говоря, я не вижу у него никаких недостатков, но он аморален, а без морали человек — жалкое существо. Согласен?

Кончаю писать, потому что появился мой ангел, мой добрый гений, и снова наступают счастливые минуты, когда все грустные мысли отлетят и я снова почувствую себя человеком. Передай привет Фальку и скажи, что если ему придется уж очень плохо, пусть вспомнит о моей горькой участи.

Твой Р.»

— Ну, что скажешь?

— Старая история о грызне диких зверей. Знаешь, Игберг, мне кажется, если хочешь чего-нибудь добиться, надо быть очень плохим.

— Попробуй! Быть может, это не так уж просто.

— У тебя есть еще какие-нибудь дела со Смитом?

— К сожалению, нет. А у тебя?

— Я заходил к нему насчет своих стихов. Он купил их у меня, заплатив по десять риксдалеров за лист, так что он убивает меня таким же точно способом, как тот каретник — Реньельма! Боюсь, со мной произойдет нечто подобное, ибо я до сих пор ничего не знаю о судьбе своих стихов. Он был так ужасающе добродушен, что теперь я могу ожидать самого худшего; если бы я только знал, что он задумал. Но что с тобой, брат? Ты совсем побледнел.

— Да, наверное, — ответил Игберг и ухватился за перила. — Последние два дня я ничего не ел, — только эти пять кусочков сахара. Кажется, я сейчас упаду в обморок.

— Если тебе нужно поесть, чтобы почувствовать себя лучше, то все прекрасно. К счастью, у меня сегодня есть деньги.

— Наверное, надо поесть, — чуть слышно ответил Игберг.

Но поесть ему не удалось: когда они вошли в зал и им принесли еду, Игбергу стало совсем плохо, и Фальку пришлось взять его под руку и проводить домой, на Белые горы.

Это был старый одноэтажный деревянный дом, который с трудом вскарабкался вверх по склону холма, казалось, будто у него болят ноги; он был весь пегий, как прокаженный: когда-то его хотели покрасить, но дальше шпаклевки дело не пошло; у него во всех отношениях был чрезвычайно жалкий вид, и трудно было поверить, что, как обещала надпись на медной дощечке, сделанная обществом страхования от пожара, феникс возродится из пламени. Вокруг дома росли одуванчики, крапива и подорожник, верные спутники человека, терпящего нужду; воробьи купались в раскаленной солнцем пыли, взметая ее вокруг себя, а пузатые детишки с бледными прозрачными лицами, словно они от рождения на девяносто процентов состояли из воды, плели ожерелья и браслеты из одуванчиков, а также всячески старались колотушками и руганью еще более отравить друг другу и без того безрадостное существование. Фальк и Игберг поднялись по шаткой, скрипучей деревянной лестнице и вошли в большую комнату, в которой размещалось три отдельных хозяйства, и потому она была разделена мелом на три части. Здесь жили два ремесленника, столяр и сапожник, и вдова с детьми. Когда дети поднимали крик, что происходило через каждые четверть часа, столяр приходил в бешенство и начинал неистово ругаться и проклипать все на свете, а сапожник терпеливо увещевал его, то и дело прибегая к изречениям из Библии. Из-за этих постоянных воплей, ругани и драк у столяра были так напряжены нервы, что, хотя он и был полон решимости вооружиться терпением, уже через пять минут после очередного воззвания сапожника к примирению снова приходил в бешенство и бесился чуть не целый день; но самое худшее наступало

после того, как он вопрошал женщину, «зачем они, чертовки, плодят так много детей», потому что в этом случае оказывался затронутым женский вопрос, и на замечание столяра следовал весьма обстоятельный ответ.

Чтобы попасть в каморку Игберга, нужно было пройти через эту комнату, и хотя Фальк с Игбергом шли медленно и тихо, они все-таки разбудили двоих детей, и пока происходил оживленный обмен мнениями между сапожником и столяром, мать запела колыбельную, отчего столяр тотчас же пришел в неистовство:

— Замолчи, ведьма!

— Сам замолчи! Дай детям заснуть!

— Пошла к черту со своими детьми! Разве это мои дети? Почему я должен страдать из-за чужого распутства? Почему? Разве я распутник? Ну? Разве у меня самого есть дети? Заткнись, а то получишь рубанком по голове!

— Послушай, мастер, мастер! — заговорил сапожник. — Так не годится говорить о детях: детей посылает нам бог!

— Вранье, сапожник! Детей посылает черт, да, да, детей посылает черт! А распутные родители ссылаются потом на бога. Постыдились бы!

— Мастер, мастер! Не сквернословь! В писании сказано, что детям уготовано царствие небесное.

— Да, только их и не хватает в царствии небесном!

— Господи, что он такое говорит! — взорвалась разъяренная мать. — Если у него когда-нибудь будут дети, я попрошу господа бога, чтобы их разбил паралич, чтобы они онемели, оглохли и ослепли, чтобы попали в исправительный дом, а потом и на виселицу! Вот что я сделаю!

— Делай что хочешь, потаскуха! Я не собираюсь плодить детей, чтобы они потом всю жизнь мучились, как собаки; всех бы вас засадить в тюрьму за то, что рожаете этих бедняг, обрекаете их на голод и нищету. Ты ведь не замужем? Конечно нет! Выходит, если не замужем, так, значит, можно распутничать? Да?

— Мастер, мастер! Детей посылает бог!

— Вранье, сапожник! Я прочитал в газете, что у бедняков так много детей из-за этой проклятой картошки. Понимаете, в картошке есть два вещества, которые называются кислород и азот; и когда они соединяются в определенных условиях и в определенных количествах, то женщины становятся очень плодовитыми.

— Ну, и как же нам быть в таком случае? — спросила разобиженная мать, которая стала, понемногу успокаиваться, прослушав интересную лекцию.

— Понятное дело, не есть картошку!

— А что же тогда нам есть, если не картошку?

— Бифштекс будешь есть, старуха! Бифштекс с луком! Годится? Или шато-бриан! Знаешь, что это такое? Не знаешь? Я тут недавно прочитал в «Отечестве», как одна женщина поела спорынью и вместе с ребенком чуть не отправилась на тот свет!

— О чем ты это? — спросила женщина, насторожив уши.

— Какая ты любопытная! Чего тебе?

— Это правда насчет спорыньи? — спросил сапожник, сощурившись.

— Чистая правда! Она тебя наизнанку вывернет, и, между прочим, за это полагается суровое наказание, и правильно полагается.

— Правильно, говоришь? — спросил сапожник глухим голосом.

— Конечно правильно! Того, кто распутничает, надо наказывать, а детей убивать

нельзя.

— Детей! Все-таки здесь есть кое-какая разница, — покорно сказала разобиженная мать. — Но что это за вещество, о котором ты говорил?

— Ах ты, потаскушка! Только и думаешь о том, как бы нарожать детей, хотя ты вдова и у тебя уже пятеро! Берегись этого черта сапожника; он хоть и набожный, но с женщинами обходится круто.

— Значит, правда, есть такая трава...

— Кто сказал, что это трава? Разве я говорил, что это трава? Никогда! Это зоологическое вещество. Понимаете, все вещества — а в природе существует около шестидесяти веществ, — так вот все вещества можно разделить на химические и зоологические; это вещество по-латыни называется *cornutibus secalias* и встречается за границей, например на Калабрийском полуострове.

— Оно, наверное, очень дорого стоит, мастер? — спросил сапожник.

— Дорого! — повторил столяр, подняв рубанок так, словно стрелял из карабина. — Оно стоит дьявольски дорого!

Фальк, который с большим интересом прислушивался к этому разговору, вздрогнул, услышав через открытое окно шум подъехавшего к дому экипажа и два женских голоса, показавшихся ему знакомыми:

— У этого дома очень подходящий вид.

— Подходящий? — возразила женщина постарше. — По-моему, у него ужасный вид.

— Я хочу сказать, что у него подходящий вид для наших целей. Кучер, вы не знаете, живут ли в этом доме бедняки?

— Точно не знаю, но готов поклясться, что здесь их хватает.

— Клясться грешно, так что обойдемся без клятв. Подождите нас, пожалуйста, а мы зайдем в дом и займемся делами.

— Послушай, Эжени, может быть, сначала поговорим с детьми? — спросила ревизорша Хуман у госпожи Фальк.

— Давай поговорим! Пойди сюда, мальчик, как тебя зовут?

— Альберт! — ответил маленький бледный мальчуган лет шести.

— Ты знаешь, кто такой Иисус, мальчик?

— Нет! — ответил мальчуган, улыбаясь, и засунул в рот палец.

— Это ужасно, — сказала госпожа Фальк, доставая записную книжку. — «Приход святой Екатерины. Белые горы. Глубокий Духовный мрак у малолетних». Можно сказать «мрак»? Так, а ты хотел бы узнать? — продолжала она свои расспросы.

— Нет!

— А хочешь получить монетку, мальчик?

— Да!

— Надо сказать спасибо! «В высшей степени непочтительны; однако мягкостью и убеждением можно заставить их вести себя лучше».

— Какой ужасный запах, пойдём, Эжени, — попросила госпожа Хуман.

Они поднялись по лестнице и без стука вошли в большую комнату.

Столяр взял рубанок и принялся строгать суковатую доску, так что обеим дамам приходилось кричать, чтобы их можно было услышать.

— Жаждет ли кто-нибудь из вас спасения и милости господя? — прокричала госпожа Хуман, а госпожа Фальк опрыскивала в это время одеколоном из пульверизатора детей, которые стали громко плакать от жгучей боли в глазах.

— Вы предлагаете нам спасение? — спросил столяр, перестав строгать. — А где вы его достали? Быть может, у вас есть еще и благотворительность, а также унижение и высокомерие? А?

— Вы грубый человек и обречены на гибель, — ответила госпожа Хуман. Тем временем госпожа Фальк что-то записала в свою записную книжечку и сказала: «Неплохо».

— Послушаем, что он еще скажет! — заявила ревизорша.

— А то, что все это мы уже слышали! Не хотите ли поговорить со мной о религии? Я могу говорить о чем угодно! Вам известно, что в восемьсот двадцать девятом году состоялся Никейский собор и выработанные им Шмакхалдинские тезисы стали воплощением святого духа?

— Нет, добрый человек, об этом нам ничего не известно.

— Вы называете меня добрым? Единый бог добр, сказано в священном писании, и больше никто! Значит, вы ничего не знаете о Никейском соборе восемьсот двадцать девятого года? Как же вы тогда можете поучать других, если сами ничего не знаете? Ну, а если уж вы теперь собираетесь заняться благотворительностью, то принимайтесь скорее за дело, а я повернусь к вам спиной, ибо подлинная благотворительность совершается втайне. Однако испытывайте свою благотворительность на детях, они еще не умеют защищаться, а к нам не подходите! Лучше дайте нам работу и научитесь оплачивать наш труд, тогда вам не нужно будет столько бегать и суетиться!

— Можно это записать так, Эвелина? — спросила госпожа Фальк. — «Глубокое неверие, закоренелость...»

— Лучше — «ожесточение», дорогая Эжени!

— Что изволите записывать? Наши грехи? Тогда понадобится книжечка побольше...

— «Результат так называемых рабочих союзов...»

— Очень хорошо, — заметила ревизорша.

— Берегитесь рабочих союзов, — сказал столяр. — Сотни лет мы били по королям и только теперь сообразили, что не в них дело; в следующий раз мы ударим по бездельникам, которые живут за счет чужого труда, черт побери, посмотрим, что будет!

— Тише, тише! — успокаивал его сапожник. Разобиженная мать, которая все это время не спускала глаз с госпожи Фальк, воспользовалась наступившей паузой и спросила:

— Простите, вы не госпожа Фальк?

— Конечно нет! — ответила госпожа Фальк с убежденностью, которая поразила даже госпожу Хуман.

— О господи, как же вы похожи на ту женщину; я знала ее отца, шкипера Ронока с Хольмана, еще когда он был простым матросом.

— Все это, конечно, очень интересно, но к делу не относится... Есть здесь еще нуждающиеся в спасении?..

— Нет, — ответил столяр, — они нуждаются не в спасении, а в пище и одежде, но больше всего им нужна работа, много работы, и хорошо оплачиваемой работы. Но не советую дамам заходить к ним, потому что у одного из них оспа.

— Оспа! — воскликнула госпожа Хуман. — И нам не сказали ни слова! Пошли скорее, Эжени, и вызовем сюда полицию. Фу, какие люди!

— А как же дети! Чьи это дети? Отвечайте! — приказала госпожа Фальк,

погрозив карандашом.

— Мои, добрая госпожа, — сказала мать.

— А муж? Где муж?

— Его и след простыл, — заметил столяр.

— Так! Тогда мы сообщим о нем в полицию. И засадим его в работный дом. Мы все здесь перевернем вверх дном! Действительно, это очень подходящий для нас дом, Эвелина!

— Не угодно ли вам присесть? — спросил столяр. — Беседовать ведь лучше сидя; правда, у нас нет стульев, но это не беда; к сожалению, у нас нет и кроватей, ими мы заплатили налог. *Pro primo*¹³, за газовое отопление, чтобы не нужно было по вечерам возвращаться из театра в темноте, хотя, как видите, газа у нас нет; *pro secundo*¹⁴, за водопровод, чтобы прислуге не надо было бегать по лестницам, хотя водопровода у нас тоже нет; *pro tertio*¹⁵, за больницу, чтобы нашим сыновьям не надо было болеть дома...

— Пошли, Эжени, ради бога; это становится невыносимым...

— Уверяю вас, дорогие дамы, это уже невыносимо, — заметил столяр. — И наступит день, когда станет еще хуже, но тогда, тогда мы спустимся и с Белых гор, и с Прибрежных гор, и с Немецких гор, и спустимся с большим грохотом, подобно грохоту водопада, и потребуем, чтобы нам вернули наши кровати. Потребуем? Нет, заберем! А вы будете спать на верстаках, как сейчас сплю я, и будете есть картошку, так что ваши животы раздуются, словно вас подвергли пытке водой, как нас...

Обе дамы исчезли, оставив кипу брошюр.

— Фу-ты, черт, как пахнет одеколоном! Совсем как от уличных девок! — сказал столяр. — Так-то вот, сапожник!

Он вытер своим синим фартуком лоб и снова взялся за рубанок, а остальные погрузились в размышления.

Игберг, который все это время дремал, теперь очнулся и стал приводить себя в порядок, чтобы уйти вместе с Фальком. С улицы через открытое окно снова слышался голос госпожи Хуман:

— Почему она говорила о каком-то шкипере? Ведь твой отец капитан?

— Его так прозвали. Впрочем, шкипер и капитан — одно и то же. Ты ведь знаешь. Но до чего наглый сброд! Сюда я больше ни ногой! А отчет получится неплохой, вот увидишь. Поехали на Хассельбаккен!

Глава семнадцатая Человеческая природа

После обеда Фаландер сидел дома и разучивал роль, когда слышался легкий стук в дверь, два двойных удара. Он вскочил, набросил халат и открыл дверь.

— Агнес! Какая редкая гостья!

— Да, вот решила зайти проведать тебя; чертовски скучно живется!

¹³ Во-первых (лат.).

¹⁴ Во-вторых (лат.).

¹⁵ В-третьих (лат.).

— Ты, оказывается, умеешь ругаться.
— Позволь мне немного поругаться, это так приятно.
— Гм! Гм!
— И дай папиросу — я уже шесть недель не курила. С ума можно сойти от этих уроков воспитания.
— Он такой строгий?
— Черт бы его побрал!
— О, Агнес, как ты выражаешься!
— Мне нельзя курить, нельзя ругаться, нельзя пить пунш, нельзя отлучаться по вечерам! Только бы выйти замуж! А уж тогда!
— Это он всерьез?
— Абсолютно всерьез! Взгляни на этот носовой платок!
— Инициалы «А. Р.» с короной? Семейный герб?
— У нас с ним одинаковые инициалы, я и позаимствовала у него платок!
Здорово?

— Здорово! Значит, дело зашло довольно далеко!
Ангел в голубом платье бросился, как капризное дитя, на диван и затянулся папиросой. Фаландер окинул всю ее взглядом, словно мысленно прикидывал, сколько она стоит, потом спросил:

— Выпьешь пунша?
— С удовольствием!
— Ну, а ты любишь своего жениха?
— Он не из тех мужчин, кого можно по-настоящему любить. Впрочем, не знаю. Люблю? Гм! А что это, собственно, такое?
— Да, что это такое?
— О! Ну, уж ты-то знаешь, что это такое. Он очень достойный человек, даже слишком... но, но, но...
— Что но?
— Он слишком уж порядочный...

Она посмотрела на Фаландера с такой улыбкой, что, если бы ее жених увидел ее, он был бы немедленно спасен.

— Он не позволяет себе никаких вольностей в отношении тебя? — спросил Фаландер с любопытством и беспокойством в голосе.

Она выпила пунш, выразительно помолчала, покачала головой и наконец сказала, театрально вздохнув:

— Никаких!
Фаландер, видимо, остался доволен ответом, и у него явно отлегло от сердца. Затем он продолжал свой инквизиторский допрос:

— Может пройти немало времени, прежде чем вы поженитесь. Он не получил еще ни одной роли.

— Знаю.
— Тебе не надоест ждать?
— Наберусь терпения.
«Придется прибегнуть к пытке», — подумал Фаландер.
— Ты ведь знаешь, что Женни сейчас моя любовница?
— Старая уродливая потаскуха!

На лице Агнес вдруг возник целый сноп белых всполохов северного сияния и все

мускулы пришли в движение, словно от прикосновения к гальваническому столбу.

— Не такая уж она старая, — хладнокровно ответил Фаландер. — Ты слышала, официант из погребка дебютирует в новой пьесе в роли дона Диего, а Реньельм сыграет его слугу. Официант, несомненно, будет иметь успех, роль эта играет сама собой, а бедняга Реньельм сгорит со стыда.

— Господи, что ты говоришь!

— Говорю то, что есть.

— Этого нельзя допустить!

— А кто может помешать?

Она вскочила с дивана, осушила стакан с пуншем и, горько расплакавшись, воскликнула:

— О, какой гадкий, гадкий мир! Словно какая-то злая сила сидит в засаде и подстерегает наши желания, чтобы убить их, подкарауливает наши надежды, чтобы разрушить их, выведывает наши мысли, чтобы задушить их. Если бы кто-нибудь мог пожелать себе самому всего самого плохого, то ему стоило бы рискнуть, чтобы одурачить эту силу!

— Совершенно верно, друг мой. Поэтому всегда нужно рассчитывать на самое худшее. И не так уж это все страшно, как кажется на первый взгляд. Послушай, вот что я тебе скажу в утешение. Всякий раз, когда тебе что-то удастся, это происходит за счет кого-нибудь другого; если ты получаешь роль, другой остается без роли и корчится, как раздавленный червяк, а ты, следовательно, невольно совершаешь зло и само твое счастье оказывается отравленным. Пусть твоим утешением в несчастье будет мысль, что при каждой неудаче ты совершаешь, хотя и непреднамеренно, доброе дело, а наши добрые дела — ведь это единственное, что доставляет нам чистое наслаждение.

— Я не хочу совершать никаких добрых дел, мне не нужны чистые наслаждения, у меня есть такое же право на счастье, как и у всех других, и я... буду... счастлива!

— Чего бы это тебе ни стоило?

— Чего бы это мне ни стоило, я перестану играть роли камеристок твоей любовницы!

— А, ты ревнуешь! Научись, мой друг, находить удовольствие в несчастье, это мудрее... и гораздо интереснее.

— Ответь мне на один вопрос: она любит тебя?

— Боюсь, она даже слишком привязалась ко мне.

— А ты?

— Я? Я никого не буду любить, кроме тебя, Агнес!

Он схватил ее за руку.

Она порывисто вскочила с дивана.

— Как по-твоему, а существует на самом деле то, что мы называем любовью? — спросила она, устремив на него огромные зрачки своих глаз.

— Думаю, что любовь бывает разная.

Она прошла по комнате и остановилась у двери.

— Ты любишь меня всю целиком, безраздельно? — спросила она, положив руку на дверной замок.

Подумав две секунды, он ответил:

— У тебя злая душа, а я не люблю зла!

— При чем тут душа? Любишь ли ты меня? Меня?

- Да! Очень...
 - Зачем же ты отдал меня Реньельму?
 - Затем, чтобы проверить, смогу ли жить без тебя.
 - Значит, ты лгал, когда говорил, что я надоела тебе?
 - Да, лгал!
 - О, дьявол!
- Она вынула из замка ключ, а он опустил жалюзи.

Глава восемнадцатая Нигилизм

Когда дождливым сентябрьским вечером Фальк возвращался домой, то, выйдя на Грев-Магнигатан, он увидел, к своему удивлению, у себя в окне свет. Подойдя ближе и заглянув в комнату, он заметил на потолке тень, смутно напоминающую кого-то, кого он уже видел раньше, но кого именно, он никак не мог припомнить. Это была крайне жалкая фигура, а с близкого расстояния она казалась еще более жалкой. Фальк вошел в комнату — за его письменным столом сидел, опустив голову на руки, Струве. Мокрая от дождя одежда висела на нем как тряпка, по полу бежали ручейки воды, стекая в щели; его волосы космами свисали на лоб, а английские бакенбарды, всегда такие ухоженные, опускались как сталактиты на мокрый сюртук. Возле него на столе лежал черный цилиндр, прогнувшийся от собственной тяжести, словно оплакивал утраченную молодость — на нем был траурный креп.

- Добрый вечер! — сказал Фальк. — Какой знатный гость пожаловал.
- Не издевайся надо мной, — попросил Струве.
- А почему бы мне и не поиздеваться над тобой? Что мне может помешать?
- Я вижу, ты тоже сильно изменился.
- Ну, в этом можешь не сомневаться; не исключено даже, что я, по твоему примеру, скоро стану консерватором. А ты в трауре; надеюсь, тебя можно поздравить.
- Я потерял ребенка.
- Тогда поздравить надо его! Ну ладно, что тебе, собственно, от меня нужно? Ты ведь знаешь, что я презираю тебя; полагаю, ты и сам себя презираешь. Не правда ли?
- Правда, но послушай, друг мой, тебе не кажется, что жизнь и без того такая горькая, что едва ли стоит делать ее еще горше, досаждая друг другу? Если господа богу и провидению это и доставляет удовольствие, то человеку все-таки не следует вести себя так низко.
- Что ж, мысль разумная; она делает тебе честь. Надень халат, пока твой сюртук высохнет, а то ты совсем замерз.
- Спасибо, но мне скоро надо идти.
- Может, останешься ненадолго, поговорим немного?
- Не люблю говорить о своих несчастьях.
- Тогда расскажи о своих преступлениях.
- Я не совершал преступлений.
- О, еще как совершал! Страшные преступления! Ты давил своей тяжелой рукой угнетенных, топтал оскорбленных, издевался над обездоленными! Ты помнишь последнюю забастовку, когда выступал на стороне полиции?
- На стороне закона, брат мой.
- Ха, на стороне закона! А кто писал законы для бедняков, безумец? Богатые!

Иными словами, господа пишут законы для рабов.

— Законы пишет весь народ и его общественное правосознание; их пишет сам господь.

— Оставь эти красивые слова, когда говоришь со мной! Кто придумал закон от тысяча семьсот тридцать четвертого года? Господин Кронельм! Кто придумал последний закон о телесных наказаниях? Полковник Сабельман! Он внес этот законопроект на рассмотрение риксдага, заручившись поддержкой своих приятелей, которые составляли тогда большинство. Полковник Сабельман — это еще не народ, а его приятели — не общественное правосознание. Кто предложил закон о правах акционерных обществ? Председатель суда Свиндельгрэн! Кто написал новое положение о риксдаге? Ассессор Валониус! Кто внес законопроект о «законной защите», то есть закон о защите богатых от законных требований бедняков? Оптовый торговец Кридгрэн! Молчи! Я наперед знаю все твои высокопарные слова! Кто придумал закон о престолонаследии? Преступники! А закон об охране лесов? Воры! А кто подготовил закон о правах частных банков в связи с эмиссией банковских билетов? Мошенники! И ты утверждаешь, что все это делает бог? Бедный бог!

— Разреши дать тебе один совет, совет на всю жизнь, который мне самому подсказал опыт. Если ты все-таки хочешь избежать самосожжения, совершить которое так фанатично стремишься, то тебе нужно как можно скорее выработать новый взгляд на вещи; научись смотреть на мир с высоты птичьего полета, и ты увидишь, как все это мелко и ничтожно; исходи из того, что мир — это помойка, люди — жалкие отбросы, яичная скорлупа, морковная ботва, капустные листья, грязное тряпье, и тебя больше никогда не застанут врасплох, у тебя не останется никаких иллюзий, но зато ты испытаешь радость всякий раз, когда тебе откроется что-то действительно красивое или кто-нибудь совершит действительно благородный поступок; относись к миру со спокойным и молчаливым презрением — тебе нечего бояться, что из-за этого ты станешь бессердечным.

— Такого взгляда на вещи я, правда, еще не выработал, но презрением к миру в какой-то мере уже проникся. Но моя беда в том, что, когда я вижу хотя бы одно-единственное проявление доброты или благородства, я снова люблю людей и переоцениваю их и снова бываю обманут.

— Стань эгоистом! А людей отправь ко всем чертям!

— Боюсь, это у меня не получится.

— Тогда найди себе другое занятие. Договорись, в конце концов, с братом; он, кажется, преуспевает. Я видел его вчера на церковном совете в приходе святого Николая.

— На церковном совете?

— Да, он член церковного совета. У этого человека большое будущее. Пастор примариус весьма любезно поздоровался с ним. Скоро он станет членом городского муниципалитета, как и все владельцы земельных участков.

— А как сейчас обстоят дела у «Тритона»?

— Они занялись облигациями; твой брат ничего не потерял, хотя и ничего не приобрел; нет, у него другие замыслы.

— Не будем больше говорить о нем.

— Но ведь он твой брат!

— Разве это его заслуга, что он мой брат? Ну что ж, кажется, мы уже обо всем переговорили; теперь скажи, что привело тебя ко мне?

— Понимаешь, завтра похороны, а у меня нет фрака.

— Пожалуйста, возьми мой...

— Спасибо, брат, ты помогаешь мне выйти из очень затруднительного положения. Но это еще не все: есть одно дело еще более щекотливого свойства...

— И все-таки я не понимаю, почему ты выбрал именно меня, своего врага, в качестве поверенного в таких щекотливых вопросах?

— Потому что у тебя есть сердце...

— На это теперь не очень рассчитывай. Ну ладно, продолжай...

— Ты стал такой раздражительный, совсем не похож на себя! А ведь когда-то ты был такой мягкий.

— Это было когда-то, я же сказал. Ну, что дальше?

— Я хотел спросить, не сможешь ли ты поехать со мной на кладбище?

— Гм! Я? Почему ты не обратишься к кому-нибудь из «Серого плаща»?

— Потому что есть кое-какие обстоятельства! Я могу сказать тебе. Я не венчался в церкви.

— Не венчался? Ты, защитник алтаря и нравственности, пренебрегаешь священными узами брака?

— Бедность, обстоятельства! И все равно я счастлив! Моя жена любит меня, а я люблю ее! Но есть еще одно неприятное обстоятельство. По целому ряду причин ребенка не успели крестить; ему было всего три недели, когда он умер, поэтому на похоронах не будет священника, но я не решаюсь сообщить об этом жене, потому что тогда она придет в отчаяние; я сказал ей, что священник придет прямо на кладбище; я это говорю, чтобы ты знал. А она, конечно, останется дома. Ты встретишься только с двумя людьми: одного зовут Леви, он младший брат директора «Тритона» и служит в правлении общества; это очень милый молодой человек, у него необычайно светлая голова и еще более светлая душа. Не улыбайся, пожалуйста, я знаю, ты думаешь, что я беру у него в долг деньги; конечно, это случается, но все равно, вот увидишь, он тебе понравится. И еще там будет мой старый друг доктор Борг, который лечил ребенка. Это человек без предрассудков, с очень передовыми взглядами на жизнь, впрочем, ты сам убедишься. Так я могу рассчитывать на тебя? Нас в карете будет всего четверо и, конечно, дитя в гробу.

— Да, я приду.

— Но я хочу попросить тебя еще об одном одолжении. Понимаешь, моя жена очень религиозна, и ее терзают сомнения, обретет ли душа ребенка вечное блаженство, поскольку он умер некрещеным, и, чтобы вернуть себе душевный покой, она спрашивает всех подряд, что они думают по этому поводу.

— Но ведь ты знаешь Аугсбургское исповедание?

— А при чем здесь исповедание?

— А при том, что если ты работаешь в газете, то должен придерживаться официальной веры.

— Газета, да... но газету издает акционерное общество, и если общество хочет укреплять веру, устои христианства, то я укрепляю их, поскольку работаю на общество... но это совсем другое дело... Будь добр, успокой ее, если она станет спрашивать, обретет ли ребенок вечное блаженство.

— Ну, конечно. Чтобы сделать человека счастливым, я даже сам готов отречься от веры, особенно если сам не верю. Но не забудь сказать, где ты живешь.

— Ты знаешь, где находятся Белые горы?

— Знаю. Ты, наверное, живешь в том вымазанном шпаклевкой доме, что стоит на холме?

— Откуда тебе это известно?

— Я там был однажды.

— Может быть, ты знаком с этим социалистом Игбергом, который портит мне людей? Я помощник домовладельца и живу там бесплатно, за то что собираю для Смита квартирную плату с остальных жильцов; но когда у них нет денег, они начинают молоть всякий вздор, которому их научил Игберг, насчет «труда и капитала» и разную прочую чепуху, что появляется в газетах, жадных на скандалы.

Фальк промолчал.

— Так ты знаешь этого Игберга?

— Да, знаю. Не хочешь ли примерить фрак?

Надев фрак, Струве натянул поверх него свой мокрый сюртук, застегнул его на все пуговицы до самого подбородка, зажег основательно разжеванный окуроч с сигары, насаженный на спичку, и вышел из комнаты.

Фальк вышел следом за ним посветить ему на лестнице.

— Тебе далеко идти, — заметил Фальк, чтобы как-то сгладить остроту положения.

— Да, не близко. А я без зонтика.

— И без пальто. Может, возьмешь пока мое зимнее пальто?

— О, большое спасибо, ты так добр!

— Ничего, занесешь, когда представится случай!

Фальк вернулся в комнату, достал пальто и, снова выйдя на лестницу, сбросил его Струве, который дожидался внизу в прихожей, потом коротко пожелал ему доброй ночи и вошел в комнату. Ему показалось, что в комнате душно, и он открыл окно. Шел проливной осенний дождь, стучал по крышам и потоками воды низвергался на грязную улицу. В казарме напротив пробили вечернюю зорю, потом запел хор, и через открытые окна стали доноситься отрывочные строфы псалма.

Фальк чувствовал себя усталым и опустошенным. Он намеревался сразиться с человеком, который был в его глазах олицетворением всего самого враждебного ему на свете, но враг бежал, одержав в известном смысле над ним победу. Фальк никак не мог понять, о чем же они все-таки спорили, точно так же как не мог четко уяснить, кто же из них в конечном счете оказался прав. И тогда он стал размышлять: уж не является ли дело, которому он решил посвятить свою жизнь — борьба за права угнетенных, чем-то совершенно нереальным, просто химерой. Но уже в следующее мгновение он упрекнул себя в малодушии, и фанатическая вера в добро, которая постоянно тлела в его душе, вновь разгорелась ярким пламенем. Он сурово осудил свою слабость, которая вечно делала его таким уступчивым; враг только что был у него в руках, а он даже не выказал ему своего глубочайшего отвращения, более того, отнесся к нему в высшей мере благожелательно и сочувственно; теперь тот может думать о нем все, что угодно. Эта его снисходительность — никакое не достоинство, потому что помешала ему принять твердое решение; это просто моральная расхлябанность, лишавшая его сил в той борьбе, вести которую ему становилось все труднее. Он живо ощущал необходимость потушить как можно скорее огонь под котлами, которые больше не выдерживают такого высокого давления, поскольку пар не производит никакой работы; задумавшись над советом Струве, он думал так долго, что мысли его пришли в то хаотическое состояние, когда правда и ложь, законность и

произвол в трогательном согласии вдруг пускаются в пляс, а мозг, в котором благодаря академическому образованию все понятия лежали разложенные по полочкам, скоро стал похож на растасованную колоду карт. Весьма успешно он сумел настроить себя на полнейшее безразличие ко всему на свете, потом принялся выискивать у своего врага добрые намерения, побуждавшие его совершать те или иные поступки, постепенно убедился в своей неправоте, почувствовал себя примиренным с существующим миропорядком и в конце концов пришел к пониманию той высокой истины, что, в сущности, вообще не имеет значения, какого все цвета — черного или белого. И если черное, то у него, Фалька, нет никакой уверенности в том, что это не должно быть именно черным, а следовательно, ему вовсе не подобает желать чего-то другого. Такое душевное состояние показалось ему очень приятным, ибо создавало то ощущение покоя, какого он не испытывал уже многие годы, посвятив их попечению о страждущем человечестве. Он сидел и наслаждался покоем, так хорошо сочетавшимся с трубкой крепкого табаку, пока не пришла уборщица, чтобы застелить постель и передать ему письмо, которое принес почтальон. Письмо было от Олле Монтануса, очень длинное, и, кажется, произвело на Фалька довольно сильное впечатление. Оно гласило:

«Дорогой брат!

Хотя мы с Лунделлем наконец закончили нашу работу и скоро будем в Стокгольме, у меня все же появилась потребность изложить тебе впечатления минувших дней, так как они приобретают немалое значение для меня и всего моего духовного развития, ибо я сделал важный для себя вывод и теперь похож на недавно вылупившегося цыпленка, который изумленно смотрит на мир внезапно открывшимися глазами и разбрасывает яичную скорлупу, что так долго затмевала свет. Конечно, вывод этот не нов; его сделал Платон еще до возникновения христианства: действительность, видимый мир — это лишь подобие и отражение идей, иными словами, действительность есть нечто низменное, незначительное, второстепенное, случайное. Именно так! Но воспользуюсь синтетическим методом и начну с частного, чтобы потом перейти к всеобщему.

Сперва расскажу немного о своей работе, которая стала предметом совместной заботы риксдага и правительства. На алтаре трескольской церкви когда-то стояли две деревянные статуи, потом одну из них разломали, а другая осталась целой и невредимой. Это была женская фигура, и в руке она держала крест; обломки другой статуи в двух мешках хранились в ризнице. Один ученый археолог исследовал содержимое обоих мешков, чтобы восстановить облик статуи, однако мог лишь примерно догадываться, какой она была раньше. Тем не менее ученый этот принялся за дело весьма основательно; он взял на пробу немного белой краски, которой была загрунтована статуя, отослал ее в фармацевтический институт и получил оттуда подтверждение, что краска содержит свинец, а не цинк, и следовательно, статуя была изваяна до 1844 года, поскольку цинковыми белилами начали пользоваться именно в том году. (Чего стоит подобный вывод, если предположить, что статую перекрасили.) Потом он отослал в Стокгольм на какое-то столярное предприятие пробу материала и получил ответ, что это береза. Таким образом, оказалось, что статуя из березы и сделана до тысяча восемьсот сорок четвертого года. Однако ученому археологу хотелось получить совсем другие данные; у него были основания (!), а вернее, горячее желание установить ради чести своего имени, что обе статуи были созданы в

шестнадцатом веке, и лучше всего, чтобы их создателем оказался великий (ну, разумеется, великий, поскольку его имя было вырезано на дубе и потому сохранилось до наших дней) Бурхардт фон Шиденханне, который украсил резьбой стулья на хорах собора в Вестеросе. Научные исследования продолжались. Ученый отколупнул немного гипса от статуй в Вестеросе и вместе с пробами гипса из ризницы трескольской церкви послал его в Париж в Политехнический институт. Для скептиков и клеветников ответ был убийственный: и в Вестеросе и в Тресколе гипс был одинаковый по составу — семьдесят семь процентов извести и двадцать три процента серной кислоты, и следовательно, статуи принадлежали к одной и той же эпохе. Итак, возраст статуй был установлен; неповрежденную статую срисовали и отослали (ужасная страсть у этих ученых все куда-нибудь „отсылать“) в Академию памятников старины; теперь оставалось только реконструировать разломанную статую. В течение двух лет оба мешка отсылались из Упсалы в Лунд, а из Лунда обратно в Упсалу; к счастью, оба профессора, из Лунда и из Упсалы, на этот раз разошлись во мнениях, в результате чего разгорелась острая борьба. Профессор из Лунда, который незадолго перед тем стал ректором, написал исследование о статуе, включив его в свою учебную программу, и разбил в пух и прах профессора из Упсалы, который в ответ опубликовал целую брошюру. В это же время выступил профессор Академии искусств в Стокгольме, который придерживался совершенно иного мнения, и, как это всегда бывает в подобных случаях, Ирод и Пилат быстро пришли к „соглашению“ и, вместе напав на столичного профессора, разгромили его со всей злостью, на какую только способны провинциалы. Смысл этого „соглашения“ сводился к тому, что разломанная статуя изображает Неверие, а неповрежденная — Веру, символом которой является крест. Догадку (профессора из Лунда), будто разломанная статуя изображает Надежду, поскольку в мешке нашли коготь якоря, пришлось отвергнуть, ибо она предполагала существование третьей статуи, изображавшей Любовь, никаких следов которой, а также места, где она стояла, обнаружить не удалось; кроме того, оказалось (о чем свидетельствует богатая коллекция наконечников стрел в экспозиции Исторического музея), что якорный коготь вовсе никакой не коготь, а наконечник стрелы, то есть оружие, символизирующее Неверие, смотри „К евреям“, гл. 7, ст. 12, где говорится о слепых стрелах неверия, а также у Исаяи, гл. 29, ст. 3, где не раз упоминаются все те же стрелы неверия. Форма наконечника, который ничем не отличается от наконечников эпохи регента Стуре, рассеяла последние сомнения относительно возраста статуй.

Моя работа заключалась в том, чтобы, как предложили оба профессора, создать изображение Неверия, которое противопоставляется Вере. Задача была поставлена, и все казалось абсолютно ясным. Я начал искать натурщика, ибо здесь нужен был именно мужчина; я искал долго, но в конце концов нашел, и мне представляется, что я нашел само неверие в человеческом образе. Мой замысел удался — и блестяще! Слева от алтаря теперь стоит актер Фаландер с мексиканским луком из спектакля „Фердинанд Кортес“ и в разбойничьем плаще из „Фра Дьяволо“; однако прихожане убеждены, что это Неверие, которое сложило оружие перед Верой, а пробст, заказавший мне эту работу, произнес проповедь по случаю освящения статуй, упомянув о тех чудесных дарах, что господь посылает порой людям, а теперь ниспослал и мне; граф, устроивший по этому поводу праздничный обед, заявил, что я создал шедевр, который можно поставить в один ряд с произведениями античного искусства (он видел их в Италии), а студент, живущий у графа в качестве репетитора,

воспользовавшись удобным случаем, опубликовал стихи, в которых рассматривал понятие возвышенно прекрасного и делал небольшой экскурс в историю мифа о дьяволе.

До сих пор, как настоящий эгоист, я распространялся только о самом себе! Что же можно сказать о запрестольном образе Лунделля? Он изображает такой сюжет: на заднем плане Христос (Реньельм), распятый на кресте; слева — нераскаявшийся разбойник (я, — этот негодяй нарисовал меня еще более некрасивым, чем я есть на самом деле); справа — раскаявшийся разбойник (сам Лунделль, устремивший на Реньельма свой ханжеский взгляд); у подножья креста: Мария Магдалина (Мария, ты помнишь ее, в одежде с глубоким вырезом) и римский центурион (Фаландер) верхом на лошади (племенной жеребец присяжного заседателя Олссона).

Не поддается описанию, какое ужасное впечатление произвела на меня эта картина, когда после проповеди занавеска упала, и все эти столь хорошо знакомые нам лица устремили взгляд на прихожан, которые благоговейно внимали выпренным словам пастора о высоком предназначении искусства, особенно если оно служит делу религии. В это мгновение с моих глаз спала пелена, и мне открылось многое, многое, и когда-нибудь я тебе расскажу, что теперь думаю о вере и неверии. Что же касается искусства и его высокой миссии, то свои соображения на этот счет я изложу в публичной лекции, которую прочту, как только вернусь в Стокгольм.

Какого огромного накала достигло в эти „незабываемые“ дни религиозное чувство Лунделля, ты сам легко можешь себе представить. Он счастлив, относительно, поддавшись этому колоссальному самообману, и не отдает себе отчета в том, что сам он всего лишь обманщик.

Я, кажется, сообщил тебе все самое главное, а остальное доскажу при встрече.

До свидания и всего доброго.

Твой верный друг

Олле Монтанус.

Р. S. Кстати, я забыл тебе рассказать об исходе исследований в области памятников старины. Они закончились тем, что некий Ян из приюта для бедных неожиданно вспомнил, что еще в детстве видел эти статуи; их было три, и они назывались Вера, Надежда и Любовь, и поскольку Любовь была самая большая (Матф., 12 и 9), то она стояла над алтарем. Примерно в тысяча девятьсот десятом году или немного позднее она и Вера раскололись от удара молнии. Эти статуи изготовил его отец, корабельный столяр.

О. М.»

Прочтя письмо, Фальк сел за письменный стол, проверил, есть ли в лампе керосин, зажег трубку и, вытащив из ящика стола рукопись, начал писать.

Глава девятнадцатая **С Нового кладбища в «Северную гору»**

Сентябрьский день над столицей был серым, теплым и тихим, а Фальк все шел и шел, поднимаясь к южным холмам. На кладбище святой Екатерины он присел отдохнуть; он испытывал истинное наслаждение, видя, как покраснели прихваченные ночными заморозками клены, и сердечно приветствовал осень с ее мраком, серыми

облаками и опадающей листвой. Не было ни ветерка; казалось, сама природа отдыхает, утомленная недолгим летним трудом; здесь все отдыхало, люди лежали в своих могилах, обложенных дерном, такие спокойные и кроткие, какими никогда не были при жизни, и ему захотелось, чтобы все лежало здесь, все, включая и его самого. Пробыли часы на башне; Фальк встал и пошел дальше, миновал Садовую улицу, свернул на Новую улицу, которая, казалось, была новой вот уже добрую сотню лет, перешел Новую площадь и оказался на Белых горах. Он остановился перед измазанным шпаклевкой домом и стал прислушиваться к болтовне детей, расположившихся на пригорке; они говорили громко и в достаточной мере откровенно и за разговором обтачивали небольшие камушки из кирпича, чтобы играть в «классики».

— Янне, что у вас было на обед?

— А тебе какое дело?

— Какое дело? Говоришь, какое дело? Смотри, получишь у меня!

— У тебя? Тоже мне нашелся! Вот как дам в глаз!

— Да, нашелся! На днях я тебе уже наподдал, когда мы были на Хаммарском озере! Еще хочешь?

— А, заткнись!

Янне «наподдали», и снова воцарилось спокойствие.

— Послушай, Янне, это ты украл салат с огорода возле святой Екатерины? А?

— Тебе хромой Олле наболтал?

— И тебя не зацапали в полицию?

— Думаешь, я боюсь полиции? Как бы не так!

— Ну, раз не боишься, пошли вечером за грушами.

— Там забор, а за забором злые собаки.

— Ерунда, трубочист Пелле в один миг перемахнет через забор, а собак можно прогнать.

Шлифовку кирпичей прерывает уборщица, которая выходит из дома и разбрасывает по заросшей травой улице еловые ветки.

— Кого это сегодня хоронят, черт бы их всех подрал? — спрашивает она.

— Ребенка, которого помощник хозяина снова прижил со своей бабой!

— Ну и гад этот помощник хозяина; чуть что — придирается!

Вместо ответа мальчуган стал насвистывать какую-то странную мелодию, которая в его исполнении звучала очень своеобразно.

— Зато мы лупим его щенят, когда они возвращаются из школы. А его баба, уж можешь мне поверить, опять слегка опухла. Недавно мы не смогли заплатить за квартиру, так эта чертова сука выгнала нас ночью на мороз, и нам пришлось ночевать в сарае.

Разговор прекратился, поскольку последнее сообщение, по-видимому, не произвело на их собеседницу должного впечатления.

Нельзя сказать, чтобы у Фалька, когда он входил в дом, было особенно радужное настроение после всего того, что он услышал от уличных мальчишек.

В дверях его встретил Струве, — изобразив на лице скорбь и схватив его за руку, он словно хотел поведать ему какую-то тайну или выжать хотя бы одну слезинку: во всяком случае, что-то надо было делать, и Фальк обнял его.

Он очутился в большой комнате, где стояли обеденный стол, буфет, шесть стульев и гроб. На окнах висели белые простыни, сквозь которые пробивался дневной

свет, сливаясь с красноватым сиянием двух стеариновых свечей; на стол поставили поднос с зелеными бокалами и суповую миску с георгинами, левкоями и астрами. Струве взял Фалька за руку и подвел к гробу, в котором на покрытых тюлем стружках лежало безымянное дитя, осыпанное красными, словно капельки крови, лепестками.

— Вот, — сказал он, — вот!

Фальк не испытывал никаких других чувств, кроме тех, что всегда вызывает присутствие покойника, и потому не нашел подобающих случаю слов, ограничившись тем, что крепко сжал руку безутешного отца, который сказал в ответ:

— Благодарю, благодарю! — и удалился в соседнюю комнату. Фальк остался один; сначала он услышал взволнованный шепот из-за двери, за которой только что исчез Струве; потом какое-то время было тихо, но затем послышалось неясное бормотание, проникавшее сквозь тонкую дощатую стену; он различал лишь отдельные слова, но ему показалось, что он узнает голоса.

Сначала чей-то пронзительный дискант быстро, скороговоркой, произносил длинные фразы.

— Бабебибубюбыбобэбе. Бабебибубюбыбобэбе. Бабебибубюбыбобэбе, — доносилось из-за стены.

Ему отвечал под аккомпанемент рубанка сердитый мужской голос: вичо-вичо-вич-вич-хич-хич.

Потом медленное раскатистое мум-мум-мум-мум. Мум-мум-мум-мум. После этого рубанок снова начинал чихать и откашливать свое «вич-вич». А затем целая буря бабили-бебили-бибили-бубили-бюбили-быбили-бобили-бэбили-бе!

Фальку казалось, что он понимает, какие вопросы обсуждаются за стеной — судя по интонации, речь шла о покойном младенце.

И снова из-за двери донесся взволнованный шепот, прерываемый рыданиями; потом дверь открылась, и в комнату вошел Струве, ведя за руку жену, прачку, одетую в черное, с красными заплаканными глазами. Струве представил ее с достоинством главы семейства:

— Моя жена; ассессор Фальк, мой старый друг!

Она протянула Фальку руку, жесткую, как стиральная доска, и изобразила улыбку, кислую, как уксус. Фальк торопливо старался построить фразу, в которой непременно должны были присутствовать два слова: «сударыня» и «скорбь», что ему кое-как удалось, и Струве заключил его в свои объятия.

Супруга, которой непременно хотелось поддержать разговор, сказав что-нибудь любезное, принялась чистить своему супругу спину, а потом заметила:

— Просто ужасно, как Кристиан умеет выпачкаться; спина у него все время грязная. Не правда ли, господин ассессор, он у меня настоящий поросенок?

Этот преисполненный любви вопрос бедняге Фальку удалось оставить без ответа, ибо в этот самый миг за материнской спиной вдруг появились две рыжие головы и с насмешливой ухмылкой уставились на гостя. Мать нежно потрепала их по волосам и спросила:

— Вы когда-нибудь еще видели, господин ассессор, таких уродов? По-моему, они очень похожи на маленьких лисят.

Это наблюдение в такой мере соответствовало действительности, что у Фалька тут же возникло желание категорически отвергнуть этот непреложный факт.

Внезапно дверь открылась, и в комнату вошли двое. Один — широкоплечий мужчина лет тридцати с квадратной головой, передняя сторона которой обозначала

лицо; кожа на лице напоминала полусгнившую половицу, в которой черви прогрызли бесчисленные лабиринты; широкий, словно вырезанный ножом рот был постоянно приоткрыт, и из него торчали четыре остро отточенных клыка; когда он смеялся, его лицо как бы раскалывалось пополам и ему можно было посмотреть в пасть и увидеть все до четвертого коренного зуба; ни единого волоска не выросло на этой неплодородной земле; нос был приделан так неудачно, что не составляло большого труда заглянуть через ноздри в самый череп; макушка была покрыта какой-то жидкой растительностью, похожей на кокосовое волокно.

Струве, который умел повесить в звании каждого в своем окружении, представил кандидата Борга как доктора Борга. Тот не выразил по этому поводу ни удовольствия, ни досады и протянул рукав пальто своему спутнику, который тотчас же помог его снять и повесил на дверную петлю, причем супруга заметила, что «в этом старом доме все так плохо, что нет даже вешалки». Того, кто снял с Борга пальто, представили как господина Леви. Это был высокий молодой человек; его череп, казалось, возник в результате усиленного развития носовой кости в направлении к затылку, а туловище, достававшее до самых колен, производило такое впечатление, будто образовалось из черепа, который протянули через волоочильню, как стальную проволоку; плечи круто опускались вниз, будто водосточные трубы, бедер не было вовсе, голени доходили чуть ли не до самого таза, ноги напоминали старые башмаки, стоптанные наружу, как у рабочего, который всю жизнь носил тяжести или простоял у станка; в общем, у него был типичный облик раба.

Освободившись от пальто, кандидат остался возле двери; он снял перчатки, прислонил к стене палку, высморкался и засунул обратно в карман носовой платок, делая вид, что не замечает неоднократных попыток Струве представить ему Фальку; он считал, что все еще находится в прихожей; но вот он снял шляпу, шаркнул ногой и сделал шаг.

— Здравствуй, Женни! Как поживаешь? — спросил он, беря жену Струве за руку с таким важным видом, словно от этого зависела вся ее жизнь. Потом он чуть заметно поклонился Фальку, соорудив при этом такую гримасу, что стал похож на пса, который увидел на своем дворе чужую собаку.

Юный господин Леви следовал за кандидатом по пятам, ловил его улыбки, аплодировал его саркастическим замечаниям и разрешал всячески угнетать себя, признавая его превосходство.

Супруга принесла бутылку рейнского и разлила его по бокалам. Струве взял бокал и приветствовал гостей. Кандидат открыл пасть, вылил содержимое бокала на язык, превратившийся в водосточную канаву, оскалил зубы, будто собирался принять лекарство, и проглотил.

— Вино ужасно кислое и невкусное, — сказала супруга. — Может быть, вы выпьете пунша, Хенрик?

— Да, вино действительно скверное, — согласился кандидат, которого тут же с готовностью поддержал господин Леви.

Появился пунш. Лицо Борга просветлело; он поискал глазами стул, который тотчас же принес господин Леви.

Общество расположилось вокруг обеденного стола. Сильно пахли левкой, их аромат смешивался с запахом вина, в бокалах отражалось пламя свечей, беседа становилась все оживленнее, и скоро оттуда, где сидел кандидат, стали подниматься клубы табачного дыма. Супруга бросила тревожный взгляд на окно, возле которого

лежал младенец и спал, но глаза ее не видели ничего.

Потом они слышали, как к дому подъехала карета. Все встали, кроме доктора. Струве откашлялся и сказал, понизив голос, словно собирался сообщить что-то неприятное:

— Давайте приведем себя в порядок!

Его жена подошла к гробу, наклонилась над ним и горько расплакалась; когда она выпрямилась, то увидела, что муж уже держит крышку гроба, и разразилась отчаянными рыданиями.

— Ну успокойся! Успокойся! — сказал Струве и поспешил приладить крышку, будто хотел что-то спрятать. Борг вылил пунш в свою водосточную канаву и стал при этом похож на зевающую лошадь. Господин Леви помог Струве привинтить крышку гроба, что проделал с большой сноровкой, словно упаковывал ящик с товаром.

Гости простились с госпожой Струве, надели пальто и направились к двери; госпожа Струве попросила их быть поосторожней на лестнице, «она такая старая и шаткая».

Струве шел впереди с гробом; когда он спустился на улицу и увидел небольшую толпу, собравшуюся в его честь, он так возгордился, что тут же набросился на кучера, позволившего себе не отворить дверцу кареты и не опустить подножку; для вящего эффекта он говорил «ты» этому рослому, одетому в ливрею мужчине, который, сняв шляпу, спешил выполнить его распоряжения; это вызвало отрывистый и несколько угрожающий кашель у одного мальчугана по имени Янне, который, после того как привлек тем самым к себе внимание окружающих, стал внимательно разглядывать дымовые трубы, словно поджидал трубочиста.

Наконец все четверо сели в карету, и дверца захлопнулась, а между несколькими юными представителями толпы, которая теперь немного успокоилась, произошел следующий разговор:

— Послушай! Гроб-то словно распух! Видел?

— Еще бы не видеть! А ты видел, что на табличке не было имени?

— Не было имени?

— Не было, я это сразу заметил; она была совершенно чистая!

— А что это значит?

— Не знаешь? А то, что это сын шлюхи!

К счастью, кучер щелкнул кнутом, и карета покатила по улице. Фальк взглянул на окно; там стояла жена Струве, которая уже успела снять с окон простыни и потушить свечи, позади нее расположились лисята с бокалами в руках.

Карета грохотала по мостовой, то поднималась вверх, то катилась под гору, минуя одну улицу за другой; никто не пытался заговорить. Струве, который держал на коленях гроб, казался усталым и измученным.

До Нового кладбища было недалеко, но, в конце концов, они приехали и остановились у ворот. Здесь уже стояло, вытянувшись в ряд, множество карет. Они купили венки, могильщик взял гроб. Маленькая процессия шла довольно долго, пока наконец не остановилась на новом участке кладбища на его северной стороне. Могильщик опоясал гроб веревками, доктор скомандовал: «Держи! Опускай! Так!» — и безмянный младенец опустился на три локтя под землю; стало совсем тихо; все стояли молча, склонив голову и глядели в могилу, будто чего-то ожидали; серое небо тяжело распростерлось над широким пустынным полем, на котором там и сям торчали белые палочки, похожие на призраки детей, заблудившихся среди могил; вдали, будто

в самой глубине сцены в театре теней, чернела опушка леса; не было ни единого дуновения ветерка. И тогда послышался голос, который сначала дрожал, но скоро стал ясным и твердым, словно обретая убежденность в том, о чем говорил; Леви, с непокрытой головой, поднялся на груду земли, которой потом засыпят могилу, и сказал:

— Пребывая под защитой всевышнего, обретаю покой под сенью его всемогущества. Тебе, предвечному, говорю я: ты мое верное прибежище. Ты моя твердыня, мой вечный хранитель, бог, которому я вверяю свою судьбу. Всемогущий господь, пусть твое святое имя превозносит и благословляет весь мир, которому когда-нибудь ты даруешь обновление, ты, что воскрешаешь умерших и призываешь их к новой жизни. Ты, у которого на небесах царят вечный мир и покой, даруй мир и покой своему народу, аминь!

Спи спокойно, дитя, которому не дали имени; он, всеведущий, назовет тебя по имени; спи спокойно осенней ночью, ни один злой дух не нарушит твоего покоя, хотя тебя и не окунули в святую воду; тебе повезло, ибо ты избежал треволнений жизни, а без ее радостей ты прекрасно обойдешься. Счастлив ты, который ушел, так и не познав мира; чистой и без единого пятнышка покинула твоя душа свое крошечное тельце, поэтому мы не станем бросать тебе вслед землю, ибо земля означает бренность, а мы осыпем тебя цветами, и подобно тому, как цветок вырастает из земли, так и твоя душа из мрака могилы поднимется к свету, ибо от духа ты пришел и духом снова станешь!

Он опустил в могилу венок и надел шляпу.

К нему подошел Струве, схватил за руку и горячо пожал, на его глаза навернулись слезы, и ему пришлось попросить у Леви носовой платок. Доктор, который уже бросил в могилу свой венок, направился к выходу, а следом за ним медленно двинулись остальные. Однако Фальк по-прежнему стоял, склонившись над могилой, и задумчиво смотрел в ее глубину. Сначала он видел лишь черный прямоугольник мрака, но постепенно из мрака стало проступать светлое пятно, которое все росло и принимало определенную форму, становилось круглым, белым и блестящим, как зеркало: это была металлическая табличка с ненаписанной историей маленькой жизни, и она светилась во тьме, отражая сияние неба. Фальк выпустил из рук свой венок: слабый глухой звук, и свет погас. Тогда он повернулся и пошел следом за остальными.

Возле кареты они остановились, раздумывая, куда им ехать. Чтобы не терять времени даром, Борг скомандовал: «В „Северную гору“!»

Через несколько минут они очутились в большом зале на втором этаже, где их встретила молодая девушка-официантка, которую Борг обнял и поцеловал; бросив шляпу на диван, он приказал Леви снять с себя пальто и заказал кувшин пунша, двадцать пять сигар, полкружки коньяку и голову сахара. Потом снял пиджак и удобно расположился на единственном в зале диване.

Струве даже просиял, когда увидел приготовления к выпивке; кроме того, он любил музыку. Леви сел за рояль и отбарабанил вальс, а Струве обнял Фалька и стал прохаживаться с ним по залу, заведя легкую беседу о жизни вообще, о горе и радости, о непостоянстве человеческой природы и тому подобном, из чего следовал вывод, что грешно оплакивать то, что боги — он намеренно употребил слово «боги» после слова «грешно», чтобы Фальк не заподозрил его в религиозном фанатизме, — дали и боги взяли.

Эти умозаключения стали как бы прелюдией к вальсу, который он тут же станцевал с официанткой, поставившей на стол кувшин с пуншем. Борг наполнил бокалы, подозвал Леви, кивком головы указал на один из бокалов и сказал:

— А теперь давай выпьем с тобой на брудершафт, чтобы можно было сколько угодно дерзить друг другу!

Леви выразил величайшую радость по этому поводу.

— Твое здоровье, Исаак! — промолвил Борг.

— Меня зовут не Исаак...

— Неужели ты думаешь, что мне есть какое-нибудь дело до того, как тебя зовут? Я называю тебя Исааком, и все тут!

— А ты шутник, дьявол...

— Дьявол! Ты что, обалдел, паршивец?

— Ведь мы договорились дерзить друг другу...

— Мы? Это я буду дерзить тебе! Понял?

Струве счел нужным вмешаться.

— Спасибо тебе, брат Леви, — сказал он, — за твои прекрасные слова. Что это за молитва, которую ты прочел?

— Это наша надгробная молитва.

— Очень красивая!

— Пустые фразы! — вмешался Борг. — Этот неверный пес молится только за своих, и, следовательно, его молитва к покойному не имеет никакого отношения.

— Всех некрещеных мы считаем своими, — ответил Леви.

— И к тому же он выступил против обряда крещения, — продолжал Борг.

— Я не потерплю, чтобы в моем присутствии нападали на крещение: надо будет, мы и сами нападём! И еще навывдумывал всяких оправданий! Прекрати, пока не поздно! Я не потерплю, чтобы порочили нашу религию!

— Борг прав, — сказал Струве, — нам не пристало выступать ни против крещения, ни против какой другой святой истины, и я прошу, чтобы сегодня вечером никто из нас не заводил бесед такого легкомысленного свойства.

— Ты просишь? — закричал Борг. — О чем же ты просишь? Ладно, я прощаю тебя, если ты наконец заткнешься. Играй, Исаак! Музыка! Немеет музыка на праздничном пиру! Музыка! Но не какую-нибудь там старую рухлядь! Давай что-нибудь новенькое!

Леви сел за рояль и сыграл увертюру к «Немой».

— Хорошо, а теперь побеседуем, — сказал Борг. — Господин ассессор, у вас очень грустный вид, выпьем, а?

Фальк, который чувствовал себя в присутствии Борга немного подавленным, принял это предложение довольно сдержанно. Но беседы все равно не получилось — все боялись ссоры. В поисках развлечений и удовольствий Струве как моль метался по залу, но, ничего не найдя, снова возвращался к столу с пуншем; время от времени он делал несколько па, будто от души веселился, однако смотреть на его ужимки было крайне неприятно. Леви курсировал между роялем и пуншем и даже пытался спеть какие-то развеселые куплеты, но они были такие старые-престарые, что их никто не захотел слушать. Борг громко кричал, чтобы «настроиться», как он это называл, но атмосфера становилась все более натянутой, почти тревожной. Фальк ходил взад и вперед, молчаливый и зловещий, как заряженная молниями грозная туча.

По требованию Борга принесли обильный ужин. В грозном молчании все уселись за стол. Струве и Борг неумеренно пили водку. Лицо Борга напоминало заплывшую печную дверцу с двумя отверстиями; там и сям на нем выступили красные пятна, а глаза пожелтели; Струве, напротив, стал похож на глазированный эдамский сыр, красный и жирный. В этой компании Фальк и Леви походили на двух детей, доедающих свой последний ужин в гостях у великанов.

— Дай-ка нашему скандальному писаке лососины! — скомандовал Борг, глядя на Леви, чтобы прервать затянувшееся молчание.

Леви подал Струве блюдо с лососиной. Резким движением Струве поднял очки на лоб.

— Ни стыда у тебя, ни совести, еврей, — прошипел он, бросая в лицо Леви салфетку.

Борг положил свою тяжелую руку на лысую макушку Струве и приказал:

— Молчать, газетная крыса!

— В какое общество я попал! Должен заметить вам, господа, что я не привык к подобным выходкам и слишком стар, чтобы со мной обращались как с мальчишкой, — сказал Струве дрожащим голосом, забыв о своем напускном добродушии.

Борг, который наконец насытился, встал из-за стола и заявил:

— Ну и компания, черт побери! Исаак, расплатись, а я потом тебе отдам; я уйду!

Он надел пальто и шляпу, наполнил бокал пуншем, долил в него коньяк, залпом осушил бокал, мимоходом потушил пару свечей, разбил несколько бокалов, сунул в карман несколько сигар и коробку спичек и, пошатываясь, вышел на улицу.

— Какая жалость, что такой гениальный человек так ужасно пьет, — благоговейно промолвил Леви.

Через минуту в дверях снова появился Борг; подошел к столу, взял канделябр и зажег сигару, выпустил дым прямо в лицо Струве, потом высунул язык, показав коренные зубы, погасил свечи и опять вышел из зала. Склонившись над столом, Леви вопил от восторга.

— Что это за выродок, с которым тебе было угодно меня свести? — мрачно спросил Фальк.

— О, мой дорогой, конечно, он сейчас пьян, но, понимаешь, он сын военного врача, профессора...

— Я спрашиваю не чей он сын, а что он собой представляет, ты же мне лишь объяснил, почему позволяешь этой собаке так унижать себя! А теперь объясни, пожалуйста, что тебя связывает с ним?

— Я оставляю за собой право делать любые глупости, — гордо сказал Струве.

— Вот и делай любые глупости, только оставь их при себе!

— Что с тобой, брат Леви? — вкрадчиво спросил Струве. — У тебя такой мрачный вид!

— Какая жалость, что такой гениальный человек так ужасно пьет! — повторил Леви.

— В чем же и когда проявляется его гениальность? — поинтересовался Фальк.

— Можно быть гением и не сочиняя стихов, — ядовито заметил Струве.

— Разумеется, ибо, чтобы писать стихи, вовсе не обязательно быть гением, так же как и не обязательно превращаться в скота, — ответил Фальк.

— Не пора ли нам расплатиться? — спросил Струве, давая понять, что нужно

уходить.

Фальк и Леви расплатились. Когда они вышли на улицу, накрапывал дождь, небо было черное и лишь на юге над городом красным облаком полыхал газовый свет. Наемная карета уже уехала, и им не оставалось ничего другого, как поднять воротники пальто и добираться домой пешком. Однако они дошли лишь до кегельбана, когда услышали откуда-то сверху отчаянный крик.

— Проклятье! — вопил кто-то у них над головой, и тут они увидели Борга, который раскачивался, уцепившись за одну из самых верхних веток высокой липы. Ветка то опускалась к земле, то снова взлетала вверх, описывая при этом какую-то немыслимую кривую.

— О, это колоссально! — воскликнул Леви. — Это колоссально!

— Вот сумасшедший, — улыбнулся Струве, гордясь своим протезе.

— Иди сюда, Исаак! — прорычал Борг сверху. — Иди сюда, паршивец, и мы возьмем друг у друга займы!

— Сколько тебе нужно? — осведомился Леви, помахивая бумажником.

— Я никогда не занимаю меньше пятидесяти!

Уже в следующее мгновение Борг соскочил с дерева и засунул деньги себе в карман. Потом снял пальто.

— Надень пальто! — сказал Струве повелительно.

— Надень? Ты что такое говоришь? Ты мне приказываешь? Да? Может быть, хочешь подраться?

Борг с такой силой запустил своей шляпой в дерево, что продавил ее, после чего снял фрак и жилет, оставшись под дождем в одной рубашке.

— Теперь иди сюда, газетный писака, сейчас я тебе задам!

Он бросился на Струве, крепко обхватил его, отступил немного назад, не выпуская его из рук, и оба свалились в канаву.

Фальк быстрым шагом направился к городу, но еще долго слышал у себя за спиной взрывы смеха и восторженные возгласы Леви: это божественно, это колоссально! — и крики Борга: предатель, предатель.

Глава двадцатая На алтаре

Был октябрьский вечер, и долговязые часы в погребке города N только что пробили семь часов, когда в дверь ввалился директор городского театра. Директор сиял, как сияет жаба, которой удалось хорошо поесть, он весь излучал довольство, но его лицевые мускулы не привыкли к выражению подобных эмоций и поэтому морщили кожу беспокойными складками, отчего его уродливое лицо делалось еще более уродливым. Он благосклонно поздоровался с маленьким сухопарым хозяином погребка, который стоял за стойкой и пересчитывал гостей.

— Wie steht's?¹⁶ — прокричал директор театра, который, как мы помним, уже давным-давно разучился говорить.

— Sch#246;n Dank!¹⁷ — ответил хозяин погребка.

¹⁶ Как поживаешь? (нем.)

¹⁷ Спасибо, хорошо! (нем.)

Поскольку на этом их познания в области немецкого языка оказались исчерпаны, они перешли на шведский.

— Ну, что скажешь об этом парне, о Густаве? Разве не великолепно он сыграл дона Диего? А? Кажется, я умею делать актеров?

— Да, верно. Он просто молодец. Но, как вы сами говорили, талантливого артиста легче сделать из человека, еще не испорченного всеми этими дурацкими книжками...

— Книги — зло! Уж мне-то это известно лучше, чем кому бы то ни было! Кстати, ты знаешь, о чем пишут в книгах? А я знаю, да! Вот увидите, как молодой Реньельм сыграет Горацио, чем это кончится. А кончится все великолепно! Я обещал ему эту роль, потому что он, как нищий, выпрашивал ее, но я наотрез отказался ему помочь, потому что не хочу отвечать за его провал. И объяснил, что даю ему эту роль только для того, чтобы показать, как трудно играть на сцене тому, кого природа обделила талантом. О, я раздавлю его как букашку и надолго отобью охоту выклянчивать у меня роли. Вот увидишь! Но я пришел поговорить с тобой о другом. Послушай, у тебя есть свободные комнаты?

— Те две маленькие?

— Именно!

— Они всегда в вашем полном распоряжении.

— Превосходно, ужин на двоих! В восемь! Гостей обслуживаешь ты сам!

Последние фразы директор произносил уже тихо, а хозяин поклонился в знак того, что все понимает.

В это время появился Фаландер. Не здороваясь с директором, он прошел через зал и сел на свое обычное место. Директор тотчас же поднялся и, проходя мимо стойки, таинственно сказал: итак, в восемь — и вышел из погребка.

Между тем хозяин поставил перед Фаландером бутылку абсента и все, что к нему полагалось. Поскольку по лицу гостя не было видно, чтобы он хотел начать разговор, хозяин взял салфетку и стал вытирать стол; когда и это не помогло, он наполнил спичечницу и заметил:

— Сегодня вечером будет ужин... в маленьких комнатах! Гм!

— О ком и о чем вы?

— Полагаю, о том, кто только что ушел.

— Вот оно что. Это странно, ведь он так скуп. Ужин, вероятно, на одну персону?

— Нет, на две! — ответил хозяин, заморгав глазами. — В маленьких комнатах! Гм!

Фаландер наострил было уши, но тут же решил прекратить разговор, устыдившись, что слушает всякие сплетни; однако хозяин погребка решил по-другому.

— Кто бы это мог быть? Его жена нездорова и...

— Какое нам дело до того, с кем это чудовище собирается ужинать. У вас есть какая-нибудь вечерняя газета?

Хозяину не пришлось отвечать Фаландеру, потому что в зал вошел Реньельм, сияя, как может сиять только юноша, перед которым забрезжил рассвет.

— Сегодня обойдемся без абсента, и разреши мне считать тебя своим гостем. Я так счастлив, что хочется плакать.

— Что случилось? — спросил Фаландер с тревогой в голосе. — Неужели ты получил роль?

— Да, пессимист ты этакий, я буду играть Горацио...

Фаландер нахмурился.

— А она — Офелию, — заметил он.

— Откуда ты знаешь?

— Догадался.

— Все твои догадки! Впрочем, не так-то уж трудно и догадаться. Разве она не заслуживает этой роли? Найдется ли во всем театре хоть одна актриса лучше нее?

— Согласен, не найдется. Ну, а тебе самому нравится Горацио?

— О, он прекрасен!

— Да, удивительно, что люди могут думать так по-разному.

— А что думаешь ты?

— Думаю, он самый большой негодяй из всех царедворцев; на все вопросы он отвечает: «Да, мой принц; да, мой добрый принц». Если он друг Гамлета, то хотя бы несколько раз должен был бы сказать «нет», а не вести себя так же, как остальные льстецы.

— Ты хочешь опять все разрушить?

— Да, я хочу все разрушить! Как ты можешь стремиться к чему-то возвышенному и непреходящему, считая в то же время великим и прекрасным все самое ничтожное из созданного людьми; если ты во всем видишь совершенство и красоту, то как можешь ты желать истинного совершенства? Поверь, пессимизм — это подлинный идеализм, и, если это может успокоить твою совесть, пессимизм ни в чем не противоречит христианскому учению, ибо христианство говорит о бренности мира, избавление от которого приносит смерть.

— Почему ты лишаешь меня веры в то, что мир прекрасен, почему мне не дано испытывать чувство благодарности к тому, кто посылает нам все хорошее, и радоваться тем дарам, которые предлагает нам жизнь?

— Нет, нет, радуйся, мой мальчик, радуйся, верь и надейся. Но поскольку все люди на земле гонятся за одним и тем же — за счастьем, — то вероятность того, что ты обрешь счастье, равна всего $\frac{1}{439\ 145\ 300}$, ибо число людей на земле равно именно знаменателю этой дроби. А разве счастье, которое ты сегодня обрел, стоит всех унижений и мук, перенесенных тобой за последние месяцы? И кстати, в чем же твое счастье? В том, что ты получил плохую роль, которая все равно не позволит тебе добиться того, что называется успехом? Я вовсе не хочу сказать, что тебя ждет провал. И еще: ты уверен, что... — Фаландер вынужден был перевести дух, — что Агнес будет иметь успех в роли Офелии? Возможно, конечно, чтобы не упустить такой редкий случай, она и выжмет что-нибудь из этой роли, всякое бывает. Я очень сожалею, что огорчил тебя, и, как всегда, прошу выкинуть из головы все, что тебе наговорил: ведь никто не может утверждать, так это или не так.

— Если бы я тебя не знал, то подумал бы, что ты мне завидуешь.

— Нет, мой мальчик, я желаю тебе, как и всем, скорейшего исполнения ваших желаний, желаю вам обратить свои мысли на нечто более возвышенное, что стало бы целью всей вашей жизни.

— Тебе легко говорить так, ведь ты уже добился успеха.

— А разве для нас не самое главное просто поговорить? И отсюда следует, что мы ищем не успеха, а возможности посидеть и посмеяться над нашими великими устремлениями, великими, слышишь!

Часы с такой силой пробили восемь, что в зале все загремело. Фаландер

торопливо поднялся со стула, словно собрался уходить, провел рукой по лбу и снова сел.

— Агнес сегодня вечером у тетки Беаты? — спросил он безразличным тоном.

— Откуда ты знаешь?

— Ну, об этом нетрудно догадаться, раз ты так спокойно сидишь здесь. Думаю, она решила прочитать Беате свою роль, а то у вас остается не так уж много времени.

— Да, да! Но если тебе и это известно, то, вероятно, ты видел ее сегодня?

— Нет, клянусь честью! Просто я не знаю, чем еще можно объяснить ее отсутствие в свободный от театра день.

— В таком случае ты мыслишь абсолютно правильно. Между прочим, она сказала, что я слишком засиделся дома, и посоветовала пойти в гости. Она такая заботливая и такая нежная, моя дорогая девочка.

— Да, она очень нежная.

— Лишь один-единственный вечер она провела без меня; она осталась у тетки и не предупредила меня. Я не спал всю ночь, думал, сойду с ума.

— Это было шестого июля, да?

— Ты меня пугаешь. Можно подумать, что ты шпионишь за нами.

— Зачем мне это? Я знаю о ваших отношениях и всячески стараюсь помочь вам. А о том, что произошло во вторник шестого июля, я знаю от тебя самого, потому что ты говорил об этом много раз.

— Да, правда.

Они долго молчали.

— Странно, — наконец нарушил затянувшееся молчание Реньельм, — что счастье может сделать человека меланхоликом; весь вечер я почему-то испытываю какое-то непонятное беспокойство, и мне очень хотелось бы сейчас быть вместе с Агнес. Может, пойдем в маленькие комнаты и пошлем за ней? Пусть скажет тетке, что к ней приехали гости.

— Этого она не сделает, да она просто не сможет заставить себя сказать неправду.

— Сможет! Все женщины могут!

Фаландер пристально посмотрел на Реньельма, который так и не понял, что означает этот взгляд, и сказал:

— Пойду сначала посмотрю, свободны ли маленькие комнаты; ведь все зависит от этого.

— Да, пойдем.

Заметив по лицу Реньельма, что тот собирается идти вместе с ним, Фаландер удержал его и вышел из зала. Через две минуты он вернулся. Он был бледен как полотно, но совершенно спокоен, и только сказал:

— Заняты.

— Как досадно!

— Что ж, постараемся как можно лучше провести время в компании друг друга.

И они провели время в компании друг друга, ели и пили и говорили о жизни, и о любви, и о человеческой злобе; они наелись и напились, а потом разошлись по домам и легли спать.

Глава двадцать первая Человек за бортом

На другое утро Реньельм проснулся в четыре часа: ему почудилось, будто его кто-то позвал. Он сел на постели и прислушался — было тихо. Он поднял шторы — за окном было серое осеннее утро, дождливое и ветреное. Он снова улегся, тщетно пытаясь заснуть. У ветра было так много удивительных голосов. Они жаловались и предостерегали, рычали и стонали. Реньельм попытался думать о чем-нибудь приятном — о своем счастье; потом взял роль и начал читать, но все исчерпывалось фразой «да, мой принц», и он невольно вспомнил слова Фаландера, подумав, что тот был не так уж далек от истины. Реньельм попытался представить себя на сцене в роли Горацио, а Агнес в роли Офелии, но видел в Офелии лишь лицемерную интриганку, по наущению Полония расставлявшую ему сети. Он постарался прогнать этот образ, но вместо Агнес тут же появилась очаровательная мамзель Жакет, которую он недавно видел в городском театре в роли Офелии. Напрасно он пытался выбросить из головы все эти неприятные мысли и образы, они неотступно, словно комары, преследовали его. Изнуренный борьбой, он наконец заснул, но и во сне его мучили те же кошмары, что и наяву, а когда он вырвался из их цепких рук, то проснулся и тут же снова уснул, и снова перед ним возникли те же видения. Часов около девяти он проснулся от собственного крика и вскочил с кровати, словно хотел убежать от злых духов, которые гнались за ним по пятам. Подойдя к зеркалу, он увидел, что глаза у него заплаканные. Он стал торопливо одеваться; натягивая сапоги, он заметил, как по полу пробежал паук. Реньельм обрадовался: как и многие другие, он верил, что пауки приносят счастье; да, он пришел в хорошее расположение духа и сказал себе: если хочешь хорошо спать, накануне вечером не надо есть раков. Он выпил кофе, закурил трубку и сидел, улыбаясь дождю и ветру, как вдруг кто-то постучал в дверь. Реньельм вздрогнул от неожиданности: сам не зная почему, он ужасно боялся сегодня каких бы то ни было известий, но потом вспомнил про паука и спокойно пошел открыть дверь.

Это была служанка Фаландера, которая попросила его непременно прийти к господину Фаландеру ровно в десять часов по крайне важному делу.

И снова Реньельма охватил тот неопишуемый страх, который терзал его под утро во сне. Он попытался как-то убить время, остававшееся до назначенного часа. Но все было напрасно. Тогда он оделся и поспешил к Фаландеру, а сердце его уже билось где-то под мышкой левой руки.

В комнате Фаландера было чисто прибрано, а сам он явно приготовился к приему гостей. Он поздоровался с Реньельмом очень приветливо, но вид у него при этом был необычайно озабоченный. Реньельм набросился на него с расспросами, но Фаландер ответил, что ничего не может сказать до десяти часов. Реньельм встревожился и попытался выяснить, не ждет ли его какое-то неприятное известие; Фаландер сказал, что не может быть ничего неприятного, если научиться правильно смотреть на вещи. И объяснил, что многое, что кажется нам невыносимым, легко можно вынести, если только не придавать этому слишком большого значения. Так прошло время до десяти часов.

Но вот кто-то дважды тихо постучал в дверь, которая тотчас же отворилась, и на пороге появилась Агнес. Не глядя на присутствующих, она вынула снаружи ключ, заперла дверь и вошла в комнату. Однако выражение замешательства, когда вместо одного она увидела сразу двоих, оставалось на ее лице всего секунду и перешло в приятное изумление, вызванное присутствием еще и Реньельма. Она скинула дождевик и бросилась к Реньельму; он обнял ее и так крепко прижал к груди, словно

тосковал о ней целый год.

— Как долго тебя не было со мной, Агнес!

— Долго? Разве уж так долго?

— Мне кажется, я не видел тебя целую вечность. Ты чудесно выглядишь сегодня; ты хорошо спала?

— По-твоему, я выгляжу лучше, чем обычно?

— По-моему, да. Ты не хочешь поздороваться с Фаландером?

Фаландер спокойно стоял, слушая этот разговор, но лицо его было белым как гипс — казалось, он что-то обдумывает.

— Господи, какой у тебя изможденный вид, — сказала Агнес и, вырвавшись из объятий Реньельма, потянулась к нему движением мягким, как у котенка.

Фаландер не ответил. Агнес посмотрела на него внимательней и, казалось, в один миг все поняла; ее лицо вдруг преобразилось, словно поверхность воды от поднявшегося ветерка, но только на секунду; в следующее мгновение она снова была спокойна; бросив испытующий взгляд на Реньельма, она поняла обстановку и приготовилась к самому худшему.

— Можно узнать, какие важные обстоятельства призвали нас сюда в такую рань? — весело спросила она, хлопнув Фаландера по плечу.

— Конечно можно, — ответил тот так твердо и решительно, что Агнес побледнела, но при этом так тряхнул головой, будто хотел придать своим мыслям иное направление. — Сегодня у меня день рождения, и я хочу угостить вас завтраком.

Агнес, которая чувствовала себя так, словно на нее чуть было не наехал поезд, разразилась громким смехом и обняла Фаландера.

— Но поскольку завтрак заказан на одиннадцать, нам придется немного подождать. Прошу вас, садитесь!

Воцарилась тишина, напряженная тишина.

— Тихий ангел пролетел, — промолвила Агнес.

— Это ты — ангел, — сказал Реньельм, почтительно и нежно целуя ей руку.

У Фаландера был такой вид, будто его только что выбили из седла и он пытается снова взобраться на коня.

— Сегодня утром я видел паука, — сказал Реньельм. — Это предвещает счастье!

— *Araign e matin: chagrin*,¹⁸ — возразил Фаландер, — так что не очень полагайся на такое счастье.

— А что это значит? — спросила Агнес.

— Увидишь паука утром — жди беды.

— Гм!

Снова воцарилось молчание, беседу теперь заменял дробный стук дождя, хлеставшего по окнам.

— Ночью я читал такую потрясающую книгу, — заговорил Фаландер, — что почти не сомкнул глаз.

— Какую книгу? — спросил Реньельм без особого интереса, так как все еще испытывал беспокойство.

— Она называется «Пьер Клеман»; это обычная история женщины, но написанная так живо и непосредственно, что производит довольно сильное впечатление.

— Можно спросить, что это за обычная история женщины? — сказала Агнес.

¹⁸ Паук утром означает беду (фр.).

— Разумеется, история неверности и вероломства!

— А Пьер Клеман?

— Его, конечно, обманули. Он молодой художник и любит любовницу другого...

— Теперь припоминаю, что когда-то читала этот роман, — сказала Агнес, — и он мне понравился. Кажется, она потом все-таки обручилась с тем, кого действительно любила? Да, так оно и было; однако она поддерживала и старую связь. Тем самым автор хотел показать, что женщина любит по-разному, а мужчина — всегда одинаково. Это очень верно подмечено, не так ли?

— Конечно! Но потом настал день, когда жениху захотелось представить на конкурс свою картину... короче говоря... она отдалась префекту, и счастливый Пьер Клеман смог наконец жениться.

— Этим автор хотел сказать, что женщина способна пожертвовать всем ради любимого человека, тогда как мужчина...

— Гнуснее этого я еще никогда ничего не слышал! — взорвался вдруг Фаландер.

Он встал и подошел к секретеру. Резким движением откинул крышку и достал черную шкатулку.

— Вот возьми, — сказал он, передавая Агнес шкатулку, — убирайся домой и освободи мир от накипи!

— Что здесь такое? — улыбаясь, спросила Агнес, открыла шкатулку и вынула шестиствольный револьвер. — Нет, вы только посмотрите, какая прелестная вещица. Не с ним ли ты играл Карла Моора? Да, кажется, с ним. По-моему, он заряжен!

Она подняла револьвер, прицелилась в печную заслонку и спустила курок.

— А теперь положи его обратно! — сказала она. — Это не игрушка, друзья мои!

Реньельм сидел безмолвный и неподвижный. Он уже все понял, но не мог произнести ни слова; настолько сильна была над ним власть ее волшебных чар, что даже сейчас он не испытывал к ней неприязни. Он сознавал, что в его сердце вонзили нож, но еще не успел почувствовать боли.

Фаландер даже растерялся от такой безмерной наглости, и ему понадобилось время, чтобы прийти в себя: он понял, что задуманная им сцена моральной казни потерпела провал, и он ничего не выиграл от этого спектакля.

— Так мы идем? — спросила Агнес, поправляя перед зеркалом прическу.

Фаландер открыл дверь.

— Иди! — сказал он. — Иди! И будь ты проклята; ты нарушила покой честного человека.

— О чем ты болтаешь? Закрой дверь, здесь не так уж тепло.

— Что ж, придется говорить яснее. Где ты была вчера вечером?

— Ялмар знает, где я была, а тебя это совершенно не касается!

— Тебя не было у тетки — ты ужинала с директором!

— Неправда!

— В девять часов я видел тебя в погребке!

— Ложь! В это время я была дома; можешь спросить у тетиной служанки, которая проводила меня домой!

— Такого я не ожидал даже от тебя!

— Может, все-таки прекратим этот разговор и наконец пойдем? Не надо читать по ночам дурацкие книги, тогда не будешь сумасбродить днем. А теперь одевайтесь!

Реньельму пришлось схватиться за голову, чтобы убедиться, что она все еще находится на своем месте: все у него перед глазами перевернулось и встало вверх

ногами. Убедившись, что с его головой все в порядке, он стал судорожно искать какое-нибудь готовое объяснение, проливающее свет на все происшедшее, но так ничего и не нашел.

— А где ты была шестого июля? — спросил Фаландер и посмотрел на нее.

— Что за дурацкие вопросы! Посуди сам, ну как я могу помнить, что произошло три месяца назад?

— Ты была у меня, а Ялмару солгала, что была у своей тетки.

— Не слушай его, — ласково сказала Агнес, подходя к Реньельму. — Он болтает глупости.

В следующее мгновение Реньельм схватил ее за горло и отбросил к печке, где она и осталась лежать на поленнице дров, молча и неподвижно.

Потом он надел шляпу, однако Фаландеру пришлось помочь ему влезть в пальто, потому что он весь дрожал.

— Пошли, — сказал Реньельм, плюнул на печной кафель и вышел из комнаты.

Фаландер помедлил немного, пощупал у Агнес пульс и быстро последовал за Реньельмом, догнав его уже внизу, в прихожей.

— Я восхищен тобой! — сказал Фаландер Реньельму. — Наглость ее действительно перешла все границы.

— Не оставляй меня, пожалуйста, мы можем провести вместе всего несколько часов; я убегаю отсюда, уезжаю ближайшим поездом домой, чтобы работать и обо всем забыть. Пойдем в погребок, оглушим себя, как ты это называешь.

Они вошли в погребок и заняли отдельный кабинет, попросив избавить их от «маленьких комнат».

Скоро они уже сидели за накрытым столом.

— Я не поседел? — спросил Реньельм, проведя рукой по волосам, влажным и слипшимся.

— Нет, мой друг, это случается далеко не сразу; во всяком случае, я еще не поседел.

— Она не ушиблась?

— Нет!

— И подумать только, что все произошло в той самой комнате!

Реньельм встал из-за стола, сделал несколько шагов, пошатнулся, упал на колени возле дивана, опустив на него голову, и разрыдался, как ребенок, уткнувший голову в колени матери.

Фаландер сел рядом, сжав его голову ладонями. Реньельм почувствовал на шее что-то горячее, словно ее обожгла искра.

— Где же твоя философия, мой друг? — воскликнул Реньельм. — Давай ее сюда! Я тону! Тону! Соломинку! Соломинку! Скорей!

— Бедный, бедный мальчик!

— Я должен ее увидеть! Должен попросить у нее прощения! Я люблю ее! Все равно люблю! Все равно! Она не ушиблась? Господи, как можно жить на свете и быть таким несчастным, как я!

* * *

В три часа дня Реньельм уехал в Стокгольм. Фаландер сам затворил за ним дверь купе и запер ее на крючок.

Глава двадцать вторая Суровые времена

Селлену осень тоже принесла большие перемены. Его высокий покровитель умер, и все, что было связано с его именем, старались вытравить из памяти людей; даже память о его добрых делах не должна была пережить его. Само собой разумеется, Селлену сразу же прекратили выплачивать стипендию, тем более что он был не из тех, кто ходит и просит о помощи; впрочем, он и сам теперь не считал, что нуждается в чьей-то поддержке, поскольку в свое время получил такую щедрую помощь, а сейчас его окружали художники, которые были гораздо моложе его и испытывали гораздо более острую нужду. Однако вскоре ему пришлось убедиться, что погасло не только солнце, но и все планеты оказались в крошечной тьме. Хотя все лето Селлен без усталости работал, оттачивая свое мастерство, префект заявил, что он стал писать хуже и весенний его успех — всего лишь удача и везение. Профессор пейзажной живописи по-дружески намекнул ему, что из него все равно ничего не выйдет, а критик-академик воспользовался удобным случаем, чтобы реабилитировать и подтвердить свою прежнюю оценку картины Селлена. Кроме того, изменились вкусы покупателей картин, этой небольшой кучки богатых и невежественных людей, которые определяли моду на живопись; чтобы продать пейзаж, художнику приходилось изображать такую пошловатую сельскую идиллию, и все равно найти покупателя было нелегко, потому что наибольшим спросом пользовались слезливые жанровые сценки и полуобнаженная натура. Для Селлена наступили суровые времена, и жилось ему очень тяжело — он не мог заставить себя писать то, что противоречило его чувству прекрасного.

Между тем он снял на далекой Правительственной улице пустующее фотоателье. Жилье его состояло из самого ателье с насквозь прогнившим полом и протекающей крышей, что зимой было не так уж страшно, поскольку ее покрывал снег, и бывшей лаборатории, так пропахшей коллодиумом, что она ни на что больше не годилась, как для хранения угля и дров, когда обстоятельства позволяли их приобрести. Единственной мебелью здесь была садовая скамейка из орешника с торчащими из нее гвоздями и такая короткая, что если ее использовали в качестве кровати — а это случалось всегда, когда ее владелец (временный) ночевал дома, — колени висели в воздухе. Постельными принадлежностями служили половина пледа — другая половина была заложена в ломбарде — и распухшая от эскизов папка. В бывшей лаборатории были водопроводный кран и отверстие для стока воды — туалет.

Однажды в холодный зимний день перед самым рождеством Селлен стоял у мольберта и в третий раз писал на старом холсте новую картину. Он только что поднялся со своей жесткой постели; служанка не пришла затопить камин, во-первых, потому что у него не было служанки, а во-вторых — нечем было топить; по тем же причинам служанка не почистила ему платье и не принесла кофе. И тем не менее он что-то весело и довольно насвистывал, накладывая краски на великолепный огненный закат в горах Госта, когда послышались четыре двойных удара в дверь. Без малейшего колебания Селлен открыл дверь, и в комнату вошел Олле Монтанус, одетый чрезвычайно просто и легко, без пальто.

— Доброе утро, Олле! Как поживаешь? Как спал?

— Спасибо, хорошо.

— Как обстоят в городе дела со звонкой монетой?

— О, очень плохо.

— А с кредитками?

— Их почти не осталось в обращении.

— Значит, их больше не хотят выпускать. Так, ну а как с валютой?

— Совсем пропала.

— По-твоему, зима будет суровая?

— Сегодня утром возле Бельсты я видел очень много свиристелей, а это к холодной зиме.

— Ты совершал утреннюю прогулку?

— Я ушел из Красной комнаты в двенадцать часов и пробродил всю ночь по городу.

— Значит, ты был там вчера вечером?

— Да, был и завел два новых знакомства: с доктором Боргом и нотариусом Левином.

— А, эти проходимцы! Знаю я их! А почему ты не напросился к ним переночевать?

— Понимаешь, они смотрели на меня несколько свысока, потому что у меня не было пальто, я и постеснялся. Я так устал; можно мне прилечь, ладно? Сначала я дошел до Катринберга возле Кунгсхольмской таможни, потом вернулся в город, миновал Северную таможню и добрался до самой Бельсты. А сегодня, наверно, пойду наниматься к скульптору-орнаментщику, а то ведь умру с голоду.

— Это правда, что ты вступил в рабочий союз «Северная звезда»?

— Правда. В воскресенье делаю там доклад о Швеции.

— Прекрасная тема! Великолепная!

— Если я засну здесь у тебя, не буди меня; я так устал!

— Пожалуйста, не стесняйся! Спи!

Через несколько минут Олле спал глубоким сном и громко храпел. Голова его перевешивалась через подлокотник, который подпирал его толстую шею, а ноги перевешивались через другой подлокотник.

— Бедняга, — сказал Селлен, накрывая его пледом.

Снова послышался стук в дверь, но он не был условным сигналом, и Селлен не торопился открывать; однако стук возобновился с такой неистовой силой, что уже можно было не опасаться каких-нибудь серьезных неприятностей, и Селлен отворил дверь: это были доктор Борг и нотариус Левин. Борг сразу же повел себя как хозяин:

— Фальк здесь?

— Нет!

— А что это за мешок с дровами валяется? — продолжал он, показывая сапогом на Олле.

— Олле Монтанус.

— А, это тот самый чудака, что был с Фальком вчера вечером. Он еще спит?

— Да, спит.

— Он ночевал здесь?

— Ночевал.

— Почему ты не затопишь? У тебя дьявольски холодно!

— Потому что у меня нет дров.

— Вели принести! Где уборщица? Давай ее сюда! Я ее слегка встряхну!

— Уборщица пошла исповедоваться.

— Так разбуди этого вола, что разлегся здесь и сопит! Я пошлю его за дровами.

— Нет, дай ему поспать, — сказал Селлен, поправляя плед на Олле, который все это время храпел не переставая.

— Ладно, я научу тебя кое-чему. У тебя под полом земля или строительный мусор?

— Я в этом ничего не понимаю, — ответил Селлен, осторожно усаживаясь на один из кусков картона, разложенных на полу.

— Есть у тебя еще картон?

— Есть, а зачем тебе? — спросил Селлен, и лицо его покрылось легким румянцем.

— Мне нужны картон и кочерга!

Борг получил то, что требовал, а Селлен, так и не поняв, зачем это ему нужно, расположился на кусках картона и сидел, словно под ним был драгоценный клад.

Борг сбросил пиджак и кочергой стал выламывать половицу, насквозь прогнившую от кислот и дождя.

— Ты что, с ума сошел? — закричал Селлен.

— Я всегда так делал в Упсале, — объяснил Борг.

— Но так не делают в Стокгольме!

— А мне какое дело до Стокгольма? Здесь холодно, и сейчас мы затопим печку!

— Но не ломай пол! Ведь это сразу заметят!

— Поверь, мне совершенно все равно, заметят или не заметят; ведь не я здесь живу; какая она твердая, эта чертова деревяшка!

Приблизившись к Селлену, он слегка толкнул его, и тот растянулся на полу; падая, он сдвинул куски картона, и под ним стали видны прогнившие доски.

— Ах ты плут! У него здесь целый дровяной склад, а он сидит и помалкивает.

— Это потолок протекает, вот все и прогнило.

— Меня не интересует, почему прогнило; главное, у нас будет огонь.

Ловко орудуя кочергой, Борг отломал несколько досок, и скоро в камине действительно пылал огонь.

Во время этой сцены Левин держался спокойно, выжидательно и почтительно. Между тем Борг уселся перед камином и стал накаливать кочергу.

В дверь снова постучали, но на этот раз последовали три коротких и один длинный удар.

— Это Фальк, — заметил Селлен и пошел открывать. Когда Фальк переступил порог, вид у него был довольно возбужденный.

— Тебе нужны деньги? — спросил его Борг, хлопнув себя по нагрудному карману.

— И ты еще спрашиваешь! — ответил Фальк неуверенно.

— Сколько тебе нужно? Я могу достать!

— Ты это серьезно? — спросил Фальк, и лицо его просветлело.

— Серьезно! Гм! *Wie viel?*¹⁹ Сумма! Цифра! Называй!

— О, шестидесяти риксдалеров было бы достаточно.

— Какой скромный малый, — сказал Борг, поворачиваясь к Левину.

— Да, немного же ему нужно, — подхватил тот. — Бери больше, Фальк, пока

¹⁹ Сколько? (нем.)

дают.

— Нет, нельзя! Больше мне сейчас не нужно, и я не могу залезать в долги. Между прочим, я еще не знаю, как буду расплачиваться.

— По двенадцать риксдалеров каждые шесть месяцев, двадцать четыре риксдалера в год двумя взносами, — ответил Левин уверенно и четко.

— Очень удобные условия, — заметил Фальк. — А где вы достаете деньги на такие ссуды?

— В Банке каретников. Левин, готовь бумагу и перо!

В руках у Левина уже было долговое обязательство, перо и портативная чернильница. Долговое обязательство оказалось кем-то заполненным. Увидев цифру восемьсот, Фальк на какое-то мгновение заколебался.

— Восемьсот риксдалеров? — спросил он изумленно.

— Если этого мало, бери больше.

— Нет, больше не надо; значит, не имеет значения, кто берет деньги, лишь бы аккуратно платил. Кстати, вам дают деньги по долговому обязательству просто так, без всяких гарантий?

— Без гарантий? Ты же получаешь наше поручительство, — ответил Левин насмешливо и в то же время доверительно.

— Нет, я говорю не об этом, — сказал Фальк. — Я очень благодарен вам за ваше поручительство, но мне кажется, что из этого ничего не выйдет.

— Хо! Хо! Хо! Уже вышло! Деньги выделены, — сказал Борг, доставая «банковский чек», как он назвал этот документ. — Ну, подписывай!

Фальк написал свое имя. Борг и Левин стояли над ним как полицейские.

— «Вице-ассессор», — продиктовал Борг.

— Нет, я литератор, — ответил Фальк.

— Не годится! Ты заявлен как вице-ассессор, и между прочим как таковой ты до сих пор значишься в адресной книге.

— А вы проверили?

— Нужно строго соблюдать формальности, — ответил Борг серьезно.

Фальк подписал.

— Пойди сюда, Селлен, и засвидетельствуй! — приказал Борг.

— Не знаю, стоит ли, — ответил Селлен. — Я своими глазами видел, сколько бед у нас в деревне натворили эти подписи...

— Ты сейчас не в деревне и имеешь дело не с мужиками! Засвидетельствуй, что Фальк поставил свое имя сам, по доброй воле; ведь это ты можешь написать!

Селлен написал, но покачал головой.

— А теперь разбудите этого вола, он тоже должен подписать.

Однако сколько Олле ни трясли, все было напрасно, и тогда Борг взял раскаленную докрасна кочергу и поднес ее к самому носу спящего.

— Просыпайся, собака, а не то получишь у меня! — закричал Борг.

Олле тут же вскочил на ноги и стал протирать глаза.

— Засвидетельствуешь подпись Фалька! Понял?

Олле взял перо и под диктовку обоих поручителей написал то, что от него требовалось, после чего хотел было снова лечь спать, но Борг не отпустил его:

— Подожди еще немножко! Сначала Фальк напишет дополнительное поручительство.

— Не пиши никаких поручительств, Фальк, — посоветовал Олле. — От них добра

не жди, одни неприятности!

— Молчи, собака! — зарычал Борг. — Иди сюда, Фальк. Мы только что поручились за тебя, понимаешь, это имущественное поручительство. А теперь ты должен написать дополнительное поручительство за Струве, с которого взыскивают деньги судебным порядком.

— А что такое дополнительное поручительство?

— Это пустая формальность; он получил ссуду в размере семисот риксдалеров в Банке маляров, сделал первый взнос, но пропустил следующий, и против него возбудили судебное дело; теперь нам надо найти дополнительного поручителя. Это добрый старый заем, так что нет никакого риска.

Фальк написал поручительство, а оба свидетеля подписались.

С видом знатока Борг аккуратно сложил долговые обязательства и передал их Левину, который тотчас же направился к двери.

— Через час вернешься с деньгами, — сказал Борг, — а не то я сразу же иду в полицию и тебя быстро разыщут!

Он встал и, довольный собой, улегся на скамейку, где раньше лежал Олле. Олле доплелся до камина и лег на пол, свернувшись по-собачьи клубком.

Некоторое время царило молчание.

— Послушай, Олле, — сказал Селлен, — а если и нам взять да написать такую вот бумажку?

— Тогда попадете на Ринден, — сказал Борг.

— А что такое Ринден? — спросил Селлен.

— Есть такое местечко в шхерах, но если господа предпочитают Меларен, то и там для них найдется подходящее место, которое называется Лонгхольмен.

— Ну, а если говорить серьезно, — спросил Фальк, — что происходит, когда ко дню платежа у тебя нет денег?

— Тогда ты берешь новую ссуду в Банке портных, — ответил Борг.

— А почему не в Государственном банке? — поинтересовался Фальк.

— Он нас не устраивает! — объяснил Борг.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил Олле Селлена.

— Ни бельмеса! — ответил Селлен.

— Ничего, когда-нибудь поймете, когда будете в Академии и попадете в адресную книгу!

Глава двадцать третья Аудиенции

Утром в канун сочельника Николаус Фальк сидел у себя в конторе. Он несколько изменился; время проредило его белокурые волосы, а страсти избородили лицо узкими каналами, чтобы по ним стекала вся та кислота, которая выделялась из этой заболоченной земли. Он сидел, склонившись над маленькой узкой книжкой в формате катехизиса, и так усердно работал пером, словно выкалывал узоры.

В дверь постучали, и книжка моментально исчезла под крышкой конторки, а на ее месте появилась утренняя газета. Когда госпожа Фальк вошла в комнату, ее супруг был погружен в чтение.

— Садись! — сказал Фальк.

— Мне некогда. Ты читал утреннюю газету?

— Нет.

— Вот как! А мне показалось, ты ее как раз читаешь.

— Я только что начал.

— Прочитал уже о стихах Арвида?

— Да, прочитал.

— Видишь! Его очень хвалят.

— Это он сам написал!

— То же самое ты говорил вчера вечером, когда читал «Серый плащ».

— Ладно, чего ты хочешь?

— Я только что встретила адмиральшу; она поблагодарила за приглашение и сказала, что будет очень рада познакомиться с молодым поэтом.

— Так и сказала?

— Да, так и сказала!

— Гм! Каждый может ошибаться. Но я не уверен, что ошибся. Тебе, наверное, опять нужны деньги?

— Опять? Когда в последний раз я, по-твоему, получала от тебя деньги?

— Вот, возьми! А теперь уходи! И до самого рождества денег больше не проси; ты сама знаешь, какой это был тяжелый год.

— Ничего я не знаю. Все говорят, что год был хороший.

— Для земледельцев, да, но не для страховых обществ. Всего доброго!

Супруга удалилась, и в контору осторожно, словно боялся попасть в засаду, вошел Фриц Левин.

— Что надо? — приветствовал его Фальк.

— Просто хотел заглянуть мимоходом.

— Очень разумно с твоей стороны; мне как раз нужно поговорить с тобой.

— Правда?

— Ты знаешь молодого Леви?

— Конечно!

— Прочти эту заметку, вслух!

Левин прочел:

— *«Щедрое пожертвование* . С отнюдь не необычной теперь для наших коммерсантов щедростью оптовый торговец Карл Николаус Фальк в ознаменование годовщины своего счастливого брака передал правлению детских яслей „Вифлеем“ дарственную запись на двадцать тысяч крон, из которых половина выплачивается сразу, а половина после смерти жертвователя. Дар этот приобретает тем большую ценность, что госпожа Фальк является одним из учредителей этого гуманного учреждения».

— Годится? — спросил Фальк.

— Превосходно! К Новому году получишь орден Васы!

— А теперь ты пойдешь в правление яслей, то есть к моей жене, с дарственной записью и деньгами, а потом разыщешь молодого Леви. Понял?

— Вполне!

Фальк передал Левину дарственную запись, сделанную на пергаменте, и пачку денег.

— Пересчитай, чтобы не ошибиться, — сказал он.

Распечатав пачку, Левин вытаращил глаза. В ней было пятьдесят литографированных листов всех цветов и оттенков на большую сумму.

— Это деньги? — спросил он.

— Это ценные бумаги, — ответил Фальк, — пятьдесят акций «Тритона» по двести крон, которые я дарю детским яслям «Вифлеем».

— Они, надо думать, обесценятся, когда крысы побегут с корабля?

— Этого никто не знает, — ответил Фальк, злобно ухмыляясь.

— Но тогда ясли обанкротятся!

— Меня это мало касается, а тебя и того меньше. Теперь слушай! Ты должен... ты ведь знаешь, что я имею в виду, когда говорю должен...

— Знаю, знаю... взыскать судебным порядком, запутать какое-нибудь дело, проверить платежные обязательства... продолжай, продолжай!

— На третий день рождества доставишь мне к обеду Арвида!

— Это все равно что вырвать три волоска из бороды великана. Хорошо еще, что я весной не передал ему всего, что ты мне наговорил. Разве я не предупреждал тебя, что так оно и будет?

— Предупреждал! Черт бы побрал твои предупреждения! А теперь помолчи и делай, что тебе сказано! Итак, с этим покончено. Теперь осталось еще одно дело. Я заметил у своей жены некоторые симптомы, свидетельствующие о том, что она испытывает угрызения совести. Очевидно, она встречалась с матерью или с кем-нибудь из сестер. Рождество располагает к сентиментальности. Сходи к ним на Хольмен и разнюхай, что там и как!

— Да, поручение не из приятных...

— Следующий!

Левин вышел из конторы, и его сменил магистр Нистрем, которого впустили через потайную дверь в задней стене комнаты, после чего дверь тут же заперли. Между тем утренняя газета исчезла, и на столе снова появилась маленькая узкая книжка.

У Нистрема был какой-то поникший и обветшалый вид. Его тело уменьшилось на добрую треть своего первоначального объема, да и одежда его была в крайне жалком состоянии. Он смиренно остановился в дверях, достал старый потрепанный бумажник и стал ждать дальнейших распоряжений.

— Ясно? — спросил Фальк, ткнув указательным пальцем в свою книжку.

— Ясно! — ответил Нистрем, раскрывая бумажник.

— Номер двадцать шесть. Лейтенант Клинг: тысяча пятьсот риксдалеров. Уплачено?

— Не уплачено!

— Дать отсрочку с выплатой штрафных процентов и комиссионных. Разыскать по месту жительства!

— Дома его никогда не бывает.

— Пригрозить письмом, что его разыщут в казарме! Номер двадцать семь. Ассессор Дальберг: восемьсот риксдалеров. Покажи-ка! Сын оптового торговца, которого оценивают в тридцать пять тысяч риксдалеров; дать отсрочку, пусть только заплатит проценты. Проследи!

— Он никогда не платит процентов.

— Пошли открытку... ну, знаешь, без конверта... Номер двадцать восемь. Капитан Гилленборст: четыре тысячи. Попался мальчик! Не уплачено?

— Не уплачено.

— Прекрасно! Установка такая: являешься к нему в казарму около двенадцати.

Одежда — обычная, а именно — компрометирующая. Рыжее пальто, которое летом кажется желтым... ну, сам знаешь!

— Не помогает; я уже приходил к нему в караульное помещение в одном сюртуке в разгар зимы.

— Тогда сходи к поручителям!

— Ходил, и оба послали меня к черту! Это было чисто формальное поручительство, сказали они.

— В таком случае ты явишься к нему самому в среду в час дня, когда он заседает в правлении «Тритона»; и захвати с собой Андерссона, чтобы вас было двое!

— И это мы уже проделывали!

— И какой же вид был при этом у членов правления? — спросил Фальк, моргая глазами.

— Они были смущены.

— Ах, они были смущены! Очень смущены?

— Да, по-моему, очень.

— А он сам?

— Он выпроводил нас в вестибюль и обещал заплатить, если только мы дадим слово никогда больше не являться к нему.

— Ах, вот оно что! Заседает два часа в неделю и получает шесть тысяч только за то, что его зовут Гилленборст! Дай-ка мне посмотреть. Сегодня суббота. Будешь в «Тритоне» ровно в половине первого; если увидишь меня там — а ты обязательно меня увидишь, — мы с тобой незнакомы. Понял? Хорошо! Еще просьбы об отсрочке?

— Тридцать пять!

— Вот что значит — завтра сочельник.

Фальк стал перелистывать пачку векселей; время от времени на его губах появлялась усмешка, и он отрывисто говорил:

— Господи! Далеко же у него зашло дело! И он... и он... а ведь считался таким надежным! Да-да, да-да! Ну и времена! Вот оно что, ему нужны деньги? Тогда я куплю у него дом!

В дверь постучали. В мгновение ока крышка конторки захлопнулась, бумаги и узкую книжку как ветром сдуло, а Нистрем вышел через потайную дверь.

— В половине первого, — шепнул ему вслед Фальк. — И еще: поэма готова?

— Готова, — послышалось словно из-под земли.

— Хорошо! Приготовь вексель Левина, чтобы предъявить его в канцелярию. Хочу на этих днях немного прищемить ему нос. Весь он насквозь фальшивый, черт бы его побрал!

Он поправил галстук, подтянул манжеты и открыл дверь в гостиную.

— Кого я вижу! Добрый день, господин Лунделль! Ваш покорный слуга! Пожалуйста, заходите, прошу вас! А я тут немножко занялся делами!

Это действительно был Лунделль, одетый как конторский служащий, по последней моде, с цепочкой для часов и кольцом на пальце, в перчатках и галошах.

— Я не помешал вам, господин коммерсант?

— Ну что вы, несколько! Как вы думаете, господин Лунделль, к завтрашнему дню картина будет готова?

— Она обязательно должна быть готова завтра?

— Непременно! Я устраиваю в яслях праздник, и моя жена публично передаст правлению этот портрет, который затем повесит в столовой!

— Тогда нам ничто не может помешать, — ответил Лунделль и принес из чулана мольберт с почти готовым холстом. — Не угодно ли вам будет, господин коммерсант, немного посидеть, пока я кое-что дорисую?

— Охотно! Охотно! Пожалуйста!

Фальк уселся на стул, скрестил ноги, приняв позу государственного деятеля, и на лице его застыло презрительно-надменное выражение.

— Пожалуйста, говорите что-нибудь! — сказал Лунделль. — Конечно, ваше лицо и само по себе представляет значительный интерес, но чем больше изменений настроения отразится на нем, тем лучше.

Фальк ухмыльнулся, и его грубое лицо изобразило удовлетворение и самодовольство.

— Господин Лунделль, позвольте пригласить вас на обед на третий день рождества!

— Благодарю...

— Вы увидите людей весьма заслуженных и, возможно, гораздо более достойных быть запечатленными на холсте, нежели я.

— Может, мне будет оказана честь написать их портреты?

— Разумеется, если я порекомендую вас.

— Неужели?

— Конечно!

— Сейчас я увидел на вашем лице какие-то новые черты. Пожалуйста, постарайтесь сохранить это выражение! Так! Великолепно! Боюсь, господин коммерсант, нам не управиться до самого вечера. Множество небольших черточек можно подметить только вот так, исподволь, во время работы. У вас очень интересное лицо.

— В таком случае мы с вами вместе где-нибудь пообедаем. И вообще нам надо почаще встречаться, тогда вы, господин Лунделль, будете иметь возможность лучше изучить мое лицо для второго портрета, который всегда пригодится. Должен вам сказать, что мало кто производил на меня такое приятное впечатление, как вы, господин Лунделль!..

— О, весьма вам признателен.

— К тому же я весьма проницателен и всегда умею отличить правду от лести.

— Я сразу это заметил, — бессовестно солгал Лунделль. — Моя профессия научила меня разбираться в людях.

— У вас наметанный глаз; не всякому дано меня понять. Моя жена, например...

— Этого и нельзя требовать от женщин.

— Нет, я говорю о другом... Господин Лунделль, можно предложить вам стакан хорошего портвейна?

— Спасибо, господин коммерсант, но мой принцип — ни в коем случае не пить во время работы...

— Вы совершенно правы. Я уважаю этот принцип — я всегда уважаю принципы, — тем более что это и мой принцип.

— Но когда я не работаю, то охотно пропускаю стаканчик.

— Как и я... совсем как я.

Часы пробили половину первого. Фальк вскочил с места.

— Извините, я должен ненадолго отлучиться по одному важному делу, но скоро вернусь.

— Пожалуйста, пожалуйста! Дела прежде всего!

Фальк оделся и вышел. Лунделль остался в конторе один.

Он закурил сигару и встал, пристально рассматривая портрет. Тот, кто наблюдал бы сейчас за его лицом, ни за что не догадался бы, о чем он думает, ибо он уже настолько постиг искусство жизни, что и одиночеству не доверял своих мыслей; да, он даже боялся разговаривать с самим собой.

Глава двадцать четвертая О Швеции

Подали десерт. В бокалах искрилось шампанское, отражая сияние люстры в столовой Николауса Фалька, в его квартире неподалеку от набережной. Со всех сторон Арвид принимал дружеские рукопожатия, сопровождаемые комплиментами и поздравлениями, предостережениями и советами; всем хотелось хотя бы в какой-то мере разделить с ним его успех, ибо теперь это был несомненный успех.

— Ассессор Фальк! Имею честь поздравить вас! — сказал председатель Коллегии чиновничьих окладов, кивнув ему через стол. — Вот это жанр, жанр, который я люблю и понимаю!

Фальк спокойно выслушал этот обидный для него комплимент.

— Почему вы пишете так меланхолически? — спросила юная красавица, которая сидела справа от поэта. — Можно подумать, что вы несчастливы в любви!

— Ассессор Фальк! Разрешите выпить за ваше здоровье! — сказал сидевший слева редактор «Серого плаща», разглаживая свою длинную светлую бороду. — Почему вы не пишете для моей газеты?

— Боюсь, вы не опубликуете того, что я напишу, — ответил Фальк.

— Что же может нам помешать?

— Взгляды!

— Ах, взгляды! Ну, это еще не так страшно. И потом, это дело поправимое. К тому же у нас вообще нет никаких взглядов!

— Твое здоровье, Фальк! — закричал через стол уже совершенно ошалевший Лунделль. — Привет!

Леви и Боргу пришлось изо всех сил удерживать его, чтобы он не встал и не начал произносить речь.

Он впервые попал на званый вечер — изысканное общество и прекрасный стол несколько ошеломили его, но поскольку все гости уже были в довольно приподнятом настроении, он не привлекал к себе излишнего внимания.

Арвиду Фальку было тепло и уютно среди этих людей, которые снова приняли его в свое общество, не требуя взамен ни объяснений, ни повинной. Он испытывал чувство уверенности и покоя, сидя на этих старых стульях, которые были неотъемлемой частью дома, где прошло его детство; с грустью он узнал большой сервиз, который прежде ставили на стол только раз в году; однако здесь присутствовало так много новых людей, что мысли его все время рассеивались. Его нисколько не обманывало дружелюбие, написанное на их лицах; конечно, они не желали ему зла, но их благосклонность всецело зависела от конъюнктуры. Да и само празднество представлялось ему каким-то удивительным маскарадом. Что общего может быть у профессора Борга, ученого с большим именем, и у его необразованного брата? Наверное, они состоят в одном и том же акционерном обществе. А что делает

здесь этот чванливый капитан Гилленборст? Пришел сюда поесть? Едва ли, хотя нередко людям приходится довольно далеко идти, чтобы поесть. А председатель? А адмирал? Очевидно, всех их связывают какие-то невидимые узы, крепкие и нерасторжимые.

Гости веселились вовсю, но смех звучал слишком резко и пронзительно. Каждый блистал остроумием, но оно было каким-то вымученным; Фальк вдруг почувствовал себя ужасно подавленным, и ему почудилось, что с портрета над роялем отец с негодованием смотрит на гостей.

Николаус Фальк сиял от удовольствия; он не видел и не слышал ничего неприятного, но избегал, насколько это было возможно, встречаться глазами с братом. Они еще не сказали друг другу ни слова — следуя указанию Левина, Арвид пришел, только когда гости уже собрались.

Обед близился к концу. Николаус произнес речь о «силе духа и твердости воли», которые ведут человека к цели — «экономической независимости» и «высокому общественному положению». «Все это вместе взятое, — сказал оратор, — развивает чувство собственного достоинства и придает характеру ту твердость, без которой мы не можем приносить ровно никакой пользы, не можем трудиться на благо человечества, что является, господа, нашей высшей целью, к достижению которой мы всегда стремимся! Я поднимаю тост за здоровье уважаемых гостей, которые оказали сегодня столь высокую честь моему дому, и надеюсь, что эта честь будет и впредь мне неоднократно оказана!»

В ответ капитан Гилленборст, уже немного захмелевший, произнес довольно длинную шутивную речь, которая при другом настроении и в другом доме неминуемо вызвала бы скандал.

Для начала он обрушился на торгашеский дух, захвативший все и вся, и шутивно заметил, что ему всегда доставало чувства собственного достоинства, хотя и весьма недоставало экономической независимости; не далее как сегодня утром ему пришлось столкнуться с одним весьма неприятным делом, и тем не менее у него хватило твердости характера явиться на этот обед; что же касается его общественного положения, то, как ему представляется, оно ничуть не хуже, чем у любого другого, и, по-видимому, все присутствующие придерживаются того же мнения, поскольку он имеет честь сидеть за этим столом у таких очаровательных хозяев!

Когда он закончил, все облегченно вздохнули, потому что «было такое чувство, словно над ними нависла грозная туча», заметила юная красавица Арвиду Фальку, который высоко оценил это высказывание.

Атмосфера была настолько пропитана ложью и фальшью, что Арвид, подавленный и усталый, думал только о том, как бы поскорее убежать. Он видел, что эти люди, вне всякого сомнения честные и достойные уважения, были словно прикованы к невидимой цепи, которую время от времени в бессильной ярости пытались разгрызть; да, капитан Гилленборст относился к хозяину дома с неприкрытым, хотя и шутивным презрением. Он курил в гостиной сигару, принимал неприличные позы, делая вид, что не замечает присутствия дам. Он плевал на печной кафель, немилосердно ругал развешанные по стенам олеографии и весьма пренебрежительно высказывался о мебели красного дерева. Остальные гости вели себя с равнодушным достоинством, словно находились при исполнении служебных обязанностей.

Недовольный и удрученный, Арвид Фальк незаметно оделся и ушел. На улице его

подждал Олле Монтанус.

— А я думал, ты уже не придешь, — сказал Олле. — В окнах наверху все сверкает — красота!

— Вот почему ты так думал! Жаль, тебя там не было!

— А как там наш Лунделль среди всей этой знати?

— Не завидуй ему. Он еще хлебнет горя, если станет портретистом. Поговорим лучше о другом. Я действительно жду не дожусь сегодняшнего вечера, когда увижу совсем рядом рабочих. Мне кажется, это будет как глоток свежего воздуха после долгого пребывания в духоте. У меня такое ощущение, будто я иду на прогулку в лес после долгих дней, проведенных в больнице. Надеюсь, меня не лишат и этой иллюзии?

— Рабочий недоверчив, ты должен соблюдать осторожность.

— Он благороден? Не мещанин? Или гнет богатых изуродовал его?

— Сам увидишь. Ведь многое оказывается совсем не таким, как мы себе представляем.

— К сожалению, это так!

Через полчаса они сидели в большом зале рабочего союза «Северная звезда», который был уже полон. Черный фрак Фалька произвел не слишком благоприятное впечатление на окружающих; он видел вокруг угрюмые лица и то и дело ловил на себе враждебные взгляды.

Олле представил Фалька высокому худощавому мужчине с лицом фанатика; он все время покашливал.

— Столяр Эрикссон.

— Так, — сказал Эрикссон. — Этот господин тоже желает стать членом риксдага? По-моему, для риксдага он слишком тощий.

— Нет, нет, — сказал Олле, — он из газеты.

— Из какой газеты? Есть много разных газет. Может быть, он пришел посмеяться над нами?

— Нет, ни в коем случае, — заверил его Олле. — Он друг рабочих и сделает для вас все, что в его силах.

— Если так, тогда другое дело. И все-таки я побаиваюсь подобного рода господ; жил тут у нас в доме на Белых горах один такой; собирал с нас квартирную плату; Струве зовут эту каналью!

Стукнул молоток, и председательское место занял человек средних лет. Это был каретник Лефгрэн, член городского муниципалитета и обладатель медали «Litteris et Artibus»²⁰. Выполняя поручения городского муниципалитета, он приобрел немалые актерские навыки, а его внешность стала настолько величественной, что позволяла ему без труда водворять тишину и спокойствие, когда бушевала буря. Его широкое лицо, украшенное бакенбардами и очками, обрамлял большой судейский парик.

Возле него сидел секретарь, в котором Фальк узнал бухгалтера из Большой коллегии. Он носил пенсне и презрительной усмешкой выражал свое неодобрение по поводу большинства высказываний, которые можно было услышать в этом зале. На передней скамье сидели наиболее именитые члены этого рабочего союза — офицеры, чиновники, оптовые торговцы, которые оказывали весьма мощную поддержку всем благонамеренным предложениям и, обладая большим опытом парламентской борьбы,

²⁰ «За литературу и искусство» (лат.).

с необыкновенной легкостью проваливали все проекты каких-либо реформ.

Секретарь зачитал протокол, который затем был уточнен и одобрен передней скамьей. Потом заслушали сообщение по первому пункту повестки дня.

— «Подготовительный комитет предлагает от имени рабочего союза „Северная звезда“ выразить возмущение, которое должен испытывать каждый честный гражданин нашей страны в связи с тем противозаконным движением, что под названием забастовочного охватило сейчас почти всю Европу».

— Союз считает...

— Правильно! — воскликнула передняя скамья.

— Господин председатель! — закричал столяр с Белой горы.

— Кто это там шумит? — спросил председатель, глядя из-под очков с таким выражением, словно собирался взять розги.

— Никто здесь не шумит; просто я требую, чтобы мне дали слово! — ответил столяр.

— Кто это я?

— Столярный мастер Эрикссон!

— Мастер? Когда же это вы стали мастером?

— Я подмастерье, закончивший полный курс обучения; у меня никогда не было возможности приобрести патент, но я не менее искусен, чем любой другой мастер, и я работаю на самого себя. Вот что я вам скажу!

— Подмастерье Эрикссон, пожалуйста, сядьте и не мешайте нам. Принимает ли союз предложение комитета?

— Господин председатель!

— В чем дело?

— Я прошу слова! Выслушайте меня! — заорал Эрикссон.

— Дайте Эрикссону слово! — послышался ропот в конце зала.

— Подмастерье Эрикссон... пишется через одно или через два «с»? — спросил председатель, которому суфлировал секретарь.

На передней скамейке раздался громкий смех.

— Я никак не пишу, господа, я доказываю и спорю! Если бы у меня была возможность говорить, я сказал бы, что забастовщики правы: помещики и фабриканты, которые ничего больше не делают, как бегают друг к другу с визитами и занимаются тому подобной ерундой, богатеют и жиреют, потому что живут потом своих рабочих! Но мы знаем, почему вы не хотите оплачивать наш труд; потому что мы можем получить право голоса на выборах в риксдаг, а этого вы боитесь...

— Господин председатель!

— Ротмистр фон Спорн!

— И мы знаем, что налоговый комитет снижает налог на богатых всякий раз, когда он достигает определенного уровня. Если бы у меня была возможность говорить, я сказал бы еще много чего другого, но от этого все равно толку мало...

— Ротмистр фон Спорн!

— Господин председатель, господа! Для меня явилось полнейшей неожиданностью, что в столь почтенном собрании, завоевавшем с высочайшего соизволения своим достойным поведением столь высокую репутацию, разрешают людям без всякого парламентского такта компрометировать наш уважаемый союз своим наглым пренебрежением всеми правилами приличия. Поверьте мне, господа, ничего подобного не могло бы случиться в стране, где люди с юности знают, что такое

военная дисциплина...

— Всеобщая воинская повинность! — сказал Эрикссон Олле.

— ...которая приучает человека управлять самим собой и другими! Я выражаю нашу общую надежду, что подобные выходки никогда больше не будут иметь места среди нас... я говорю «нас», ибо я тоже рабочий... перед лицом всевышнего мы все рабочие... и я это говорю как член нашего союза, и для меня стал бы траурным тот день, когда мне пришлось бы взять обратно свои слова, сказанные недавно на другом собрании, да, на собрании Национального союза друзей воинской повинности: «Я высоко ценю шведского рабочего!»

— Bravo! Bravo! Bravo!

— Союз принимает предложение подготовительного комитета?

— Да! Да!

Следующий пункт повестки дня:

— «По предложению некоторых членов союза подготовительный комитет ставит вопрос о том, чтобы в связи с конфирмацией его высочества герцога Дальсландского и в знак признательности шведских рабочих королевскому двору, а в настоящее время и как выражение их негодования по поводу рабочих беспорядков, которые под именем Парижской коммуны несут неисчислимые бедствия столице Франции, собрать средства на приобретение с последующим подношением почетного дара, стоимость которого, однако, не должна превышать трех тысяч риксдалеров».

— Господин председатель!

— Доктор Хаберфельд!

— Нет, это я, Эрикссон, я прошу слова!

— Ну что ж! Слово предоставляется Эрикссону!

— Я хочу сообщить, что Парижская коммуна — дело рук не рабочих, а чиновников, адвокатов, офицеров — таких же вот друзей воинской повинности — и журналистов! И если уж на то пошло, я предложил бы всем этим господам выразить свои чувства в поздравлении по случаю конфирмации его высочества!

— Принимает ли союз предложение, внесенное подготовительным комитетом?

— Да! Да!

Писари тут же начали что-то писать и что-то сверять, и все разом заговорили, как в самом риксдаге.

— Здесь всегда так? — спросил Фальк.

— Что, весело? — усмехнулся Эрикссон. — Так весело, что с досады хочется рвать на себе волосы! Одно слово — коррупция, коррупция и еще предательство. Всеми ими движет только корыстолюбие и подлость; ни одного человека с сердцем, который бы честно делал свое дело! Вот почему все произойдет именно так, как должно произойти.

— А что произойдет?

— Еще увидим! — ответил столяр, хватая Олле за руку. — Ты готов? — продолжал он. — Они, конечно, набросятся на тебя, но ты не робей!

Олле лукаво подмигнул.

— Доклад о Швеции сделает Улоф Монтанус, подмастерье скульптора, — начал председатель. — Как мне представляется, тема эта очень большая и сформулирована несколько расплывчато, но если докладчик обещает уложиться в полчаса, то мы с удовольствием послушаем его. Что скажете, господа?

— Да!

— Господин Монтанус, пожалуйста, вам слово!

Олле встряхнулся, как собака, приготовившаяся к прыжку, и пошел к трибуне под пристальными взглядами всего зала.

Между тем председатель затеял небольшую беседу с передней скамьей, а секретарь, сладко зевнув, взял газету, чтобы показать, что отнюдь не намерен слушать доклад.

Олле невозмутимо поднялся на трибуну, опустил свои тяжелые веки, пожевал несколько раз губами, давая слушателям понять, что собирается начать, и, когда стало совсем тихо, так тихо, что было слышно, о чем говорит ротмистру председатель, сказал:

— О Швеции. Кое-какие соображения.

Немного помолчав, он продолжал:

— Господа! Мне представляется, что отнюдь нельзя назвать бездоказательным утверждение, будто самая плодотворная идея нашей эпохи, ее главная движущая сила — это преодоление узколобого национального самосознания, которое разделяет народы и превращает их во врагов; мы знаем средства, служащие достижению этой цели: международные выставки с присуждением почетных дипломов!

Слушатели недоуменно переглядываются.

— Куда он гнет? — спрашивает Эрикссон. — Немного резковато, а в общем пока все хорошо!

— Как всегда, шведская нация идет во главе мировой цивилизации и в значительно большей степени, чем любая другая просвещенная нация, осуществляет на практике идею космополитизма, добившись в этом отношении, если судить по имеющимся у нас данным, немалых результатов. Этому в значительной мере способствовало весьма благоприятное стечение обстоятельств, коротко рассмотрев которые, мы перейдем к таким более удобоваримым предметам, как формы государственного управления, налоговая система и так далее.

— Ну, это он надолго, — говорит Эрикссон, толкая в бок Фалька. — А ведь он забавный парень!

— Всем известно, что первоначально Швеция была немецкой колонией, а шведский язык, который сохранился почти без изменений до наших дней, — это верхненемецкий, состоящий из двенадцати диалектов. Провинциям поначалу было чрезвычайно трудно поддерживать какие бы то ни было связи между собой, и это обстоятельство стало важным фактором, противодействующим развитию нездорового национального чувства. Между тем другие, не менее счастливые обстоятельства противодействовали одностороннему немецкому влиянию, которое, однако, зашло так далеко, что, например, при Альбрехте Мекленбургском Швеция стала немецкой провинцией. Это в первую очередь завоевание датских провинций, таких как Сконе, Блекинге, Халланд, Бухюслен и Дальсланд; эти богатейшие провинции Швеции населены датчанами, которые до сих пор говорят на языке своей родины и отказываются признать шведское господство.

— Господи, к чему он клонит? Он что, спятил?

— Обитатели Сконе, например, по сей день считают своей столицей Копенгаген и образуют в риксдаге враждебную правительству партию. Так же обстоят дела с датским Гетеборгом, который не признает Стокгольм столицей государства; однако сейчас в Гетеборге заправляют англичане, основавшие здесь колонию. Они занимаются прибрежным рыболовством и зимой держат в своих руках почти всю

крупную торговлю, а летом уезжают к себе на родину и там, на Шотландском плоскогорье, наслаждаются богатыми плодами трудов своих. Очень разумный народ эти англичане. Помимо всего прочего, они издают газету, в которой хвалят все, что делают, и никого другого при этом не задевают и не порицают.

Далее, не нужно забывать иммиграцию, которая время от времени приобретала большие масштабы. В наших финских лесах живут финны, но финны живут и в столице, куда они переселились из-за тяжелых политических условий у себя на родине.

На наших металлургических заводах работает много валлонов, которые переселились сюда в семнадцатом веке и по сей день говорят на ломаном французском языке. Как известно, именно валлон ввел в Швеции новую конституцию, которую привез из Валлонии. Крепкий народ и безукоризненно честный!

— Нет, во имя... что он такое несет!

— Во времена Густава Адольфа сюда перебралось много шотландских бродяг, которые нанимались в солдаты и потому тоже попали в Рыцарский замок!

На восточном побережье живет немало семей, которые до сих пор хранят в памяти предания о переселении из Ливонии и других славянских областей, поэтому там нередко можно увидеть чисто татарский тип лица.

Я утверждаю, что шведский народ неуклонно шел по пути полной утраты своей национальной специфики! Раскройте «Геральдику шведского дворянства» и посчитайте чисто шведские имена. Если их наберется больше двадцати пяти процентов, можете отрезать мне нос, господа!

Раскройте адресную книгу — я сам подсчитал имена на «Г»: из четырехсот двести оказались иностранного происхождения! В чем тут причина? Причин много, но главные — внедрение иностранных династий и захватнические войны. Если только вспомнить, сколько всякого сброда сидело на шведском престоле, то остается только удивляться, что нация и поныне сохраняет верность своим королям. Положение конституции, гласящее, что король обязательно должен быть иностранцем, неизбежно приводило — и привело — к утрате национального самосознания! Мое глубокое убеждение, что наша страна может только выиграть от присоединения к другим нациям; потерять она не может ничего, поскольку нельзя потерять то, чего у тебя нет. Шведской нации явно не хватает национального самосознания; это подметил еще Тегнер в тысяча восемьсот одиннадцатом году и, проявив крайнюю недалекость, горько оплакивал в своей «Швеции», но было уже слишком поздно, так как рекрутские наборы и нелепые захватнические войны успели нанести расе непоправимый вред. Из одного миллиона жителей, которые при Густаве Втором Адольфе составляли население Швеции, семьдесят тысяч полноценных мужчин были взяты под ружье и загублены. Сколько людей погубили Карл Десятый, Одиннадцатый и Двенадцатый, сказать точно я не могу, но нетрудно представить себе, какого потомства можно было ожидать от тех, кто остался дома, если все они были забракваны как негодные к военной службе!

Я возвращаюсь к своему утверждению, что нам не хватает национального самосознания. Может ли кто-нибудь из вас назвать мне что-то специфически шведское, кроме наших сосен, елей и железных рудников, продукция которых скоро будет не нужна на мировом рынке? Что такое наши народные песни? Французские, английские и немецкие песенки в плохом переводе на шведский язык! Что такое наши национальные костюмы, об исчезновении которых мы так горюем? Старые обноски

средневековых дворянских костюмов! Еще при Густаве Первом жители Даларна требовали наказания для тех, кто носил пестрые платья замысловатого покрова. Вероятно, пестрый придворный наряд, так называемый бургундский костюм, тогда еще не попал к модницам из Даларна! И наверняка с тех пор его покрой претерпел в соответствии с модой значительные изменения.

Назовите мне хоть одно шведское стихотворение, произведение искусства, музыкальную пьесу, которые были бы специфически шведскими, тем самым отличаясь от всего не-шведского! Покажите мне шведское здание! Такого здания нет, а если и есть, то либо оно плохое, либо построено по иностранному образцу.

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что шведская нация — нация бездарная, тщеславная, рабская по духу, завистливая, ограниченная и грубая! И поэтому в самом недалеком будущем ее ждет гибель!

В зале поднялся невообразимый шум. Можно было разобрать отдельные выкрики, призывающие вспомнить о Карле XII.

— Господа, Карл Двенадцатый умер, и пусть он мирно спит до следующего празднества! Ведь именно его мы должны в первую очередь благодарить за утрату национального самосознания, и поэтому, господа, предлагаю вам присоединиться к моему четырехкратному «ура»! Господа! Да здравствует Карл Двенадцатый!

— Прошу собрание соблюдать порядок! — крикнул председатель.

— Можно ли представить себе большее скотство, чем то, когда нация учится писать стихи по иноземным образцам! Тысячу шестьсот лет эти бараны ходили за плугом, и им даже в голову не приходило писать стихи! Но вот появляется какой-то чужак, служивший при дворе Карла Одиннадцатого, и наносит ужасный вред всему делу ликвидации национального самосознания. Раньше все писали по-немецки, а теперь им пришлось писать по-шведски! Поэтому, господа, предлагаю вам присоединиться к моему призыву: долой глупого пса Георга Шернельма!

— Как его звали? Эдвард Шернстрем! — Председатель стучит молотком по столу, всеобщее негодование. — Хватит! Долой предателя! Он насмехается над нами!

— Шведская нация умеет только кричать и драться! И поскольку у меня нет возможности перейти к органам управления и королевским усадьбам, я только скажу, что рабские негодяи, которых я наслушался сегодня вечером, вполне созрели для самодержавия! И вы получите самодержавие! Можете быть уверены! Будет у вас самодержавие!

От толчка сзади слова застряли у оратора в горле, и, чтобы не упасть, он ухватился за трибуну.

— Неблагодарный сброд, не желающий слушать правду...

— Гоните его в шею! Рвите на куски! — Олле сбросили с трибуны, но в самый последний момент под градом ударов он завопил как безумный:

— Да здравствует Карл Двенадцатый! Долой Георга Шернельма!

Олле и Фальк очутились на улице.

— Что на тебя нашло? — спросил Фальк. — Ты с ума сошел!

— Да, кажется, ты прав. Почти шесть недель я готовил свою речь, знал назубок все, что хотел сказать, но когда поднялся на трибуну и увидел их глаза, все пошло прахом: вся моя аргументация развалилась как карточный домик, земля ушла из-под ног, а мысли спутались. Что, получилось неважно?

— Да уж куда хуже! И от газет тебе еще достанется на орехи!

— Жалко, что так вышло. А мне казалось, я говорю так ясно. И все-таки хорошо,

что я задал им жару!

— Ты этим вредишь делу, которому служишь; больше тебя никто не захочет слушать.

Олле вздохнул.

— И чего ты, господи, привязался к Карлу Двенадцатому? Вот это уж совсем напрасно.

— Не спрашивай меня! Я ничего не знаю! Ну, а ты все еще пылаешь любовью к рабочему? — продолжал Олле.

— Мне жаль его — он позволяет водить себя за нос всяким авантюристам, но я никогда не изменю его делу, ибо это самый важный вопрос ближайшего будущего, по сравнению с которым вся ваша политика — пустой звук!

Олле и Фальк прошлись немного, потом направились к центру города, повернули на Малую Новую улицу и решили заглянуть в кафе «Неаполь».

Шел уже десятый час, и в кафе было почти пусто. За столиком у самой стойки сидел один-единственный посетитель. Он что-то читал молоденькой официантке, которая сидела рядом и шила. У них был очень милый и уютный вид, но, по-видимому, эта картина произвела на Фалька не очень приятное впечатление, потому что, сделав порывистое движение, он вдруг изменился в лице.

— Селлен! Ты здесь! Добрый вечер, Бэда! — сказал он с сердечностью, явно наигранной, что было ему совсем не свойственно, и взял молодую девушку за руку.

— Неужели это ты, брат Фальк? — воскликнул Селлен. — Оказывается, ты тоже заглядываешь сюда? А я уж решил, не иначе что-нибудь стряслось, раз мы так редко встречаемся в Красной комнате.

Фальк и Бэда обменялись взглядами. У Бэды была слишком изысканная внешность для этого заведения: изящное интеллигентное лицо, на котором горе оставило свои следы; стройная фигурка, отмеченная своенравной, но целомудренной игрой линий; глаза были постоянно обращены кверху, словно высматривали несчастье, ниспосланное небом, хотя могли сыграть в любую игру, которая соответствовала бы в данный момент ее расположению духа.

— Какой ты сегодня серьезный! — сказала она Фальку, глядя на шитье.

— Я был на одном очень серьезном собрании, — сказал Фальк, краснея, как девушка. — А что вы читаете?

— Посвящение к «Фаусту», — ответил Селлен и, протянув руку, стал перебирать шитье Бэды.

На лицо Фалька набежала черная тень. Разговор стал принужденным и вымученным. Олле весь ушел в свои мысли, очевидно подумывая о самоубийстве.

Фальк попросил газету, и ему принесли «Неподкупного». И тут ему пришло в голову, что он забыл посмотреть в «Неподкупном» рецензию на свои стихи. Он раскрыл газету и, пробежав глазами третью страницу, быстро нашел то, что искал. В статье не было комплиментов, но не было и грубых выпадов; она была продиктована подлинным и глубоким интересом к поэзии. Критик писал, что стихи Фалька не хуже и не лучше, чем вся остальная современная поэзия, в них так же много себялюбия и так же мало смысла; они повествуют только о личной жизни автора, о его незаконных связях, выдуманных или действительных, кокетничают с его мелкими грешками, но не выражают ни малейшего огорчения по поводу грехов больших; они ничем не лучше английской камерной поэзии, и автору следовало бы поместить перед заголовком книги гравюру со своим портретом, которая стала бы иллюстрацией к тексту, и так

далее. Эти простые истины произвели на Фалька глубокое впечатление, поскольку до этого он прочитал только панегирик в «Сером плаще», написанный Струве, и хвалебную рецензию в «Красной шапочке», продиктованную личной симпатией к нему рецензента. Он коротко попрощался и встал.

— Ты уже уходишь? — спросила Бэда.

— Да. Завтра встретимся?

— Конечно, как обычно. Спокойной ночи!

Селлен и Олле последовали за ним.

— Очаровательная девушка! — сказал Селлен после того, как некоторое время они молча шли по улице.

— Попрошу тебя выражаться более сдержанно, когда ты говоришь о ней.

— Если я не ошибаюсь, ты влюблен в нее?

— Да, влюблен и надеюсь, ты не возражаешь?

— Пожалуйста, я вовсе не собираюсь становиться тебе поперек дороги.

— И прошу тебя не думать о ней плохо...

— Я и не думаю. Когда-то она работала в театре...

— Откуда ты знаешь? Она ничего не говорила мне об этом.

— А мне говорила. Никогда нельзя верить этим маленьким чертовкам!

— Но ведь в этом нет ничего дурного. Я постараюсь забрать ее отсюда как можно скорее; пока что все наши встречи сводятся к тому, что по утрам в восемь часов мы идем в парк и пьем воду из источника.

— Как невинно! А по вечерам вы никогда не ходите ужинать?

— Мне и в голову не приходило сделать ей такое непристойное предложение, да она наверняка с возмущением отказалась бы его принять! Ты смеешься! Что ж, смейся! А я еще верю в любовь женщины, к какому бы общественному классу она ни принадлежала и какие бы злоключения ни выпали на ее долю! Она призналась, что в жизни у нее далеко не все было так уж гладко, но я обещал никогда не спрашивать ее о прошлом.

— Значит, у тебя это серьезно?

— Да, серьезно!

— Тогда другое дело. Спокойной ночи, брат Фальк! Олле, ты, наверное, пойдешь со мной?

— Спокойной ночи!

— Бедный Фальк, — сказал Селлен Олле. — Теперь наступила его очередь пройти через это испытание, но его не избежать, как не избежать смены молочных зубов на постоянные: пока не влюбишься, не станешь мужчиной.

— А что собой представляет эта девушка? — спросил Олле только из вежливости, потому что мысли его были далеко-далеко.

— По-своему она очень неплохая девушка, но Фальк воспринимает ее слишком уж серьезно; она подыгрывает ему, пока не потеряла надежду заполучить его, но если дело затянется, ей все это надоест, и у меня нет никакой уверенности, что время от времени она не станет развлекаться где-нибудь на стороне. Нет, здесь надо действовать по-другому: не ходить вокруг да около, а сразу брать быка за рога, не то кто-нибудь непременно помешает. А у тебя, Олле, было что-нибудь в этом роде?

— У меня был ребенок от служанки, которая работала у нас в деревне, и за это отец выгнал меня из дому. С тех пор мне на женщин наплевать.

— Ну, у тебя все обстояло гораздо проще. А быть обманутым, можешь мне

поверить, — ой! ой! ой! — как это неприятно. Надо иметь нервы как скрипичные струны, если хочешь играть в эти игры. Посмотрим, чем все это кончится для Фалька; глупо, но некоторые смотрят на подобные вещи слишком серьезно. Итак, ворота открыты! Входи же, Олле! Надеюсь, нам уже постелили, так что тебе будет удобно спать; но ты должен извинить мою старую горничную за то, что она не может как следует взбить перину, понимаешь, у нее ослабли пальцы, а перья в перине свалялись, и, возможно, лежать будет немного жестко.

Они поднялись по лестнице.

— Входи, входи! — сказал Селлен. — Старая Става, наверно, только что проветривала комнату или вымыла пол, по-моему, пахнет сыростью.

— Ну и артист! Что тут мыть, когда и пола-то нет?

— Нет пола? Тогда другое дело. Куда же девался пол? Может быть, сгорел? Впрочем, это не имеет значения. Пусть будет нам постелью мать-земля, или щебенка, или что там еще есть!

Они улеглись прямо в одежде, подстелив куски холста и старые рисунки, а под голову положили папки. Олле зажег спичку, достал из кармана свечной огарок и поставил его возле себя на пол; в большой пустой комнате забрезжил слабый огонек, который, казалось, оказывал яростное сопротивление огромным массам тьмы, врывавшейся через громадные окна.

— Сегодня холодно, — сказал Олле, доставая какую-то засаленную книгу.

— Холодно? Нисколько! На улице всего двадцать градусов мороза, значит, у нас здесь не меньше тридцати, мы ведь живем высоко. Как ты думаешь, сколько сейчас времени?

— По-моему, у святого Иоанна только что пробил час.

— У Иоанна? Но у них там нет часов. Они такие бедные, что давно заложили их.

Воцарилось продолжительное молчание, которое первым нарушил Селлен:

— Что ты читаешь, Олле?

— А тебе не все равно?

— Все равно? Ты бы повежливей, все-таки в гостях.

— Это старая поваренная книга, которую я взял почитать у Игберга.

— Правда, черт побери? Тогда давай почитаем вместе: за весь день я выпил чашку кофе и три стакана воды.

— Так, что же мы будем есть? — спросил Олле, перелистывая книгу. — Хочешь рыбное блюдо? Ты знаешь, что такое майонез?

— Майонез? Не знаю! Читай про майонез! Звучит красиво!

— Ты слушаешь? «Рецепт сто тридцать девятый. Майонез. Масло, муку и немного английской горчицы смешать, обжарить и залить крепким бульоном. Когда закипит, добавить сбитые яичные желтки, после чего охладить».

— Нет, черт побери, этим не наешься...

— Еще не все. «Добавить растительное масло, винный уксус, сливки и перец...» Да, теперь и я вижу, что это нам не годится. Не хочешь ли чего-нибудь поосновательней?

— Почитай-ка про голубцы, это самое вкусное, что я только знаю.

— Нет, не могу больше читать вслух, хватит.

— Ну, пожалуйста, почитай еще!

— Оставь меня в покое!

Они снова замолчали. Свечка погасла, и стало совсем темно.

— Спокойной ночи, Олле, закутайся во что-нибудь, а то замерзнешь.
— Во что же мне закутаться?
— Сам не знаю. Правда, здесь презабавно?
— Не понимаю, почему люди не кончают самоубийством в такой собачий холод.
— Это совсем не обязательно. Хотел бы я знать, что будет дальше.
— У тебя есть родители, Селлен?
— Нет, ведь я внебрачный; а у тебя?
— Есть, но их все равно что нет.
— Благодарю провидение, Олле; нужно всегда благодарить провидение... хотя я и не знаю, за что его благодарить. Но пусть так и будет!

Снова воцарилось молчание; на этот раз первым заговорил Олле:

— Ты спишь?
— Нет, лежу и думаю о статуе Густава Адольфа; поверишь ли...
— Тебе не холодно?
— Холодно? Здесь так тепло!
— Правая нога у меня совсем окоченела.
— Втащи на себя ящик с красками, засунь под одежду кисти, и тебе сразу станет теплее.
— Как ты думаешь, живется еще кому-нибудь так же плохо, как нам?
— Плохо? Это нам-то живется плохо, когда у нас есть крыша над головой? Я знаю одного профессора из академии, ходит в треугольной шляпе и при шпаге, а ему приходится гораздо хуже. Профессор Лундстрем половину апреля проспал в театре в Хмельнике! В полном его распорядке была вся левая ложа у авансцены, и он утверждает, что после часа ночи в партере не оставалось ни одного свободного места; зимой там всегда очень уютно, не то что летом. Спокойной ночи, теперь я сплю!
И Селлен захрапел. А Олле встал и долго ходил взад и вперед по комнате, пока на востоке не заалел рассвет; и тогда день сжалился над ним и послал ему покой, которого не дала ночь.

Глава двадцать пятая Последняя игра

Прошла зима: медленно для самых несчастных, чуть побыстрее для менее несчастных. И наступила весна с обманчивой надеждой на солнце и зелень, а потом было лето — короткая прелюдия к осени.

Как-то майским утром литератор Арвид Фальк из редакции «Рабочего знамени» шел под палящим солнцем по набережной и смотрел, как стоят под погрузкой и отчаливают от берега суда. Внешность его давно уже не была столь изысканной, как прежде; его черные волосы отросли несколько длиннее, чем предписывала мода, а борода а la Генрих IV придавала его исхудалому лицу выражение какой-то необузданности. Глаза горели тем зловещим огнем, какой обычно выдает фанатиков и пьяниц. Казалось, он ищет подходящее судно, но никак не может решить, какое выбрать. После долгих колебаний он подошел к матросу, который вкатывал на палубу брига вагонетку с тюками. Фальк вежливо приподнял шляпу.

— Скажите, пожалуйста, куда идет это судно? — спросил он застенчиво, хотя самому ему казалось, будто он говорит смело и решительно.

— Судно? Но я не вижу никакого судна!

Все, что стояли вокруг, разразились смехом.

— Если хотите узнать, куда идет бриг, прочитайте вон там!

Фальк сначала несколько оторопел, но потом рассердился и запальчиво сказал:

— Вы что, не можете вежливо ответить, когда вас вежливо спрашивают?

— А пошел ты к черту! И не очень-то шуми здесь! Не то попадет!

На этом разговор закончился, и Фальк принял наконец нужное решение. Он повернулся, прошел по переулку, пересек Торговую площадь и свернул на Киндстугатан. Он остановился у подъезда очень грязного дома. И снова его охватили колебания, потому, что он никак не мог преодолеть свою врожденную нерешительность. В этот момент появился оборванный косоглазый мальчуган с длинными полосами гранок в руках; едва он попытался прошмыгнуть мимо Фалька, как тот схватил его за плечо.

— Редактор у себя? — спросил Фальк.

— Да, он здесь с семи часов, — ответил мальчуган, запыхавшись.

— Обо мне спрашивал?

— Да, много раз.

— Злой?

— Да-а. Как всегда.

И мальчуган стрелой полетел вверх по лестнице. Последовав за ним, Фальк вошел в редакционную комнату. Это была жалкая каморка с двумя окнами, выходившими на темную улицу; возле каждого окна стоял некрашенный стол с бумагой, пером, кипой газет, ножницами и бутылкой клея.

За одним из столов сидел наш старый приятель Игберг в изодранном черном сюртуке и читал корректуру; за другим столом, где обычно работал Фальк, расположился какой-то господин без пиджака и в черной шелковой шапке, как у коммунаров. Его лицо заросло рыжей окладистой бородой, а судя по его приземистой фигуре, можно было предположить, что он из рабочих. Когда Фальк вошел в комнату, коммунар сделал под столом резкое движение ногами и засучил рукава, обнажив синюю татуировку с изображением якоря и буквы «R». Потом он взял ножницы, проткнул ими первую полосу утренней газеты, что-то вырезал и, сидя спиной к Фальку, грубо спросил:

— Где вы пропадали?

— Я был болен, — ответил Фальк, как ему самому показалось, вызывающе, но Игберг потом утверждал, что очень кротко.

— Ложь! Вы развлекались и пьянствовали! Вчера вечером вы сидели в «Неаполе», я вас видел!

— Я, кажется, могу сидеть...

— Вы можете сидеть где захотите, но сюда обязаны являться вовремя, согласно договору! Уже четверть девятого! Я знаю, есть умники, которые окончили университет и считают, что научились там всему на свете, но они не научились соблюдать порядок! Разве не безобразно опаздывать на службу? Только прохвост может вести себя так, что хозяину приходится делать за него его работу! Теперь все стало с ног на голову! Рабочий помыкает своим хозяином, который дает ему работу, а капитал из угнетателя превращается в угнетенного! Вот как обстоит дело!

— Это когда же вы пришли к такому выводу?

— Когда? Сейчас, сударь! Только сейчас! И надеюсь, он соответствует истине! Но я узнал еще кое-что! Вы, сударь, оказывается, невежда — вы не умеете писать

по-шведски! Пожалуйста, взгляните! Что здесь написано? Читайте! «Мы надеемся, что всех тех, кого на будущий год призовут на военную службу...» Нет, вы слышали что-нибудь подобное! «Всех тех, кого...»

— Да, совершенно правильно! — сказал Фальк.

— Правильно? Да как вы можете это утверждать? В повседневной речи мы говорим «всех тех, которых», значит, так и надо писать.

— Но в винительном падеже...

— Не нужны мне ваши ученые фразы, на них далеко не уедешь! И нечего молотить вздор! И потом, вы пишете «призовут» через «о», а не через «а», хотя мы говорим «призвать»! Молчите! «Призовут» или «призавут», как правильно? Отвечайте!

— Призовут, конечно.

— Говорят «призавут», значит, так и надо писать! Может, я и глуп, если все на свете идет кувырком, может, я не умею говорить по-шведски! Но ничего, с этим я еще разберусь! А теперь за работу и больше не опаздывайте!

Он с рычанием вскочил со стула и вlepил затрещину мальчику, который принес корректуру.

— Ах ты, негодяй, спишь среди бела дня! Я отучу тебя спать на работе! Ты у меня сейчас получишь!

Он схватил свою жертву за подтяжки, швырнул на ворох непроданных газет и, вытащив из брюк ремень, начал пороть.

— Я не спал, не спал, я только немножко задремал! — кричал мальчик, извиваясь от боли.

— Ах, так ты еще и отпираешься! Уже научился лгать, но я научу тебя говорить правду... Ты спал или не спал? Ну, говори правду, а не то тебе будет плохо!

— Я не спал! — заикаясь, пролепетал несчастный, который был еще слишком молод и неопытен, чтобы выйти из трудного положения при помощи лжи.

— Ты все еще отпираешься! Какой закоренелый негодяй! Так нагло лгать!

Он уже хотел было снова взяться за юного поборника истины, но тут к нему подошел Фальк и твердо сказал:

— Не бейте мальчика; я видел: он не спал!

— Нет, вы только послушайте! Какой забавник! «Не бейте мальчика»! Кто это там высказывается? А то мне показалось, будто комар жужжит над ухом! Может, я ослышался? Надеюсь, что ослышался! Очень надеюсь! Господин Игберг! Вы славный человек! Вы не учились в университете! Скажите, вы случайно не заметили, спал или не спал этот мальчишка, которого я, как рыбу, держу сейчас за подтяжки?

— Если он и не спал, — ответил Игберг, флегматично и покорно, — то как раз собирался заснуть!

— Правильный ответ! Господин Игберг, подержите-ка его за брюки, а я возьму палку и поучу этого юнца говорить правду!

— Вы не имеете права бить его, — заявил Фальк. — Если вы только тронете его, я открою окно и позову полицейского!

— Я здесь хозяин и волен бить своих учеников сколько захочу! Он мой ученик и когда-нибудь будет работать в редакции. Обязательно будет, хотя некоторые субъекты с университетским образованием и полагают, что в газете без них не обойтись! Послушай, Густав, разве я не учу тебя газетному делу? Ну? Отвечай, но говори правду, а не то!..

Внезапно дверь приоткрылась, и в нее просунулась голова — это была

совершенно необычная голова, и она появилась здесь совершенно неожиданно, но в то же время это была всем хорошо знакомая голова, потому что ее рисовали уже пять раз.

Тем не менее эта, казалось бы, совсем неприметная голова оказала такое сильное действие на редактора, что он тут же набросил на себя пиджак, подпоясал брюки ремнем, поклонился и изобразил на лице улыбку, которая свидетельствовала о хорошей выучке.

Государственный деятель спросил, свободен ли редактор, на что тот ответил утвердительно, и, сняв свою коммунарскую шапку, окончательно утратил сходство с рабочим.

Они вошли в кабинет редактора и плотно затворили за собой дверь.

— Интересно, какие теперь у графа планы? — спросил Игберг, с независимым видом усаживаясь на стул, как это делает школьник, когда учитель выходит из класса.

— Мне это совсем неинтересно, — ответил Фальк, — потому что теперь я знаю, какой он мошенник и какой наш редактор мошенник, но мне интересно, как ты из бессловесного скота сумел превратиться в бесчестную собаку, способную на любую подлость.

— Не надо так горячиться, дорогой брат! Кстати, ты не был вчера вечером на заседании риксдага?

— Нет, не был. Риксдаг нужен лишь тем, кто преследует свои личные интересы. Чем кончилась эта грязная история с «Тритоном»?

— В результате голосования было решено, что, принимая во внимание высокую национально-патриотическую идею предприятия, государство берет на себя финансовые обязательства этого страхового общества, которое прекращает свое существование... или ликвидируется!

— Иными словами... государство подпирает здание, под которым разваливается фундамент, чтобы руководство успело вовремя удрать!

— А ты хотел бы, чтобы все эти мелкие...

— Знаю, знаю! Все эти мелкие акционеры... да, я хотел бы, чтобы, владея своим маленьким капиталцем, они работали, а не бездельничали, занимаясь ростовщичеством, но более всего я хотел бы засадить мошенников за решетку, чтобы им было неповадно создавать мошеннические предприятия. Это называется политическая экономия! Черт бы ее побрал!.. А теперь вот что я тебе скажу! Ты домогаешься моего места! Ты его получишь. Больше тебе не надо будет сидеть в своем углу и злиться на меня за то, что приходится чистить за мной корректуры. У этой свободомыслящей собаки, которую я презираю, лежит слишком много ненапечатанных статей, чтобы я вырезал для него все новые и новые небылицы. «Красная шапочка» оказалась для меня слишком консервативной, а «Рабочее знамя» — слишком грязным!

— Что ж, я рад, что ты расстаешься наконец со своими химерами и снова становишься благоразумным. Иди в «Серый плащ»; там тебя ждет успех!

— Я расстаюсь только с одной химерой: я больше не верю, что дело угнетенных в достойных руках; я считаю важнейшей задачей разъяснить широкой публике, что такое общественное мнение и как оно формируется, особенно средствами печати; но само дело я никогда не оставлю!

Дверь в редакторский кабинет снова отворилась, и оттуда вышел сам редактор. Он остановился посреди комнаты и неестественно мягким, почти любезным тоном сказал:

— Господин ассессор, не будете ли вы так добры принять на себя на время моего отсутствия руководство редакцией: я должен уехать на один день с очень важным поручением. С текущими делами вам поможет управиться господин Игберг. Граф немного задержится у меня в кабинете. Надеюсь, господа, вы не откажетесь в случае надобности оказать графу необходимую помощь.

— В этом нет никакой нужды, — отозвался граф из кабинета, где он сидел, склонившись над рукописью.

Редактор ушел, и, как ни странно, через две минуты или около того ушел и граф: очевидно, он не хотел, чтобы его увидели в обществе редактора «Рабочего знамени».

— Ты уверен, что он сразу уехал? — спросил Игберг.

— Надеюсь, — ответил Фальк.

— Тогда я схожу на набережную, посмотрю, чем там торгуют. Кстати, ты видел Бэду с тех пор?

— С тех пор?

— Да, с тех пор, как она ушла из «Неаполя» и сняла себе комнату.

— Откуда ты знаешь?

— Ради бога, не выходи из себя, Фальк! Тебе же только хуже!

— Ладно, не буду, а то и с ума сойти можно. Ах, эта маленькая женщина, которую я так, так любил! А она меня так бессовестно обманула! То, в чем она отказывала мне, она отдала этому жирному лавочнику! И знаешь, что она мне сказала? Что это лишь доказывает, какой чистой любовью она меня любит!

— Какая тонкая диалектика! И она права, потому что главный тезис абсолютно верен! Она все еще любит тебя?

— Во всяком случае, она преследует меня!

— А ты?

— Я ненавижу ее всем сердцем, но боюсь ее.

— Значит, ты все еще любишь ее.

— Давай переменим тему!

— Спокойствие, Фальк. Бери пример с меня. А я пойду и погреюсь на солнышке. Нужно находить хоть что-нибудь приятное в этом брэнном мире. Густав, если хочешь, можешь сходить на часок к Немецкому колодцу и поиграть «в пуговки».

Фальк остался один. Лучи солнца перескакивали через крутую крышу дома, что стоял напротив, и согревали комнату; он открыл окно и выглянул на улицу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом, но вдохнул лишь удушливые испарения из водосточной канавы; он посмотрел направо, и в узких проходах между домами, именуемых Киндстугатан и Немецкие горы, увидел вдали пароход, сверкавшие на солнце волны озера Меларен и скалу, в расселинах которой лишь недавно появилась растительность. Он подумал о тех, кто поплывет на этом пароходе и будет наслаждаться летним отдыхом, купаться в озере и любоваться природой. Но тут жестянщик с такой силой стал бить молотком по кровле, что загремел весь дом и зазвенели стекла; двое работников тащили по мостовой грохочущую тележку, а из трактира на другой стороне улицы разило водкой, брагой, опилками и еловыми ветками. Фальк отошел от окна и сел за стол; перед ним лежало около сотни провинциальных газет, из которых ему предстояло сделать вырезки. Он снял манжеты и взялся за газеты: они пахли краской, маслом и на всем оставляли черные пятна — вот и все, что можно было о них сказать; он вырезал совсем не то, что казалось ему действительно заслуживающим внимания, так как был обязан сообразовываться с

общим направлением газеты.

Если рабочие какого-нибудь завода преподносили мастеру серебряную табакерку, такую заметку нужно было немедленно вырезать и опубликовать; если же хозяин фабрики вносил в рабочую кассу пятьсот риксдалеров, то сообщение об этом перепечатывать не следовало. Когда герцог Халландский в торжественной обстановке впервые запускал копер, а управляющий стройкой Трелунд писал по этому случаю стихи, Фальк вырезал и репортаж и стихи, «потому что публика любит подобное чтение»; если же он мог добавить к этому еще и пару саркастических замечаний, то тем лучше, ибо такая приправа публике всегда по вкусу. В общем, нужен был любой материал, который хвалил рабочих и порочил клерикалов, военных, крупных торговцев (не мелких), профессоров, известных писателей и судей. Кроме того, минимум раз в неделю следовало нападать на дирекцию Королевского театра, а также критиковать «во имя морали и нравственности» легкомысленные оперетки в постановке небольших театров, поскольку редактор пришел к заключению, что рабочие такие театры не жалуют. Раз в месяц нужно было обвинить в расточительности (и осудить!) членов городского муниципалитета, и при всяком удобном случае следовало критиковать формы государственного управления, но не правительство; строжайшей цензуре редактор подвергал любые выпады против членов риксдага и некоторых министров. Против кого именно? Это оставалось тайной, в которую не был посвящен даже сам редактор, поскольку все зависело от конъюнктуры, а о ней мог судить только таинственный издатель газеты.

Фальк работал ножницами, пока у него не почернела рука, и все клеил и клеил; но от бутылки с клеем исходил такой отвратительный запах, а солнце палило так немилосердно; у бедного столетника, который умел терпеть жажду, как верблюд, и покорно сносил все уколы раздраженного пера, был ужасно удрученный вид; стоило посмотреть на него — и в вашем воображении тотчас же возникала мертвая пустыня; от этих уколов он весь покрылся черными крапинками, а листья торчали, как ослиные уши, из совершенно высохшей земли. Вероятно, нечто подобное и возникло в воображении Фалька, пока он сидел, предаваясь праздности, и прежде чем он успел раскаться в содеянном, он уже обрезал ножницами все кончики ушей. Затем, возможно, чтобы успокоить свою совесть, а возможно, чтобы не сидеть без дела, он смазал срезы клеем и стал наблюдать, как солнце их высушивает; потом глубоко задумался, где бы ему пообедать, ибо уже вступил на путь, который обрекает человека на гибель... или на так называемое «тяжелое материальное положение»; он закурил трубку, набив ее «Черным якорем», и клубы одурманивающего дыма поплыли в солнечных лучах, ненадолго проникших в комнату; теперь он стал относиться более благожелательно к бедной Швеции, жизнь которой отражают, как принято думать, ежедневные, еженедельные и полунедельные издания, именуемые газетами. Отложив ножницы, он бросил в угол газеты и по-братски разделил со столетником содержимое глиняного кувшина, и вдруг ему показалось, что бедняга похож на какое-то — все равно какое — существо с подрезанными крыльями, которое стоит на голове в грязной воде и роется в иле в поисках каких-нибудь — все равно каких — жемчужин или, на худой конец, пустых раковин без жемчужин. Но тут его снова охватило отчаяние, словно дубильщик вдруг зацепил его своими длинными крючьями и швырнул в грязный чан отмокать, пока ножом не соскоблит с него кожу, чтобы он ничем не отличался от других людей. И он не чувствовал ни угрызений совести, ни сожаления о своей бессмысленно загубленной жизни, испытывая лишь горечь при мысли, что в

расцвете молодости его ждет смерть, духовная смерть, а он еще не успел сделать ничего значительного, и его просто выбросят из жизни, как бросают в огонь никому не нужную ветку или тростинку!

Часы на Немецкой церкви пробили одиннадцать, и тут же колокола заиграли сначала «Жизнь божественно прекрасна», а потом «Моя жизнь — волна»; словно тоже подумав о волнах, итальянская шарманка с голосом флейты монотонно затянула «На прекрасном голубом Дунае»; такое обилие музыки, звучащей одновременно, словно вдохнуло новую жизнь в жестянщика, и он с удвоенной силой неистово заколотил по кровле; из-за этого шума Фальк не услышал, как дверь отворилась и в комнату вошли двое. Один из них — высокий, худощавый, довольно мрачный на вид, с ястребиным носом и челкой; другой — толстый, коренастый блондин с лоснящимся от пота лицом, более всего напоминавшим морду животного, которое у евреев считается самым нечистым. Судя по их внешности, их занятия не требовали слишком больших затрат духовных и физических сил; в ней было нечто неопределенное, что свидетельствовало о беспорядочном образе жизни и нерегулярном труде.

— Ш-ш! — прошептал высокий. — Ты один?

Фальк, казалось, был и приятно и неприятно поражен их появлением.

— Один, совсем один; рыжий уехал.

— Прекрасно! Тогда пойдем поедим.

Против этого Фальку нечего было возразить; он запер редакцию и последовал за своими гостями в погребок «Звезда» на Восточной улице, где они уселись в самом темном углу.

— А вот и водка! — сказал толстый, и его потухшие глаза заблестели при виде бутылки.

Однако Фальк, который более всего нуждался в сочувствии и утешении, не обратил должного внимания на предложенные ему улады.

— Давно я уже не чувствовал себя таким несчастным, — сказал он.

— А ты скушай бутерброд с селедкой, — ответил высокий. — Мы же сейчас отведаем ридингенского сыра с тмином. Ш-ш! Официант! Тащи сюда блонбергскую смесь!

— Посоветуйте, что мне делать, — снова заговорил Фальк. — Я не могу больше работать с рыжим и должен подыскать...

— Ш-ш! Официант! Принеси бергманские хрустящие хлебцы! А ты, Фальк, пей и не болтай чепухи!

Выбитый из седла, Фальк больше не пытался найти успокоение своей мятущейся душе и решил пойти по другому, более проторенному пути.

— Говоришь, надо выпить? Ну что ж, пить так пить!

Он не привык пить по утрам, и ему казалось, что яд разливается по его жилам, при этом он чувствовал странное наслаждение от кухонного чада, жужжания мух и запаха увядшего букета цветов, вставленного в грязную банку из-под горчицы. Даже не слишком приятное общество его собутыльников, в несвежих рубашках, замусоленных пиджаках, непричесанных и с физиономиями висельников, настолько гармонировало с его собственным ощущением приниженности своего положения, что он испытывал какую-то необузданную радость.

— Вчера мы были в Юргордене и хорошо выпили! — мечтательно сказал толстый, как бы заново переживая удовольствия, которые уже остались в прошлом.

Фальку нечего было на это ответить, и мысли его сразу же приняли совсем другой

оборот.

— Ну разве не прекрасно, когда все утро ты совершенно свободен? — спросил высокий, по всей видимости, взявший на себя роль искusstителя.

— Ну конечно, прекрасно! — ответил Фальк и посмотрел в окно, словно измеряя на глаз свою свободу, но увидел только пожарную лестницу и мусорный ящик на заднем дворе, куда падал лишь слабый отсвет летнего неба.

— А теперь выпьем по второй! Давай! Так! Ну, а как поживает общество «Тритон»? Ха-ха-ха-ха!

— Не смейся, — ответил Фальк. — На этом деле пострадает немало бедняг.

— Каких это бедняг? Бедных капиталистов? Тебе жалко тех, кто не работает и живет на проценты с капитала? Нет, мой мальчик, ты еще не избавился от своих предрассудков. Кстати, в «Шершне» опубликована довольно забавная история об одном оптовике, который подарил детским яслям «Вифлеем» двадцать тысяч риксдалеров и за это получил орден Васы, а потом оказалось, что это были акции «Тритона» с солидарной ответственностью, и ясли обанкротились. Ну, не прелестно ли? Все их имущество составляли двадцать пять колыбелек и один портрет неизвестного художника, написанный маслом. Великолепно! Портрет оценили в пять риксдалеров. Прелестно, правда? Ха-ха-ха-ха!

Фальк без особого удовольствия выслушал эту историю, которая была ему известна во всех подробностях лучше, чем кому бы то ни было.

— А ты слышал, как «Красная шапочка» пробрала этого жулика Шенстрема, который издал на рождество свои жалкие стишки? — спросил толстый. — До чего приятно было прочесть хоть один правдивый отзыв о стихах этого проходимца! Я пару раз всыпал ему в «Гадюке», да так, что он долго не мог очухаться.

— Ну, ты был не совсем справедлив; у него неплохие стихи, — возразил высокий.

— Неплохие? Но намного хуже моих, которые разругал «Серый плащ», помнишь?

— Кстати, Фальк! Ты был в театре в Юргордене? — спросил высокий.

— Нет, не был.

— Жаль! Там сейчас хозяйничает эта лундхольмская банда. Их директор — наглый мошенник. Не прислал «Гадюке» ни одного билета, а когда вчера мы пришли в театр, он нас выгнал. Это ему даром не пройдет! Не хочешь ли разделаться с этой собакой? Вот бумага и карандаш! Сначала пишу я! «Театр и музыка», «Театр в Юргордене». Теперь пиши ты!

— Но я не видел его трупы.

— А на кой тебе черт ее видеть! Ты что, никогда не писал о том, чего не видел?

— Никогда! Я разоблачал жуликов, но никогда не нападал на честных людей, а его труп я не знаю.

— О, это нечто невообразимое! Совершеннейший сброд! — подтвердил толстый. — Заостри свое перо и коли им в пятку, как ты хорошо умеешь это делать!

— А почему вы сами не колете? — спросил Фальк.

— Потому что наборщики знают наш почерк, а по вечерам они изображают на сцене толпу. Между прочим, этот Лундхольм — довольно буйный малый, он может вломиться в редакцию, и тогда придется сунуть ему рукопись в нос и объяснить, что таково мнение беспристрастного зрителя! Итак, Фальк пишет о театре, а я — о музыке. На этой неделе в Ладугорландской церкви был концерт. Его фамилия — Добри? Кончается на «е»?

— Нет, Добри, без всякого «е»! — ответил толстый. — Главное, не забудь, что он тенор и исполнял «Stabat Mater»!

— Как это пишется?

— Сейчас узнаем, — сказал толстый редактор «Гадюки», снимая со шкафа для газометра кипу засаленных газет. — Здесь вся их программа, и, по-моему, уже есть одна рецензия.

Фальк не выдержал и рассмеялся.

— Не может же рецензия на спектакль появиться в тот самый день, когда о нем объявлено в газете?

— Может! Но сейчас не это главное. Мне надо как следует раскритиковать этот французский сброд. А теперь берись за литературу, толстяк!

— Издатели присылают «Гадюке» книги? — спросил Фальк.

— Ты с ума сошел!

— Значит, вы сами покупаете книги только для того, чтобы отрецензировать их?

— Покупаем? Желторотый! Выпей-ка еще рюмку, развеселись и в награду получишь котлету!

— Может, вы вообще не читаете книг, на которые пишете рецензии?

— У кого, по-твоему, есть время читать книги? Разве не достаточно, что мы пишем о них? Мы читаем газеты, и этого чтива нам вполне хватает! А наш главный принцип — всех ругать!

— Очень глупый принцип.

— Ошибаешься! Тем самым мы привлекаем на свою сторону всех врагов и завистников данного автора и таким образом всегда оказываемся в большинстве, а те, кто настроен нейтрально, как правило, предпочитают славословию брань. По-видимому, для людей незаметных есть что-то обнадеживающее и утешительное в том, чтобы лишний раз убедиться, как тернист путь славы. Не правда ли?

— Да, но разве можно так легкомысленно играть судьбами людей?

— От этого только польза и старикам и молодым; уж кому как не мне это знать — ничего, кроме брани, я в молодости не слышал.

— Но вы вводите в заблуждение общественное мнение!

— Обществу не нужно никакого мнения. Обществу нужно удовлетворение своих страстей. Если я хвалю твоего врага, ты корчишься, как червяк, и заявляешь, что мне не хватает здравого смысла; если же я хвалю твоего друга, ты приходишь к заключению, что я рассуждаю очень здраво. Ну-ка, толстяк, берись за последнюю пьесу, поставленную в Драматическом театре; она только что вышла в свет.

— Ты уверен, что она уже вышла?

— Ну конечно! И потом, ты всегда можешь сказать, что в ней «нет действия», поскольку публика уже привыкла к тому, что так говорят; затем ты иронически похвалишь «прекрасный язык» пьесы — это добрый старый прием, который унизит ее автора; далее набросишься на дирекцию театра, принявшую пьесу к постановке, скажешь о том, что весьма сомнительным представляется «нравственное содержание пьесы», ибо это можно сказать обо всем на свете; саму постановку трогать не надо, ты просто напишешь, что разговор на эту тему «мы откладываем до следующего раза из-за недостатка места», и тогда уж наверняка не сморозишь какой-нибудь глупости из-за того, что не видел этой чепухи.

— А кто тот несчастный, что написал пьесу? — спросил Фальк.

— Этого мы еще не знаем.

— Подумайте тогда хотя бы о его близких — родителях, братьях и сестрах, которые прочтут этот материал, возможно, абсолютно не соответствующий действительности.

— Но какое все это имеет отношение к «Гадюке»? Можешь быть уверен, им непременно хотелось прочитать что-нибудь ядовитое о своих врагах; ведь все знают, о чем обычно пишет «Гадюка».

— Похоже, у вас совсем нет совести?

— А у публики, «почтеннейшей публики», которая нас содержит, совесть есть? Думаешь, мы бы выжили без ее поддержки? Хочешь послушать отрывок из моей статьи о состоянии современной литературы? Поверь, она не так уж плоха. У меня с собой есть оттиск. Но сначала давайте выпьем портера! Официант! Ш-ш!

А теперь слушай; между прочим, если хочешь, можешь взять оттиск себе!

«Уже давно творцы шведской поэзии не издавали таких жалобных воплей, как они это делают сейчас; вой стоит отчаянный; здоровенные парни орут, как мартовские коты! И хотят привлечь к себе внимание мировой общественности, жалуясь на бледную немочь и полипы, поскольку другие средства им уже не помогли; ссылаться же на чахотку они не решаются, потому что это старо. А у этих немощных широкие спины, как у битюгов, и красные рожи, как у трактирщиков. Один стенает по поводу неверности женщины, хотя никогда не знал другой верности, кроме той, за которую платил проститутке; другой пишет, что у него „нет злата, а только лира“, и ведь все врет: у него пять тысяч в процентных бумагах и кресло в Шведской академии! А третий, бесчестный и бессовестный циник, который не может открыть рта, не отравив воздух своим зловонным дыханием, разглагольствует о благодати божьей. Их стихи ничуть не лучше тех, что тридцать лет назад сочиняли под музыку барышни в пасторских усадьбах; им следовало бы писать стихи для кондитеров по двенадцать эре за дюйм, а не беспокоить издателей, печатников и рецензентов, которые делают из них поэтов! О чем они пишут? Да ни о чем, то есть о самих себе! Говорить о самом себе считается неприличным, но писать о себе, оказывается, вполне прилично! О чем же они горюют? О том, что несчастны! Несчастны! Вот и все! Если бы они высказали хотя бы одну-единственную мысль, которая имела бы хоть какое-то отношение к другим людям, ко времени, в котором мы живем, к обществу, если бы хоть один-единственный раз они рассказали об обездоленных и угнетенных, мы простили бы им их прегрешения, но ничего подобного они не сделали; поэтому вся их поэзия не что иное, как звон металла о металл, или нет, как грохочущий железный лом или треснувший шутовской бубенчик, ибо они не любят никого и ничего, кроме нового издания истории литературы Бьюрстена, Шведской академии и самих себя!» Ну что, остро написано?

— По-моему, здесь не все справедливо, — ответил Фальк.

— А по-моему, он их здорово разделал, — сказал толстый. — Не в бровь, а в глаз! Во всяком случае, ты не можешь не признать, что статья написана превосходно. Верно? У этого длинного острое перо, проткнет даже подошву!

— А теперь заткнитесь и пишите — получите кофе с коньяком!

И они писали — о человеческом достоинстве, о ничтожестве — и разбивали сердца, как разбивают яйца!

Фальк испытывал огромную потребность подышать свежим воздухом; он открыл окно во двор, но двор был такой тесный, мрачный, окруженный со всех сторон высокими стенами домов, что человек чувствовал себя здесь как в могиле, а над ним

был лишь маленький четырехугольник неба. И Фальку казалось, что он тоже сидит в могиле и, вдыхая винные пары и кухонный чад, справляет поминки по своей ушедшей молодости, добрым намерениям и чести своего имени; он понюхал сирень, стоявшую на столе, но от нее исходил только запах гнили, и тогда он снова посмотрел в окно, пытаясь остановить свой взгляд хоть на каком-нибудь предмете, который не вызывал бы омерзения, но увидел лишь заново просмоленный мусорный ящик, который стоял как гроб, наполненный всякими побрякушками и прочим ненужным хламом; его мысли устремились вверх, карабкаясь по пожарной лестнице, которая, казалось, вела из грязи, зловония и бесчестья на голубые небеса, но на ней не было ангелов, которые сновали бы вверх и вниз по ее ступенькам, а на самом верху он не увидел ни одного доброго лица — лишь пустое голубое ничто.

Фальк взял перо и только было начал штриховать буквы в заголовке «Театр», как его плечо сжала чья-то сильная рука, и решительный голос произнес:

— Пошли, мне надо с тобой поговорить!

Фальк поднял голову, удивленный и пристыженный. Возле него стоял Борг и, казалось, не намеревался отпускать его.

— Разрешить представить... — начал Фальк.

— Нет, не разрешаю, — перебил его Борг. — Не желаю знакомиться с пьяными литераторами. Пошли!

И он неудержимо потащил Фалька к двери.

— Где твоя шляпа? Вот она! Идем!

Они вышли на улицу. Борг взял Фалька под руку и повел на Железную площадь; там они зашли в магазин судовых товаров, и Борг купил пару парусиновых туфель, после чего потащил Фалька за собой через шлюз в гавань, где у причала стоял готовый к отплытию катер; на палубе катера сидел молодой Леви, читал латинскую грамматику и ел бутерброд.

— Это, — сказал Борг, — катер «Уриа»; название у него мерзкое, но ходит он превосходно и застрахован в акционерном обществе «Тритон»; а это — владелец катера Исаак, он читает латинскую грамматику Рабе — этот идиот решил стать студентом, — и ты все лето будешь его репетитором, а мы сейчас отправляемся отдыхать на Нэмде. Все по местам! Не рассуждать! Ясно? Отчаливай!

Глава двадцать шестая

Письма

Письмо кандидата Борга литератору Струве

Нэмде, 18 июня...

Старый скандальный писака!

Поскольку я совершенно уверен, что ни ты, ни Левин не выплатили процентов, которые причитаются с вас за ссуду, взятую в Банке сапожников, то посылаю вам платежное обязательство на получение ссуды в Банке подрядчиков. Те крохи, что останутся после всех выплат, мы с вами по-братски разделим, и мою долю вы переправите пароходом на Даларе, где я ее и заберу.

Брат Фальк вот уже месяц находится под моим присмотром, и мне кажется, что он выздоравливает. Ты ведь помнишь, что он расстался с нами сразу же после лекции Олле и, вместо того чтобы воспользоваться помощью брата и своими связями, перешел в «Рабочее знамя», где давал над собой измываться за пятьдесят риксдалеров

в месяц. Но, очевидно, воздух свободы, которым он дышал на Киндстугатан, совершенно деморализовал его, потому что он стал чуждаться порядочных людей и скверно одеваться. Все же время от времени мне удавалось проследить за ним через эту потаскуху Бэду — ты знаешь ее, — и когда я увидел, что он достаточно созрел для разрыва со своими коммунарами, я забрал его с собой. Я нашел его в погребке «Звезда», где он сидел в обществе двух газетных писак и хлестал водку, и, по-моему, они еще что-то писали! Когда я уводил его, вид у него был, как у вас принято говорить, самый плачевный. Тебе ведь известно, что я смотрю на людей абсолютно безразличным взглядом; они для меня просто некий геологический препарат, как минералы; одни кристаллизуются в этой формации, другие — в той; почему так происходит, зависит от законов природы и обстоятельств, которые нам совершенно безразличны; я не плачу оттого, что известковый шпат не такой твердый, как горный хрусталь. Поэтому я не склонен называть состояние Фалька плачевным; оно — целиком и полностью продукт его характера (сердца, как вы это называете) и обстоятельств, рожденных его характером. Но в данном случае у него действительно был несколько пониженный тонус. Я посадил его на катер, и он все время вел себя довольно-таки пассивно. Но едва мы отвалили от причала и стали набирать скорость, он обернулся и увидел Бэду, которая стояла на берегу и махала ему рукой. И тогда парень совсем ошалел; он кричал, что должен вернуться, и грозился прыгнуть в воду. Я схватил его за руку и запихнул в каюту, а дверь запер. Когда мы проходили мимо Ваксхольма, я послал по почте два письма: одно редактору «Рабочего знамени», в котором прошу извинить Фалька за длительное отсутствие, а другое — его квартирной хозяйке с просьбой выслать ему одежду.

Тем временем он успокоился, а когда мы вышли в открытое море и увидели шхеры, он вдруг сделался сентиментальным и наговорил целую кучу всякой ерунды о том, что уже не чаял больше увидеть божью (!) зеленую землю и тому подобное. А потом его охватили угрызения совести. Он считал, что не имеет права чувствовать себя таким счастливым и проводить время в праздности, когда многие так несчастны, а также утверждал, что изменил своему долгу, покинув этого негодяя с Киндстугатан, и уже хотел было вернуться. Когда я растолковал ему, какую ужасную жизнь он вел последнее время, он ответил, что обязанность каждого человека страдать и трудиться ради своего ближнего; это убеждение носило у него в какой-то мере религиозный характер, однако, в конце концов, мне удалось его в этом разубедить с помощью минеральной воды и соленых ванн. Казалось, он вдруг весь развалился, и мне стоило немалого труда снова починить его, потому что было очень нелегко определить, где проходит грань между его физическим и психическим нездоровьем. Должен признаться, что в каком-то отношении он вызывает у меня изумление — восхищаться я не умею. У него просто какая-то мания действовать в ущерб собственным интересам. Ведь как хорошо бы ему жилось, если бы он преспокойно делал карьеру чиновника, тем более что его брат обещал ему в этом случае весьма значительную сумму денег. Вместо этого он посылает ко всем чертям почет и уважение общества и работает как каторжный на какого-то неотесанного грубияна — и все во имя идеи! Удивительно!

Все же, как мне представляется, он теперь на пути к выздоровлению, особенно после того последнего урока, который получил. Можешь себе представить, обращаясь к рыбаку, он называл его «господином» и снимал шляпу. Кроме того, он заводил с местным населением задушевные беседы, желая узнать, видишь ли, «как они живут». В результате рыбак заподозрил что-то неладное и в один прекрасный день явился ко

мне и спросил, сам ли «этот Фальк» платит за пансион или за него это делает доктор, то есть я. Я рассказал об этом Фальку, и он очень огорчился, как это всегда с ним бывает, когда его благие намерения терпят крах. Через некоторое время он заговорил с рыбаком о всеобщем избирательном праве; после этого рыбак пришел ко мне и спросил, неужели Фальку совсем не на что жить. Первые дни он, как безумный, метался по берегу; иногда он устраивал такие дальние заплывы в открытое море, словно уже не собирался вернуться обратно, а поскольку я всегда считал, что самоубийство — одно из священных прав человека, дарованное ему самой природой, то никогда не вмешивался в его действия. Между прочим, Исаак рассказал, что Фальк нередко изливает ему душу, жалуясь на эту нимфу Бэду, которая основательно надувает его.

Кстати, Исаак — умная голова, можешь мне поверить. За один месяц он проглотил Рабе и теперь читает Цезаря так же легко, как мы читаем «Серый плащ», и, что самое главное, он знает содержание прочитанного, чего мы никогда не знали. У него очень восприимчивый ум, и в то же время он достаточно расчетлив, а это дар, благодаря которому многие становились великими людьми, хотя были круглыми дураками. Иногда вдруг проявляется его сметливость в практических вопросах, и совсем недавно он продемонстрировал нам свои блестящие коммерческие способности. Я ничего не знаю о его материальном положении, потому что он не любит распространяться на этот счет, но однажды я заметил, что он чем-то взволнован, оказалось, он должен был выплатить пару сотен риксдалеров. Поскольку он не мог обратиться к своему брату из «Тритона», с которым порвал, то пришел ко мне. Я ничем помочь ему не мог. Тогда он взял лист почтовой бумаги и написал письмо, которое отправил спешной почтой, и в течение нескольких дней все было тихо.

Перед домом, в котором мы живем, была прелестная дубовая роща, которая давала приятную тень; к тому же она защищала нас от морского ветра. Я ничего не понимаю в деревьях и вообще далек от природы, но люблю тень, когда жарко. В одно прекрасное утро я поднял шторы и не поверил своим глазам! Прямо перед нашими окнами расстилался залив, а в заливе, примерно в кабельтове от берега, стояла на якоре шхуна. Вся роща была вырублена, а на пне сидел Исаак, читал Евклида и считал деревья, по мере того как их грузили на шхуну. Я разбудил Фалька; он был в отчаянии, ужасно рассвирепел и затеял перебранку с Исааком, котсрый на этой операции положил себе в карман тысячу риксдалеров. Рыбак получил двести — больше он и не просил. Я очень рассердился — не из-за деревьев, а потому, что сам не додумался проверить это дело. Фальк утверждает, что это в высшей степени непатриотично, но Исаак клянется, что убрал «весь этот древесный хлам», чтобы с берега открывался красивый вид на залив, и на следующей неделе он намерен взять лодку и с той же целью осмотреть соседние острова. Жена рыбака проплакала целый день, а ее старик отправился на Даларе купить ей красивую материю на платье; двое суток о нем не было ни слуху ни духу; вернулся он совершенно пьяный, и лодка оказалась пустой, а когда старуха спросила про материю, старик ответил, что где-то забыл ее.

До свидания! Напиши мне поскорее и расскажи несколько скандальных историй, а еще позаботься о наших ссудах!

Твой смертельный враг и поручитель

Х. Б.

Р. С. Я прочел в газетах, что собираются создать Банк государственных служащих. Кто вкладывает в него деньги? Во всяком случае, держи это под контролем, чтобы в свое время забросить туда маленькую бумажку.

В связи с предстоящим присуждением мне ученой степени лиценциата прошу тебя опубликовать в «Сером плаще» следующую заметку:

Научное открытие. Кандидат медицинских наук Хенрик Борг, один из наших выдающихся молодых врачей, в результате зоотомических исследований в стокгольмских шхерах открыл новый вид из рода *Clypeaster*, который он весьма точно назвал *maritimus*.

Кожа животного покрыта чешуей и наростами в виде шипов. Это существо вызвало живейший интерес в научном мире.

Письмо Арнда Фалька Бэде Петерссон

Нэмде, 18 августа...

Когда я брожу по морскому берегу и вижу дербенник, пробивающийся сквозь песок и гальку, мне вспоминается, как всю зиму ты цвела в трактире на маленькой Новой улице.

Не знаю ничего приятнее, чем лежать, растянувшись на прибрежной скале, смотреть на море и чувствовать, как обломки гнейса щекочут ребра; и тогда меня вдруг охватывает тщеславие, и я воображаю себя Прометеем, а орел — это ты! — лежит в мягкой постели на Песчаной улице и ест ртуть.

От водорослей нет никакой радости, пока они растут на дне морском, но когда волны выбрасывают их на берег и они гниют, тогда они пахнут йодом, исцеляющим от любви, и бромом, исцеляющим от безумия.

На земле не было ада, пока не появился рай, то есть женщина! (Старо!!)

Далеко-далеко на взморье в небольшом гнезде живет пара гаг. При мысли о том, что размах крыльев у гаги составляет два фута, невольно задумываешься о чуде, а любовь — это чудо! Во всем мире я больше не нахожу себе места.

Письмо Бэды Петерссон ассессору Фальку

Стокгольм, 18 августа...

Дарагой Друг!

я только что палучила от тебя письмо но не могу сказать что я ево паняла, но я слышала что ты думаеш что я была на Песчаной улице, но все это неправда и я знаю, что это болтает про меня этот негодяй, а это неправда и я уверяю тебя, что я люблю тебя так же сильно как и раньше и часто очень хочу увидеть тебя, но это мне наверно удастся нескоро.

Твоя верная *Бэда*.

Поскриптум. Дарагой Арвид, не можеш ли ты помочь мне тридцатью риксдалерами до пятнадцатого, а пятнадцатого я обизательно тебе их верну, потому что сама получу деньги. Я очень болела и иногда мне так грусно что хочется умереть. Хозяйка кафе такая дрянь, что приревновала меня к этому толстому Берглунду и поэтому я оттуда ушла, все что они болтают про меня это только клевета и неправда.

Будь здоров и не забывай свою Бэду.

Можешь послать деньги Хульде в кафе, и она мне их передаст.

Письмо кандидата Борга литератору Струве

Нэмде, 18 августа...

Консерватор и мошенник!

Ты, очевидно, растратил наши деньги, поскольку, во-первых, я не получил их, а во-вторых, мне прислали из Банка сапожников требование об уплате долга. Ты думаешь, что можно безнаказанно воровать, если у тебя «жена и дети»? Немедленно отчитайся в своих действиях, а не то я приеду в город и устрою скандал!

Заметку в «Сером плаще» я прочитал, и, разумеется, в ней есть опечатки: вместо «зоотомические» напечатано «зоологические», а вместо «clypeaster» — «crupeaster». Надеюсь, что тем не менее ее прочитали с интересом.

Фальк совсем обезумел после того, как получил письмо, написанное женским почерком. Он то лазит по деревьям, то ныряет на дно морское. Думаю, это кризис; я поговорю с ним и попытаюсь его образумить.

Исаак продал свою яхту, не спросив у меня разрешения, так что временно мы с ним в ссоре; сейчас он читает Ливия и создает акционерное общество, которое займется рыболовством.

Кроме того, он купил сеть для ловли салаки, ружье, двадцать пять чубуков, леску для ловли лососей, две сети для ловли окуней, сарай для невода и... церковь... Последнее звучит неправдоподобно, но это так! Правда, ее немного подпалили русские (в 1719 году), но стены остались целы (у здешних прихожан новая церковь, которую используют по назначению, а в старой устроили склад). Исаак намерен подарить ее Литературной академии и получить за это орден Васы. Орденами награждали и не за такую ерунду! Его дядя, трактирщик, получил Васу только за то, что угощал пивом и бутербродами глухонемых, когда осенью те приходили на манеж. Так продолжалось шесть лет, но награждение положило этому конец! Никаких бутербродов глухонемые больше не получали, что лишний раз говорит о том, как вреден орден Васы!

Если я не утоплю этого парня, он не успокоится, пока не скупит всей Швеции.

А теперь выше голову и больше не ловчи, а не то я возьму тебя за горло, и тогда тебе конец.

Х. Б.

P. S. Когда будешь писать о курортниках, отдыхающих на Даларе, упомяни обо мне и Фальке (ассессоре), но не об Исааке; его общество начинает мне немного докучать — вот он и продал яхту.

Как только получишь деньги, пришли мне несколько вексельных бланков (голубых, соло-векселей).

Письмо кандидата Борга литератору Струве

Нэмде, 18 сентября...

Вместилище честности!

Деньги получил! Но сдается мне, ты их разменял, потому что Банк подрядчиков всегда платит только бумажками по пятьдесят риксдалеров! Ладно! Сойдет и так!

Фальк приободрился, преодолев кризис как настоящий мужчина; он снова обрел чувство собственного достоинства, чрезвычайно важное качество для достижения

успеха, которое, однако, согласно статистике, бывает в значительной мере ослаблено у детей, рано потерявших мать. Я дал ему один совет, который он принял тем более охотно, что сам подумывал о том же. Он возвращается на поприще чиновника, но отказывается взять у брата деньги (это его последняя глупость, которую я никак не могу понять), возвращается в общество, записывается в стадо, обретает уважение, добивается общественного положения и помалкивает до тех пор, пока его слово не станет авторитетным. Последнее совершенно необходимо, если он хочет выжить, поскольку он явно предрасположен к безумию, и от него мокрого места не останется, если он не выбросит из головы свои дурацкие идеи, которых я, честно говоря, не понимаю; уверен, он и сам не знает, чего хочет.

Он уже начал курс лечения, и меня изумляет, как быстро дело идет на поправку! Когда-нибудь он непременно будет при дворе! Но на днях к нему попала газета, в которой он что-то прочитал о Парижской коммуне. Тотчас же начался рецидив, и он снова стал лазить по деревьям, но быстро успокоился и теперь не решается заглянуть ни в одну газету. Но он и словом обо всем этом не обмолвился! Берегитесь этого человека, когда он окончательно выздоровеет!

Исаак начал изучать греческий! Он считает, что учебники слишком глупые и слишком толстые, поэтому он разрывает их, вырезает все самое важное и вклеивает в бухгалтерскую книгу, которая станет таким образом компендием для сдачи экзамена по греческому языку.

По мере того, как увеличиваются его познания в области классических языков, он становится все более наглым и неприятным. На днях он позволил себе затеять с пастором религиозный спор за шахматной доской и утверждал, что христианство придумали евреи и все христиане были евреями. Латынь и греческий совершенно развратили его! Боюсь, что я пригрел на своей волосатой груди змею; если это так, то рожденный женщиной раздавит голову змеи.

Прощай!

Х. Б.

P. S. Фальк сбрил свою американскую бороду и перестал снимать перед рыбаком шляпу.

Никаких вестей от нас из Нэмде больше не будет; в понедельник мы возвращаемся домой!

Глава двадцать седьмая **Выздоровление**

И снова осень; ясным ноябрьским утром Арвид Фальк выходит из своей теперь весьма элегантной квартиры на Большой улице и направляется на площадь Карла XIII в гимназический пансион для девочек, где сегодня он вступает в должность преподавателя шведского языка и истории. Он разумно использовал осенние месяцы, чтобы вернуться в цивилизованное общество, и при этом глубоко прочувствовал, каким варваром он стал, скитаясь по редакциям; он расстался наконец со своей разбойничьей шляпой и купил цилиндр, который первое время упорно норовил съехать набок; он купил себе перчатки, он настолько одичал, что на вопрос продавщицы, какой ему нужен номер, ответил «пятнадцатый», вызвав у многих улыбку. Мода претерпела значительные изменения с тех пор, как он в последний раз покупал себе платье, и сейчас он идет по улицам, чувствуя себя франтом, и

посматривает на свое отражение в витринах магазинов, чтобы убедиться, что на нем все хорошо сидит. Вот он прохаживается по тротуару перед зданием Драматического театра, ожидая, когда часы на церкви святого Якова пробьют девять; он ощущает какое-то беспокойство и волнение, совсем как в тот день, когда впервые сам пошел в школу; тротуар перед театром от одного его угла до другого — всего несколько десятков шагов, и ему кажется, что он мечется как собака на цепи — взад и вперед, взад и вперед. Какую-то минуту он всерьез подумывает о том, чтобы сбежать куда-нибудь подальше, так как знает, что если идти по этой улице все прямо и прямо, то в конце концов она приведет к Лилль-Янсу, и он вспоминает то утро, когда шел по тому же самому тротуару, убегая от общества, навстречу свободе, природе и... рабству!

Часы бьют девять! Он стоит в вестибюле. Двери в зал закрыты; в полумраке он видит развешанную по стенам детскую одежду; на столах и подоконниках лежат шляпки, меховые боа, шарфы, башлыки, варежки и муфты, а на полу стоит целый полк бот и галош. Но здесь не пахнет сырой одеждой и мокрой кожей, как в вестибюле риксдага, или рабочего союза «Феникс», или... ах, на него вдруг повеяло ароматом свежескошенного сена, он наверняка исходит от той маленькой муфточки, белой, как котенок, с черными узелками, на голубой шелковой подкладке и с кисточками. Он не может удержаться от искушения, берет муфточку в руку и вдыхает запах духов «New-town hay»²¹, но внезапно дверь отворяется, и в вестибюль входит маленькая девочка в сопровождении служанки; она смотрит на учителя большими смелыми глазами и кокетливо делает маленький реверанс, на который учитель, слегка смутившись, отвечает поклоном, причем маленькая красавица улыбается, и служанка тоже улыбается! Она опоздала, но, видимо, это ее несколько не смущает, потому что она дает служанке снять с себя верхнюю одежду и ботинки с таким безмятежным видом, словно приехала на бал. Но что это? Из классных комнат доносятся какие-то звуки... у него защемило в груди... Что это такое? Ах! Да, это орган! Гм! Старый орган! Да!

И хор детских голосов поет псалом. Фалька охватывает грусть, и, чтобы как-то взять себя в руки, он начинает думать о Борге и Исааке. Но теперь ему становится еще хуже. Отче наш, иже еси на небеси! Господи! Отче наш! Ведь это было не вчера... Становится тихо, так тихо, что слышно, как поднимаются и опускаются детские головки, множество головок, как шуршат смявшиеся воротнички и фартуки, а потом распахиваются двери, и целый цветник девочек от восьми до четырнадцати лет окружает Фалька со всех сторон. Он ужасно смущен и чувствует себя вором, пойманным на месте преступления, когда пожилая директриса протягивает ему руку, приветствуя его; а цветник приходит в движение, и девочки шепчутся, и шушукуются, и переглядываются, и перемигиваются.

И вот он сидит в самом конце длинного стола, окруженный двадцатью свежими личиками с веселыми глазками, двадцатью детьми, никогда не знавшими самой страшной из земных печалей — унижения бедности; они встречают его взгляд смело и с любопытством, и он смущается, пока ему не удастся полностью овладеть собой, но проходит немного времени — и он уже в самых дружеских отношениях и с Анной-Шарлоттой, и с Георгиной, и с Лисен, и с Харри, а урок — одно сплошное удовольствие, и на многое нужно просто закрыть глаза, и тогда Людовик XIV и

²¹ «Свежескошенное сено» (англ.).

Александр остаются великими, как и все, кто добился успеха, а французская революция была ужасным несчастьем, в результате которого трагически погибли благородный Людовик XIV и добродетельная Мария-Антуанетта, и так далее. И когда он отправился потом в Коллегию снабжения кавалерийских полков сеном, то чувствовал себя бодрым и помолодевшим.

В Коллегии он просидел за чтением «Консерватора» до одиннадцати часов, после чего направил свои стопы в Канцелярию винокурения, где позавтракал и написал два письма — Боргу и Струве.

Ровно в час он уже в Департаменте обложения налогом покойников. Здесь он оформляет опись имущества, на чем зарабатывает сотню риксдалеров, но до обеда у него остается еще столько времени, что он успевает прочитать корректуру заново переработанного издания законов о лесе, которое он подготовил к выпуску в свет. Время — три часа. Тот, кто проходит сейчас через площадь перед Рыцарским замком, встретит на набережной молодого человека, который с важным видом, заложив руки за спину, с торчащими из карманов бумагами, неторопливо идет рядом с пожилым худощавым седовласым господином лет пятидесяти с лишним. Это актуарий, ведающий покойниками; все, кто умирают в черте города, обязаны поставить его в известность, каким имуществом они владеют, и выплачивают ему соответствующие проценты; одни говорят, что это и есть его основное занятие, другие полагают, что он представляет интересы земли и следит за тем, чтобы покойник не прихватил с собой чего-нибудь на тот свет, потому что все в мире — только ссуда, и без процентов! Во всяком случае, это человек, которого мертвые интересуют гораздо больше, чем живые, и поэтому Фальку так хорошо в его обществе; тот, в свою очередь, благоволит к Фальку, потому что Фальк, как и он сам, коллекционирует монеты и автографы, и еще потому, что он не подвержен вольнодумству, столь присущему современной молодежи. Два старых друга направляются в кафе «Розенгрэн», где едва ли встретят шумных молодых людей и смогут спокойно поговорить о нумизматике и автографах. Потом они пьют кофе, сидя на диване в «Ридберге», и изучают каталоги монет до шести часов, когда приходит «Почтовая газета», и они просматривают информацию о новых назначениях. Они чувствуют себя такими счастливыми в обществе друг друга, потому что они никогда ни о чем не спорят; Фальк полностью избавился от каких-либо взглядов и идей и стал наимприятнейшим человеком на свете, за что его любят и уважают начальники и товарищи по службе. Иногда они засиживаются дольше обычного и ужинают на Гамбургской бирже, а потом выпивают рюмку, а то и две в погребке при Опере. И на них просто любо-дорого смотреть, когда часов в одиннадцать вечера они бредут рука об руку по улице, возвращаясь домой.

Очень часто Фалька теперь приглашают на семейные обеды и ужины в домах, куда его ввел отец Борга; женщины находят его интересным, но никогда не знают, что от него можно ждать в данный момент, так как он постоянно улыбается, а между улыбками — говорит им милые гадости.

Но когда семейные обеды и салонное лицемерие ему слишком приедаются, он идет в Красную комнату и там встречается с ужасным Боргом, с его давним почитателем Исааком, с его тайным врагом и завистником Струве, у которого никогда нет денег, с насмешливым Селленом, исподволь подготавливающим свой новый успех на следующей выставке, поскольку его многочисленные подражатели уже приучили публику к новой манере письма. Лунделль, закончив запрестольный образ, вдруг напрочь утратил религиозное чувство и в настоящее время занимается исключительно

портретной живописью, благодаря чему получает бесчисленные приглашения на всевозможные обеды и ужины, что, как он утверждает, ему крайне необходимо для «изучения типов и характеров»; он превратился в жирного эпикурейца, который заглядывает в Красную комнату лишь в тех случаях, когда хочет поесть и выпить на даровщинку. Олле все еще работает подмастерьем у скульптора; после своего крупного поражения на поприще политика и оратора он стал угрюмым чело­веконенавистником и, не желая «стеснять» общество, всегда сидит в полном одиночестве, уставившись в зал. Когда Фальк приходит в Красную комнату, его охватывает какое-то неистовство, и тогда для него нет ничего святого, он высмеивает все и вся — кроме политики, ее он никогда не трогает. Но в тех случаях, когда, восхищая приятелей блеском остроумия, он вдруг замечает сквозь облака табачного дыма на другой стороне зала угрюмую физиономию Олле, он тотчас же становится мрачным, как ночь на море, и пьет в огромных количествах крепкие напитки, словно хочет потушить огонь или, наоборот, разжечь его вновь. Но Олле уже давно здесь не появляется!

Глава двадцать восьмая **С того света**

Тихо падает снег, такой легкий и белый, на Новую Кунгсхольмскую набережную, по которой Фальк и Селлен поздним вечером идут в больницу за Боргом, чтобы потом всем вместе отправиться в Красную комнату.

— Удивительно, каким, я бы сказал, величественным кажется первый снег, — заметил Селлен. — Грязная земля становится...

— А ты сентиментален, — усмехаясь, перебил его Фальк.

— Нет, я просто высказался как пейзажист.

Некоторое время они шли молча, и снег скрипел у них под ногами.

— Кунгсхольм с его больницей всегда казался мне немного страшноватым, — сказал Фальк.

— А ты сентиментален, — усмехаясь, ответил Селлен.

— Нет, несколько, но этот район города производит на меня гнетущее впечатление.

— А, ерунда! Никакого впечатления он не производит, это ты внушил себе. Вот мы и пришли, у Борга горит свет. Надо думать, у него там лежит несколько милых трупов.

Они стояли перед воротами больницы; огромное здание смотрело на них десятками больших темных окон, словно спрашивало, кого они здесь ищут в такой поздний час. Утопая в снегу, они прошли по аллее мимо клумбы и свернули направо, к небольшому флигелю. В углу большой комнаты Борг при свете лампы анатомировал труп рабочего, изрезав его самым ужасающим образом.

— Добрый вечер, ребята! — сказал Борг, откладывая нож. — Хотите посмотреть на одного своего знакомого?

Не дожидаясь ответа, он зажег фонарь, надел пальто и взял связку ключей.

— Вот уж не думал, что здесь у нас найдутся знакомые, — пошутил Селлен, чтобы как-то поднять настроение.

— Пошли! — сказал Борг.

Они прошли через двор в главный корпус; двери заскрипели и захлопнулись за

ними; огарок стеариновой свечи, оставшийся здесь после игры в карты, бросал на белые стены слабый красноватый свет. Фальк и Селлен пытались прочесть на лице Борга, не задумал ли тот подшутить над ними, но на нем не было написано ничего.

Они повернули налево и двинулись по коридору, в котором звук их шагов отдавался таким образом, что казалось, будто кто-то идет за ними следом. Фальк старался держаться за Боргом, а Селлен шел сзади.

— Там! — сказал Борг, остановившись посреди коридора.

Не было видно ничего, кроме стен. Но откуда-то доносился какой-то странный звук, словно моросил дождь, а воздух был пропитан запахом, какой обычно бывает в поле под паром или в хвойном лесу.

— Направо! — сказал Борг.

Правая стена была стеклянная, сквозь нее можно было разглядеть три белых трупа, лежавших на спине.

Борг взял ключ, открыл стеклянную дверь и вошел в комнату.

— Здесь! — сказал он, останавливаясь возле трупа, что находился посередине.

Это был Олле! Он лежал со сложенными на груди руками, словно спал спокойным послеобеденным сном; уголки губ были слегка приподняты, поэтому казалось, будто он улыбается; и вообще он мало изменился.

— Утопился? — спросил Селлен, который первым пришел в себя.

— Утопился! Кто-нибудь из вас может опознать его одежду?

На стене висели три комплекта жалких лохмотьев, один из которых Селлен сразу же узнал: синяя куртка с охотничьими пуговицами и черные брюки с потертыми коленями.

— Ты уверен?

— Не могу же я не узнать свой собственный пиджак... который позаимствовал у Фалька.

Из нагрудного кармана Селлен вынул большой бумажник, очень толстый и липкий от воды, весь покрытый зелеными водорослями, которые Борг назвал *enteromorpha*. Он раскрыл бумажник и при свете фонаря просмотрел его содержимое: несколько просроченных закладных и кипа сплошь исписанной бумаги; на верхнем листке было написано: «Тому, кто захочет прочесть».

— Ну, как, рассмотрелись? — спросил Борг. — А теперь в кабак!

Трое безутешных приятелей (слово «друзья» употребляли лишь Лунделль и Левин, когда им были нужны деньги) расположились со всеми удобствами в ближайшем погребке в качестве полномочных представителей Красной комнаты. Сидя возле камина, в котором пылал огонь, за уставленным бутылками столом, Борг приступил к чтению записок, оставленных Олле, но время от времени вынужден был обращаться за помощью к Фальку как специалисту «по автографам», поскольку вода так размывала чернила, словно автор рукописи плакал над ней, как шутливо заметил Селлен.

— Молчать! — приказал Борг и допил пунш, сделав такую гримасу, что обнажились коренные зубы. — Я начинаю и прошу меня не прерывать.

«Тем, кто захочет прочесть».

Лишить себя жизни — мое право, тем более что я не нарушаю этим ничьих прав, а скорее осчастливливаю, как это называется, по крайней мере одного человека: оставляю ему рабочее место и четыреста кубических футов воздуха в день.

Я поступаю так не от отчаяния, ибо мыслящий человек никогда не приходит в отчаяние, и в довольно спокойном расположении духа; каждый понимает, что подобный шаг не может не вызвать некоторого душевного волнения, но откладывать совершение этого действия из страха перед тем, что ожидает тебя потом, может только раб земли, ищущий благовидный предлог, чтобы остаться на ней, где ему наверняка приходится не так уж плохо. Я испытываю чувство освобождения при мысли, что ухожу из этой жизни, так как хуже того, что есть, уже быть не может, а только лучше. Если же там, в другой жизни, нет вообще ничего, то смерть станет таким огромным блаженством, какое испытываешь, когда после тяжелой физической работы ложишься в мягкую постель — тот, кто замечал, как расслабляется при этом все тело, а душа словно куда-то уносится, не будет бояться смерти.

Почему люди сделали из смерти такое важное событие? Да потому, что они слишком глубоко, всеми своими корнями вросли в землю, и когда их приходится вырывать из нее, им становится больно. Я давным-давно расстался с землей, меня не связывают никакие узы: ни семейные, ни экономические, ни служебные или правовые, и я ухожу отсюда просто потому, что утратил всякое желание жить. Я вовсе не призываю тех, кому живется хорошо, последовать моему примеру — у них нет для этого никаких оснований и потому им не дано судить о моем поступке; трусость это или нет, над этим я не задумывался, потому что мне это совершенно безразлично; и вообще это дело сугубо личного свойства. Я ни у кого не просил разрешения прийти сюда и потому имею право уйти, когда захочу.

Почему я ухожу? На то существует так много глубоких причин, что сейчас у меня нет ни времени, ни охоты их излагать. Я скажу лишь о самых главных, о тех, что имели для меня особенно важное значение.

В детстве и юности я занимался физическим трудом; вы, кто не знает, что значит работать от восхода и до заката солнца, а потом свалиться замертво и заснуть как животное, вы избежали проклятья первородного греха, ибо это действительно проклятье — чувствовать, как засыхают ум и душа, а тело все глубже врастает в землю. Походи за волом, который тащит плуг, и изо дня в день, изо дня в день, не поднимая глаз, гляди на серые комья земли, и в конце концов ты отвыкнешь смотреть на небо; возьми лопату и рой канаву под палящими лучами солнца, и ты почувствуешь, как увязает в топкой земле и своими руками копаешь могилу для своей души. Вам этого не понять, потому что целый день вы развлекаетесь, работая лишь в свободное время между завтраком и обедом, а летом, когда все вокруг зеленеет, вы уезжаете за город отдыхать и любуетесь природой, как спектаклем, который вас облагораживает и возвышает душу. Для земледельца природа — нечто совсем иное; поле — это пища, лес — дрова, озеро — корыто для стирки белья, луг — сыр и молоко; и все это земля, лишенная какой бы то ни было души! Когда я увидел, что одна половина человечества работает головой, а другая — руками, я сначала подумал, что все радости мира, так же как и его невзгоды, изначально разделены между двумя категориями людей, но разум мой восторжествовал и отверг эту нелепую мысль. И тогда моя душа взбунтовалась, и я решил тоже избежать проклятья первородного греха — и стал художником.

Теперь я хочу проанализировать эту пресловутую жажду творчества, поскольку сам испытал, что это такое. Она основана главным образом на стремлении к свободе, свободе от полезного труда; именно поэтому один немецкий философ определил прекрасное как бесполезное, ибо если произведение искусства кому-то полезно,

преследует некую цель или обнаруживает определенную тенденцию, оно безобразно. И еще: жажда творчества основана на высокомерии — в искусстве человеку хочется стать богом, и не для того вовсе, чтобы создавать что-то новое (это просто не в его силах!), а чтобы переделывать, перекраивать, исправлять. Он начинает не с преклонения перед великими шедеврами, созданными самой природой, нет, он начинает с критики. Ему все кажется несовершенным, все хочется переделать. Это движущее им высокомерие и свобода от проклятья первородного греха, от необходимости трудиться, приводит к тому, что у него появляется ощущение, будто он стоит над обществом — впрочем, в какой-то мере так оно и есть, — однако ему нужно еще постоянно напоминать об этом, ибо в противном случае он легко может познать самого себя, то есть принять никчемность своей деятельности и неправомерность своего отказа приносить людям пользу. Эта постоянная потребность в общественном признании его бесполезного труда делает художника тщеславным, беспокойным, а нередко и глубоко несчастным. Если же он все-таки познает себя, то часто случается так, что он не может больше заниматься искусством и тогда погибает, ибо снова надеть на себя ярмо, хоть раз ощутив вкус свободы, может лишь истинно верующий.

Делать различие между гением и талантом, рассматривать гениальность как некое новое качество по меньшей мере нелепо, потому что в таком случае надо верить и в какое-то особое прозрение. У великого художника есть задатки, которые позволяют ему достичь определенного технического совершенства; если их не развивать, они отомрут сами собой; поэтому кто-то сказал, что гениальность — это труд; в этом высказывании есть доля истины, так же как и во многих других высказываниях, верных лишь на четверть; если к этому еще добавить и образованность (что бывает крайне редко, поскольку знание искореняет заблуждения, и поэтому люди образованные, как правило, не занимаются искусством), а также хороший ум, то получается гениальность как продукт целого ряда благоприятных обстоятельств.

Я скоро утратил веру в возвышенный характер своей склонности к скульптуре (своего призвания, прости, господи), потому что не мог подчинить свое искусство выражению одной-единственной идеи, которая в лучшем случае сводится к изображению человеческой фигуры в положении, передающем душевное волнение, сопровождающее определенную мысль, представление о которой таким образом мы получаем как бы из третьих рук. Это как полевой телеграф: его сигналы лишены всякого смысла для тех, кто не знает, что они обозначают. Я вижу только красный флаг, а для солдата это приказ: в атаку! Между прочим, еще Платон, который был умная голова и к тому же идеалист, осознавал ничтожность искусства, рассматривая его лишь как отражение отражения (бытия), почему, собственно, он и изгнал художников из своего идеального государства.

И тогда я попытался опять вернуться к рабскому труду, но это оказалось невозможным! Я старался увидеть в этом свой высочайший долг перед человечеством, старался смириться, но все было напрасно. Мою душу безжалостно уродовали, и я медленно, но верно превращался в животное; порой мне казалось, что этот нескончаемый труд даже греховен, поскольку мешает достижению высшей цели — духовного совершенства, и тогда в один прекрасный день я бросил работу и бежал в деревню, на природу, где проводил время в раздумьях, что делало меня несказанно счастливым; однако это счастье было лишь эгоистичным наслаждением, не меньшим, если не большим, чем то наслаждение, которое я испытывал, когда занимался

искусством, и тогда чувство долга и угрызения совести набросились на меня, как разъяренные фурии, и я вновь надел на себя ярмо, которое даже показалось мне приятным — на один день!

Чтобы освободиться от этого невыносимого состояния и обрести ясность и покой, я иду навстречу неведомому. Те из вас, кто увидит труп, скажите откровенно, разве в смерти у меня несчастный вид?

Случайные заметки, сделанные на прогулке

Закономерность мира — освобождение идеи от чувственности, однако искусство старается втиснуть идею в чувственную оболочку, чтобы она стала зримой. Следовательно...

Все исправляется само собой. Когда во Флоренции началось подлинное засилье художников, пришел Савонарола — о, великий человек! — и сказал: „Чепуха! все это пустота, ничто!“ И художники — и какие художники! — разожгли из своих произведений костер. О, этот Савонарола!

Как вы думаете, чего требовали иконоборцы в Константинополе? Чего требовали анабаптисты в Нидерландах? Этого я не решаюсь сказать, а то за меня возьмутся в субботу... а может быть, уже и в пятницу!

Великая идея нашего времени — разделение труда — ведет к прогрессу рода и гибели индивида! А что такое род? Это всеобъемлющее понятие, идея, говорят философы, и индивиды им верят и умирают за идею!

Как странно, что правители всегда хотят того, чего не хочет народ. Вам не кажется, что устранить это недоразумение можно легко и просто?

Перечитав в зрелом возрасте свои детские книги, я больше не удивляюсь, что мы, люди, такие скоты! На днях я прочитал катехизис Лютера и сделал еще

Несколько заметок к новому изданию катехизиса

Первая заповедь . Разрушает веру в единого бога, ибо предполагает существование других богов, что признает и христианство.

Примечание. Монотеизм, который все превозносят до небес, оказал дурное влияние на людей, лишив их уважения к единственному и истинному, поскольку не объясняет, что такое зло.

Вторая и третья заповеди — явное кощунство, поскольку автор вкладывает в уста нашего господа такие мелочные и нелепые наставления, что они оскорбительны для его всеведения: если бы автор жил в наше время, его обвинили бы в богохульстве.

Четвертую заповедь надо было сформулировать следующим образом: врожденное чувство уважения к родителям не может заставить тебя восхищаться даже их недостатками, и ты не должен почитать их более, чем они того заслуживают. Совершенно не обязательно испытывать к ним чувство благодарности, ибо они вовсе не оказали тебе благодеяния, произведя на свет; кормить и одевать тебя им велит их

эгоизм и еще гражданское законодательство. Родители, которые ожидают (а некоторые даже требуют) благодарности от своих детей, подобны ростовщикам: они готовы рискнуть капиталом, лишь бы получить прибыль.

Примечание первое. Родители (особенно отцы) чаще ненавидят, чем любят своих детей, потому что дети ухудшают их материальное положение. Некоторые родители превращают своих детей в акции, которые должны постоянно приносить им дивиденды.

Примечание второе. Эта заповедь заложила основы ужаснейшей из всех форм правления, основы семейной тирании, от которой не спасет никакая революция. Общества охраны детей принесли бы человечеству гораздо больше пользы, чем общества охраны животных.

(Продолжение следует.)

Швеция — это колония, которая когда-то пережила период расцвета, став великой державой, а теперь, подобно Греции, Испании и Италии, засыпает вечным сном.

Мрачная реакция, наступившая после 1865 года, когда рухнули все наши надежды, деморализовала молодое поколение, которое еще только вставало на ноги. Большого безразличия к интересам общества, большего эгоизма, большего безверия уже давным-давно не знала история. Во всем мире бушуют бури, народы гневно выступают против угнетения, а в нашей стране только справляют всевозможные праздники да юбилеи.

Сектантство — единственное выражение духовной жизни у народа, охваченного сном; это недовольство, бросившееся в объятия религиозного смирения, чтобы не впасть в отчаяние или бессильную ярость!

Сектанты и пессимисты исходят из одного и того же принципа: брэнность человеческого существования — и устремлены к одной и той же цели: умереть для мира, жить для бога.

Быть консерватором по расчету — величайший грех, какой только может совершить человек. Это покушение на мироздание за три сребреника, потому что консерватор пытается задержать прогресс; он ложится спиной на вращающуюся землю и говорит: остановись! Для этого существует лишь одно оправдание — глупость; материальные лишения не оправдание, а побудительный мотив!

Интересно, не станет ли Норвегия для нас еще одной заплатой на старом платье?»

— Ну, что скажете? — спросил Борг, когда кончил читать и сделал глоток коньяку.

— Совсем неплохо, правда, немного растянуто, — ответил Селлен.

— А ты что скажешь, Фальк?

— Обычные вопли, и ничего больше. Пошли?

Борг испытующе посмотрел на него, как бы желая выяснить, не ирония ли это, но не заметил ничего особенного.

— Итак, — вздохнул Селлен, — Олле ушел, чтобы обрести вечное блаженство; да, ему теперь хорошо, никаких забот об обеде. Интересно, а что скажет по этому поводу хозяин «Оловянной пуговицы», ведь у него, кажется, была на Олле маленькая «бумажка», как он это называет. Да! Да!

— Какое бессердечие! Какая черствость! Черт бы побрал эту молодежь! — вдруг взорвался Фальк и, бросив на стол деньги, надел пальто.

— Ты сентиментален? — усмехнулся Селлен.

— Да, сентиментален! Прощайте!

И он ушел.

Глава двадцать девятая Обзор

Письмо лицензиата Борга, Стокгольм, художнику-пейзажисту Селлену, Париж
Дорогой Селлен!

Вот уже целый год, как ты ждешь от меня письма, и наконец-то мне есть о чем написать. В соответствии с моими принципами мне следовало бы начать с самого себя, но мне надо научиться вести себя прилично, потому что скоро я заканчиваю курс наук, и пора подумать о хлебе насущном; итак, я начинаю с тебя! Поздравляю тебя с успехом; картина, которую тебе удалось выставить в салоне, произвела большой эффект. Заметку об этом Исаак тиснул в «Сером плаще» без ведома редактора, который, прочитав ее, взбесился от злости, так как клялся всеми святыми, что из тебя ничего не выйдет. Поскольку ты получил признание за границей, то теперь, естественно, у тебя есть имя и на родине, и мне больше не нужно стыдиться своего знакомства с тобой.

Чтобы ничего не забыть и быть по возможности кратким, ибо я ленив и устал от работы в родильном доме, я напишу это письмо в форме газетных статей, совсем как в «Сером плаще», и таким образом тебе будет легче пропускать то, что тебя не интересует.

Политическая обстановка становится все более интригующей; политические партии подкупают друг друга, делая просто подарки и ответные подарки, так что все они теперь серые... Эта реакция, вероятно, окончится социализмом. Довольно остро сейчас стоит вопрос об увеличении числа ленов до сорока восьми — видимо, быстрее всего сейчас можно сделать карьеру министра, тем более что для этого не надо даже сдавать экзаменов на право преподавать в народной школе. На днях я говорил с одним своим школьным приятелем, бывшим министром, и он утверждает, что быть министром гораздо легче, чем секретарем экспедиции. Обязанности примерно те же, что у поручителя — только подписываешь бумаги! О выплате ссуды можешь не беспокоиться, ведь есть еще один поручитель.

Что касается *прессы*, то с ней ты хорошо знаком! В общем, она превратилась в чисто коммерческое предприятие, иными словами, ориентируется на мнение большинства, а большинство, то есть большинство подписчиков, всегда реакционно. Однажды я спросил одного либерального журналиста, почему он с такой симпатией пишет о тебе, хотя совершенно тебя не знает. Он ответил, что на твоей стороне общественное мнение, то есть большинство подписчиков. «А что будет, если общественное мнение окажется против него?» — «Тогда, конечно, я изничтожу его!»

Как ты легко можешь понять, в этих условиях поколение, выросшее после 1865 года и нигде не представленное, приходит в смятение; поэтому они нигилисты, иными словами — отрицают все на свете или находят для себя выгодным стать консерваторами, потому что быть либералом в создавшейся обстановке чертовски сложно.

Экономическое положение крайне тяжелое. Запасы денег, во всяком случае мои, сокращаются; даже самые надежные бумаги с поручительством двух лицензиатов медицины не принимает ни один банк.

Как тебе известно, *общество «Тритон»* ликвидировано таким образом, что директора и ликвидаторы забрали себе все денежки, а акционеры и вкладчики получили из Норрчепинга литографированные картинки; их прислало одно небезызвестное предприятие (единственное, которое в наш век всевозможных афер и махинаций вполне оправдало себя); я видел одну вдову, у которой были полные руки таких картинок на мраморированной основе; это большие красивые листы, отпечатанные в две краски, красную и синюю; на них выгравировано *1000 кр.*, а внизу, словно они выступают в качестве поручителей, стоят имена людей, из которых по крайней мере трех проводили колокольным звоном как кавалеров ордена серафимов, когда они перестали быть акционерами в этом лучшем из миров.

Наш друг и брат *Николаус Фальк*, которому надоело заниматься частными ссудами, поскольку они не обеспечили ему всего того почета, какой обеспечивают финансовые операции общественного характера, решил объединиться с несколькими сведущими (!) людьми и учредить банк. Новым в его программе является следующее: «Поскольку, как свидетельствует опыт — и воистину печальный опыт! (автор программы — Левин, заметь себе!), — депозитная квитанция не является достаточной гарантией для возвращения доверенных банку ценностей, то есть депонированных денег, то мы, нижеподписавшиеся, движимые бескорыстным стремлением способствовать развитию отечественной промышленности и обеспечивать большую надежность вкладов, учреждаем банк под названием „Акционерное общество гарантированных вкладов“. Новым и обнадеживающим, ибо не все новое обнадеживает, в нашей идее является то, что вкладчики будут получать не лишенные всякой ценности депозитные квитанции, а ценные бумаги на полную сумму сделанного вклада» и так далее. Предприятие еще не лопнуло, и ты сам можешь себе представить, какие бумаги получают вкладчики вместо депозитных квитанций! Своим наметанным глазом Фальк сразу увидел, какую огромную пользу можно извлечь из человека с таким хорошим знанием экономики, как Левин, который к тому же, благодаря своим колоссальным связям, осведомлен обо всем, что происходит вокруг; но чтобы как следует подготовить его к будущей деятельности и научить разбираться во всех хитросплетениях этого дела, особенно в юридических вопросах, Фальк для начала нанес ему мощный удар, опротестовав его вексель, и заставил его объявить себя несостоятельным должником. Затем он выступил в роли спасителя и сделал его чем-то вроде своего советника по экономическим вопросам, назначив на должность секретаря дирекции; теперь Левин сидит в маленькой уединенной комнатке и никому не должен показываться на глаза. Заместителем директора банка стал Исаак; он сдал свои университетские экзамены (по латыни, греческому и древнееврейскому, а также по юриспруденции и на звание кандидата философии, получив высшие оценки по всем предметам, о чем, конечно, не преминул сообщить «Серый плащ!»). Сейчас он готовится к экзаменам на звание кандидата юридических наук, а в свободное время сам проворачивает кое-какие дела. Он как угорь, у него девять жизней, и неизвестно, на что он тратит деньги! Он не пьет, не курит, и я не знаю, есть ли у него какие-нибудь пороки, но он страшный человек! У него скобяная лавка в Хэрнесанде, табачная лавка в Хельсингфорсе и галантерейный магазин в Седертелье, а еще ему принадлежит несколько уютных хижин на юге! Он человек будущего, говорят его знакомые, но я

полагаю, что он человек настоящего. Его брат Леви после ликвидации «Тритона» вернулся к частному предпринимательству, неплохо заработав на этом деле. Он попросил, чтобы ему продали один монастырь, который хотел реставрировать в новом стиле, созданном его дядей из Академии художеств. Однако его просьба была отклонена. Леви ужасно обиделся и написал для «Серого плаща» статью под заголовком: «Преследования евреев в девятнадцатом веке», чем приобрел живейшие симпатии всей просвещенной публики, и теперь благодаря этому хитрому маневру когда угодно может стать депутатом риксдага. Кроме того, он получил от своих единоверцев (будто Леви во что-нибудь верит) благодарственный адрес, в котором они превозносят его до небес (это было опубликовано в «Сером плаще»!) за то, что он выступил в защиту притязаний евреев (на покупку монастыря)! Адрес этот был вручен ему на празднике «Зеленый егерь», на который пригласили и немало шведов (я всегда перевожу еврейский вопрос на его подлинную основу — этнографическую!) отведавать тухлой лососины и выдохшегося вина. По этому случаю герою дня при всеобщем воодушевлении (смотри «Серый плащ») преподнесли в дар двадцать тысяч крон (в акциях) на «Приют для падших мальчиков евангелического вероисповедания» (непреренно нужно вероисповедание!). Я был на этом празднике и увидел то, чего никогда не видел раньше — пьяного Исаака! Он заявил, что ненавидит и меня, и тебя, и Фалька, и вообще всех белых — он называл нас то «белыми», то «туземцами», то «госче»; последнего слова я не знаю, но когда он произнес его, вокруг нас столпилось такое невероятное количество «черных» и вид у них был такой угрожающий, что Исаак увел меня в соседнюю комнату. Потом его вдруг словно прорвало: он рассказал о том, как еще ребенком страдал в школе святой Клары, как учителя и товарищи оскорбляли и унижали его, а уличные мальчишки таскали за волосы. Но что меня более всего растрогало, так это рассказ о том, как он проходил военную подготовку: его вызывали из строя и заставляли читать «Отче наш», а поскольку он не знал этой молитвы, то над ним все издевались. Эта грустная история заставила меня несколько изменить свое мнение о нем и его племени.

Религиозный снобизм и мания благотворительности свирепствуют всюду, как холера, и делают пребывание на родине особенно приятным. Ты, верно, помнишь еще два исчадия зла: госпожу Фальк и ревизоршу Хуман, два подлых, тщеславных и злобных существа, изнывающих от безделья, помнишь детские ясли «Вифлеем» и их бесславный конец; теперь они создали «Приют Магдалины», и первой, кого туда приняли, стала — по моей рекомендации — Мария из Нового переулка! Бедняжка одолжила все свои сбережения одному подмастерью, который сбежал, не вернув денег. Теперь она очень довольна тем, что все получает бесплатно и снова пользуется уважением общества. По ее словам, она даже готова выдерживать бесконечные проповеди, которыми неизменно сопровождается подобного рода деятельность, если каждое утро ей будут давать кофе.

Ты, вероятно, помнишь и *пастора Скорее*; он не получил должности пастора-примариуса и с досады теперь клянчит деньги на новую церковь, а отпечатанные типографским способом просьбы о пожертвовании, подписанные богатейшими магнатами Швеции, взывают ко всеобщему милосердию. Эту церковь, которая будет в три раза больше, чем бласихольмская церковь, и составит единое целое с высоченной колокольной, построят на месте нынешней церкви святой Екатерины; ее выкупят и снесут, поскольку она, оказывается, слишком мала, чтобы удовлетворять огромные духовные потребности шведского народа. Между тем денег

уже собрали столько, что пришлось учредить должность казначея (с бесплатной квартирой и отоплением), ведающего собранными средствами. Попробуй догадаться, кого назначили казначеем. Так вот, — *Струве!* Последнее время он стал чуточку религиозным — я говорю чуточку, потому что религиозности в нем очень немного, но вполне достаточно при его стесненных обстоятельствах, поскольку теперь он находится под защитой верующих. Это не мешает ему по-прежнему сотрудничать в газетех и пьянствовать; но сердце его не стало мягче; напротив, он зол на всех, кто не превратился в такую же развалину, как он; поэтому он ненавидит Фалька и тебя и обещал «разделаться» с вами, как только ему станет о вас что-нибудь известно. Однако, чтобы переехать на казенную квартиру и жечь казенные дрова, ему надо было обвенчаться, что он и сделал втихомолку здесь же, на Белых горах. Я был у них свидетелем (конечно, напился пьяным) и наблюдал весь этот спектакль. Жена его тоже ударилась в благочестие, так как прослышала, что это признак хорошего тона... *Лунделль* полностью утратил свое религиозное чувство и теперь пишет исключительно портреты директоров, что позволило ему получить место в Академии художеств. Теперь он тоже бессмертный, так как выставил свою картину в Национальном музее. Все было обстряпано легко и просто и достойно всяческого подражания: Смит подарил Национальному музею жанровую картину, написанную *Лунделлем*, а *Лунделль* бесплатно написал его портрет! Неплохо? Так-то!

Завершение романа. Однажды воскресным утром, в те краткие часы, когда ужасный колокольный звон не нарушает покоя в этот священный день отдохновения, я сидел у себя в комнате и курил. Вдруг раздается стук в дверь, и в комнату входит высокий красивый юноша, которого я сразу узнал — это был Реньельм. Начинаются взаимные расспросы. Он служит управляющим на каком-то большом предприятии и вполне доволен жизнью. Снова стук в дверь. Входит Фальк (подробнее о нем ниже!). Воспоминания о делах минувших дней, об общих знакомых! Но вот, как всегда, наступает момент, когда после оживленной беседы вдруг воцаряется странное молчание, настает тишина. Реньельм берет книгу, лежащую возле него на столе, пробегает глазами страницу и вслух читает:

— «*Кесарево сечение*. Диссертация, которая подлежит публичной защите с разрешения нашего прославленного медицинского факультета в Малой густавианской аудитории». Какие страшные рисунки! Кто та несчастная, которой пришлось пройти через все эти муки и появиться здесь в таком виде после смерти?

— Посмотри, — говорю я, — это указано на второй странице.

Реньельм читает дальше.

— «Тазовые кости, хранящиеся в патологической коллекции Академии под номером...» Нет, это не то. Вот! «Незамужняя Агнес Рундгрэн...»

Реньельм бледнеет как полотно, он вынужден встать и выпить воды.

— Ты ее знал? — спрашиваю я, чтобы как-то отвлечь его.

— Знал ли я ее? Она была актрисой в N., в городском театре, а потом перебралась в Стокгольм и стала работать в кафе под именем Бэды Петерссон.

Посмотрел бы ты на Фалька. Произошла сцена, которая закончилась тем, что Реньельм стал осыпать проклятиями вообще всех женщин, а Фальк с горячностью возражал ему, что существует два типа женщин, и разница между ними такая же, как между дьяволом и ангелом! И говорил он об этом так взволнованно, что на глазах у Реньельма выступили слезы.

Да, *Фальк!* Его я приберег напоследок! Он обручен! Как это произошло? Сам он

объясняет это следующим образом: «Мы увидели друг друга!» Тебе ведь известно, у меня нет каких-то раз и навсегда сложившихся взглядов, и я неизменно исхожу из заново приобретенного опыта, но все, пережитое мною до сих пор, убеждает меня в том, что любовь — это нечто такое, о чем нам, холостякам, трудно судить; то, что мы называем любовью, на самом деле просто распушенность и легкомыслие! Смейся, смейся, старый зубоскал!

Я никогда еще не видел, кроме как в плохих пьесах, такого быстрого развития характера, какое наблюдал в этот раз у Фалька. С помолвкой, правда, дело решилось далеко не сразу. Отец — старый вдовец, эгоист, пенсионер, считавший, что дочь — это капитал, который благодаря богатому зятю обеспечит ему приятную старость (самая обычная ситуация!). Он категорически сказал: нет! Посмотрел бы ты тогда на Фалька! Он изо дня в день приходил к старику, и тот выгонял его вон, но Фальк снова приходил и говорил ему прямо в лицо, что, если тот будет по-прежнему упорствовать, они поженятся без его согласия; не могу утверждать, но, по-моему, дело доходило до драки! И вот однажды вечером Фальк провожал свою нареченную домой от каких-то ее родственников, куда ворвался следом за ней. Подходя к дому, они увидели при свете фонаря своего старика в окне — у него маленький домик на Хорнстультсгатан, где он живет один. Фальк стучит в дощатые ворота; стучит четверть часа, но их не открывают! Тогда он перелезает через забор, и на него набрасывается большая собака, которую он хватает и запирает в мусорный ящик (это наш-то робкий Фальк!); потом он поднимает с постели дворника и заставляет его отворить ворота; наконец они попадают во двор, но предстоит еще открыть дверь; он ударяет в нее большим камнем, но из дома не доносится ни звука; тогда он идет в сад, берет лестницу, добирается до окна, где сидит старик (я сам поступил бы точно так же!) и кричит: «Открой дверь, а не то я разобью окно!» В ответ раздается голос старика: «Попробуй только, негодяй, и я пристрелю тебя!» Фальк разбивает окно. На какой-то момент воцаряется мертвая тишина. Наконец из разбитого окна доносится голос: «Вот это мне нравится! (Старик из военных.) Молодец!» — «Я не хотел бить стекла, — говорит Фальк, — но ради вашей дочери я готов на все!», и все решилось само собой.

Они обручились! Надо сказать, что, после того как риксдаг предпринял крупную реорганизацию государственных учреждений, удвоив оклады и количество рабочих мест, молодой человек теперь имеет возможность вступить в брак, даже когда получает жалованье низшей категории! Фальк женится осенью. Она по-прежнему остается учительницей. Я плохо разбираюсь в женском вопросе, поскольку меня это не касается, но я надеюсь, что наше поколение когда-нибудь покончит со всей этой азиатчиной, которая все еще присутствует в браке. Обе стороны заключают по доброй воле свободный договор, ни одна из них не отказывается от своей независимости, они не пытаются друг друга воспитывать, уважают слабости, присущие другой стороне, и тогда возникает дружба на всю жизнь, которую не будут отравлять назойливые притязания одной из сторон на какую-то особую нежность. Жену Николауса Фалька, осатаневшую от благотворительности, я считаю просто *une femme entretenue*²², и сама она считает себя такой же; большинство женщин выходит замуж, чтобы хорошо жить, не работать и «стать самостоятельной»; в том, что сейчас заключается так мало браков, виноваты женщины — и мужчины!

Но Фальк — непостижимый человек; он набросился на нумизматику с такой

²² Сoderжанка (фр.).

страстью, что она представляется мне не совсем естественной; да, он сказал мне на днях, что работает над учебником по нумизматике, который будет принят в качестве учебного пособия в школах, где нумизматика станет одним из предметов; он никогда не читает газет, никогда не знает, что творится в мире, и, по-видимому, даже не помышляет больше о том, чтобы стать литератором. Он живет только для своей службы и своей невесты, которую боготворит; однако я всему этому не верю. Фальк — фанатик от политики и знает, что сгорит, если даст разгореться пламени, и поэтому упорными сухими занятиями старается потушить тлеющий огонь; но я не думаю, что ему это удастся, и сколько бы он ни пытался сдерживать себя, боюсь, все равно рано или поздно произойдет взрыв. Между нами говоря, мне кажется, что он принадлежит к одному из тех тайных обществ, которые возникли на континенте в результате разгула реакции и произвола угнетателей. Когда я увидел его на днях в зале риксдага при чтении тронной речи в качестве герольда, в пурпурной мантии, с пером на шляпе и жезлом в руке, у подножья трона (у подножья!), то в первый момент подумал, что даже говорить грешно о нем такие ужасные вещи; но когда на трибуну поднялся премьер-министр и передал на рассмотрение палаты от имени его королевского величества высочайший законопроект о положении страны и ее нуждах, то в глазах Фалька я прочел немой вопрос: «Да разве знает его королевское величество хоть что-нибудь о положении страны и ее нуждах?» Удивительный человек, удивительный!

Надеюсь, что, делая свой обзор, я ничего не забыл. Итак, до свидания! Скоро напишу тебе опять!

Х. Б.